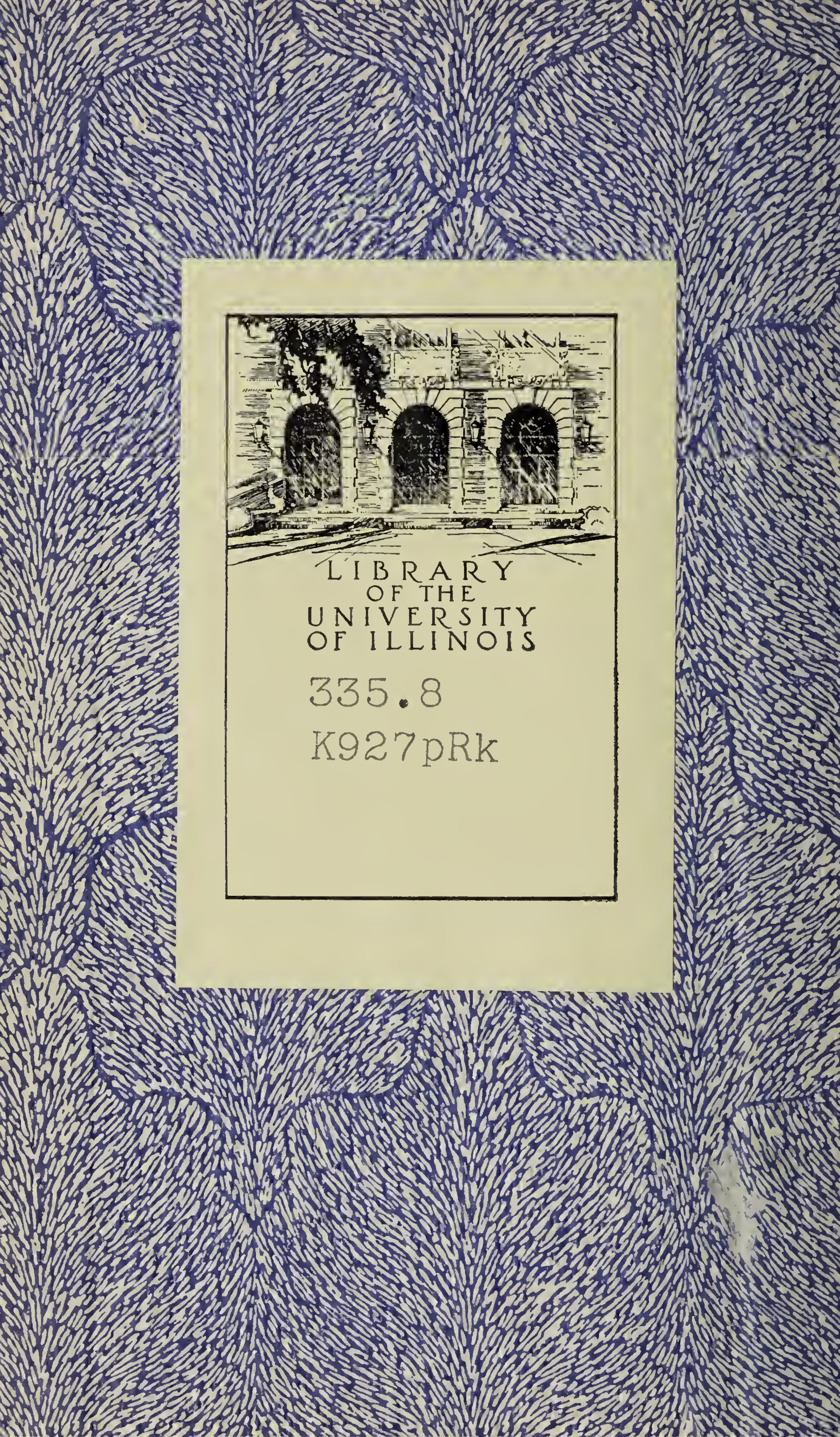
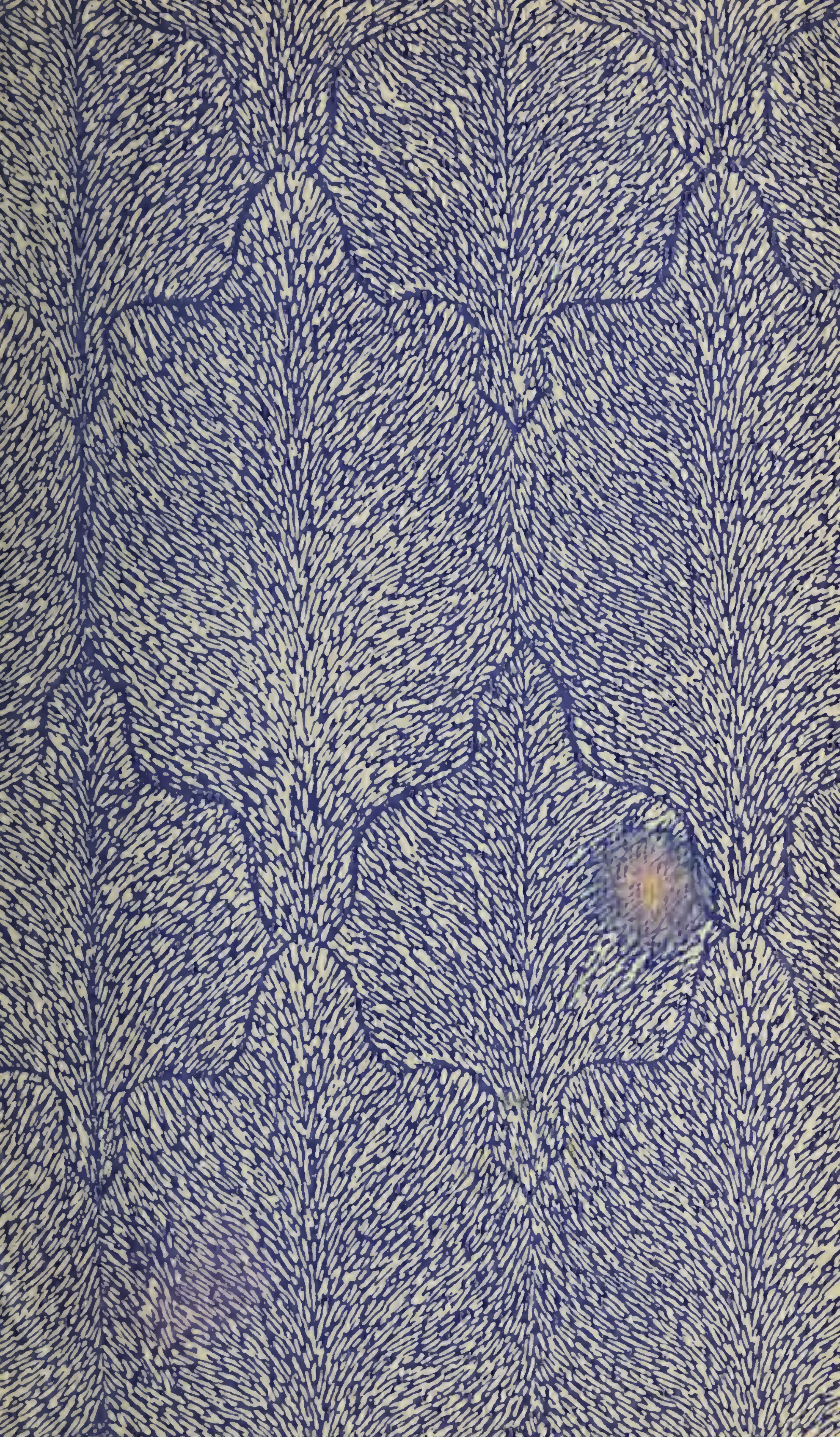

335.8
K927pRk


LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS
335.8
K927pRk



П. КРОПОТКИН.

РЕЧИ БУНТОВЩИКА.

Перевод с французского.
Под редакцией автора.

С предисловием и послесловием автора
к новому русскому изданию.



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГОЛОС ТРУДА“.
ПЕТЕРБУРГ—МОСКВА.
1921.

Типография „ГОЛОС ТРУДА“ Петербург.

ПРЕДИСЛОВИЕ ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ.

Уже два с половиной года, как Петр Кропоткин находится в тюрьме, отрезанный от общества себе подобных. Лишения его тяжелы, но печать молчания, которую наложили на него, и невозможность говорить о вопросах, и темах, которые наиболее близки его сердцу, особенно мучительны. Его заключение было бы не так тяжело, если бы ему не зажали рот. Пройдут месяцы, может быть годы, раньше, чем право слова будет ему возвращено, и он сможет возобновить прерванные беседы со своими товарищами.

Время принудительного спокойствия, которому должен подчиниться наш друг, не будет, конечно, им потеряно, но оно нам кажется таким долгим! Жизнь быстро бежит, и мы с грустью видим, как проходят недели и месяцы, в течение которых этот самый честный и гордый среди всех голос не будет услышан. Вместо того, сколько банальностей будет повторено нам, сколько лживых слов уязвят нас, и сколько намеренных полуистин прожужжат нам уши! Мы тоскуем по одном из этих искренних голосов, говорящих без утайки, которые смело провозглашают право.

Но если наш пленник в Клервосской тюрьме не может беседовать из глубины своей камеры со своими товарищами, то не могут-ли по крайней мере они вспомнить о своем друге и собрать его слова и мысли, которые он уже высказал раньше. Это их долг, который я сейчас могу исполнить, и которому я с радостью отдаюсь.

Статьи, написанные Кропоткиным, с 1879-го по 1882-й год, в анархической газете „*Le Révolté*", я тем более счел нужным собрать и издать отдельною книгою, что они писались не под впечатлением случайных событий, а следовали одна за другой в логическом порядке. Сила общей мысли дала им необходимое единство. Держась научного метода, автор излагает сперва общее состояние общества, с его позорною преступностью, его пороками, его источниками взаимного озлобления и войн; он изучает явления разложения, представляемые государствами, и указывает нам на то, как разваливаются эти постройки, и на груды мусора, накопляющиеся среди них. Затем он излагает ряд фактов жизненного опыта, представляемых современною историею в смысле развития анархической идеи. Он об'ясняет их точный смысл и указывает необходимые из них выводы. Наконец, в главе „Экспроприация" он подводит итоги своим мыслям, как они выясняются из наблюдения и опыта, и призывает к работе тех, кому мало *знать*, а хочется также и *действовать*.

Я не стану пускаться здесь в похвалы автору. Он— мой друг, и если бы я сказал все хорошее, что я об нем думаю, меня обвинят, пожалуй, в пристрастии... Во всяком случае, читателям важнее оценка его мыслей, чем оценка его личности. Его же мысли, я с полным доверием предлагаю на суд тем, кто не судит о книге раньше, чем ее открыть, и не осуждаетъ мнений, не выслушавши их. Отбросьте ваши предрассудки, попробуйте на время освободиться от личныхъ рассчетов и прочтите эти страницы, просто ища истины и не задумываясь еще над ее приложениями. Автор одного требует от вас: на некоторое время принять его основной идеал—счастье всех, а не только некоторых привилегированных. И если это желание, как бы временно вы его ни почувствовали, станет у вас искренним желанием, а не плодом минутной прихоти,—не один только образ, мгновенно пронесшийся перед вами,—

тогда, по всей вероятности вы скоро согласитесь с автором. Если вы с ним сойдетесь в задушевных желаниях, вы поймете его слова. Но вы должны знать заранее, что такие мысли не принесут вам почестей: никогда вы за них не получите места с крупным жалованием; быть-может, ваши собственные друзья отнесутся к вам из-за них с недоверием, или же на вас падет какой-нибудь удар сверху. Раз вы ищете справедливости, — непременно ждите себе крупной несправедливости.

В настоящую минуту, когда печатается эта книга, Франция переживает избирательную горячку. Я не настолько наивен, чтобы рекомендовать эту книгу кандидатам в Палату.—У нас, скажут они, есть другие „обязанности". Но я приглашаю избирателей взять эти *Речи бунтовщика* и прочесть в них главу о *Представительном Правлении*. Они узнают из нее, какого оправдания своего доверия могут они ждать от тех, кто ищет чести представлять их в Парламенте. Пока идут выборы, все еще обстоит благополучно. Кандидаты—люди все-знающие, ошибаться они не могут. Но чем станут они, когда они будут избраны? Когда в их руки попадет их доля верховной власти,—не охватит-ли их, неизбежно, опьянение властью? Не сочтут-ли они себя, подобно королям, свободными от всякой мудрости и добродетели? Даже если бы они твердо решились держаться данных ими обещаний,—как смогут они сохранить свое достоинство среди толпы просителей и советчиков? Допустив, что войдя в Палату, они сохранят свои добродетели,—как смогут они выйти из нее иначе, как испорченными? Под давлением окружающих их интриг, они перейдут с левой стороны на правую, как если бы их толкал какой-то роковой механизм, они поступят подобно куколкам на башенных часах, которые гордо выходят на свет, громко отстукивают что-то, а потом поворачиваются к вам спиною и прячутся за кулисы.

Спасение—не в выборе новых хозяев. Неужели нам,

анархистам, врагам христианства, напоминать целому обществу людей, называющих себя христианами, эти слова человека, из которого они сделали бога:—„Никому не говорите: Господи, Господи!“ Пусть всякий остается сам себе господином. Не ждите слов освобождения, ни с официальных кафедр, ни с шумных трибун парламента. Лучше прислушайтесь к словам, идущим снизу, хотя бы даже они проходили через тюремную решетку.

Элизе Реклю.

Кларан (Швейцария).
1 октября 1885.

ПРЕДИСЛОВИЕ

к новому русскому изданию.

Передовые статьи, из которых составилась эта книга, печатались в нашей французской газете, *Le Révolté*, со времени ее основания в 1879 году до конца 1882 года. Наша газета издавалась тогда в Женеве, и имела в виду читателей латинских стран,—главным образом французских,—и этим об'ясняется, почему факты, на которые я ссылался, были взяты по преимуществу из жизни Франции. Цель этих статей была—изложение основных начал Анархии и критика современного общества: особенно его понятий о государстве, о политических правах, о представительном правлении, о централизации и о власти вообще.

После этой критики я предполагал начать изложение наших идеалов общественной жизни и предполагаемой нами построительной работы; и, как переход к этому ряду статей, была написана (как раз перед моим арестом во Франции) глава об Экспроприации, составляющая последнюю главу в этой книге!

В январе 1883 годи я был приговорен к тюремному заключению на пять лет и с тех пор был лишен возможности сотрудничать в наших изданиях. Тогда наш дорогой друг, Элизе Реклю, принимавший живое участие в нашей анархической пропаганде, собрал мои передовые статьи из *Le Révolté* и издал их в 1885 году отдельною книгою. Озаглавил он ее *Paroles d'un Révolté* („Слова мятежника", или „бунтовщика"),—вероятно под

воспоминанием об известной книге социалиста сороковых годов, Ламенэ, „Paroles d'un Croyant“ („Слова верующего“).

В русском переводе несколько глав этой книги было издано нами в Женеве, в двух выпусках, под заглавием „Распадение Современного Строя“. Но так как в России полный русский перевод уже распространялся в 1905 году, под заглавием: „Речи Бунтовщика“, то мы сохранили это заглавие, хотя оно не совсем верно передает мысль Реклю.

Новый перевод я тщательно пересмотрел и некоторые главы вновь перевел.

Продолжением *Речей бунтовщика* была книга, тоже составленная из моих статей в „Le Révolté“ и „La Révolte“ и озаглавленная в русском переводе „Хлеб и Воля“. В ней я изложил, как мы понимаем *построительную работу*, предстоящую социальной революции в близком будущем, т. е. строительство нового общества, основанного на коммунизме и на полном равноправии; но—строительство, ведущееся *не* указами правительства, *не* сверху вниз, *не* от сложного к простому, а на анархических началах,—т. е. строительстве *самим обществом*, от простой ячейки в деревне, в квартале, в профессиональном союзе, в кооперативе, к сложному организму, охватывающему город, область и целый народ.

Как сказано выше, переходом от *Речей бунтовщика* к *Хлеб и Воля* была статья „Экспроприация“. А так как в виду теперешних событий эта статья получила животрепещущий интерес, то я дополнил ее несколькими замечаниями, в виде „Послесловия“.

П. Кропоткин.

Дмитров.
5 декабря 1919 г.

I.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ.

Старый мир быстрыми шагами приближается к всемирной революции, т. е., к такому сотрясению, которое, вспыхнувши в одной стране, быстро распространится, как в 1848 году, на все соседние страны, и, разрушая самые основы теперешнего строя, даст новый источник жизни одряхлевшему миру.

Чтобы подтвердить нашу мысль, мы могли бы указать на ученые труды по философии истории и сослаться, хотя бы на известного немецкого историка Гервинуса [1]), или на итальянского мыслителя Феррари [2]), которые, оба, изучивши историю нашего времени, приходили к заключению, что Европа необходимо должна пережить большую революцию в конце девятнадцатого века. Но к чему это? Нам достаточно просто оглядеться вокруг себя,—вникнуть в то, что мы сами пережили за последние четверть века. И мы увидим, что два главных факта выдаются на сероватом, темном фоне общей картины современной жизни: с одной стороны,—пробуждение народов, а с другой,—полная несостоятельность правящих

---

1) „Введение к истории девятнадцатого века".
2) „Основы Государства".

классов: нравственная, умственная и экономическая; их безнадежные, предсмертные усилия помешать народному пробуждению. В этом сущность всей современной истории.

В душной мастерской, в мрачном кабачке, в светёлке рабочего на чердаке и в темных подземных ходах рудника—везде идет пробуждение народных масс, везде вырабатывается новый мир. В этих темных массах крестьянского и рабочего люда, которых богатые люди одинаково презирают и боятся, но из которых всегда исходил толчок, вдохновлявший все великие преобразования—в этих темных массах идёт теперь горячее обсуждение великих вопросов общественного хозяйства и политического строя. Все вопросы, поставленные жизнью перед образованным миром, обсуждаются, пересуживаются среди рабочего люда, и на все эти вопросы он находит свои ответы, новые и верные, согласные с чувством народной справедливости. В своих тёмных лачугах и углах, люди безвестные и простые, не владеющие наукою, но богатые опытом, смело рассекают язвы современного общества. Новые стремления и надежды возникают среди них, вырабатываются новые понятия.

Бесконечное разнообразие можно подметить в этом народном обсуждении великих вопросов, завещанных нашему поколению. Их выражения—часто неточны, вопросы—часто поставлены неправильно, решения—разноречивы. Но среди этого бесконечного разнообразия мнений, две мысли начинают выдвигаться все яснее и яснее: во-первых, необходимость уничтожения личной собственности, или, вернее, личного захвата земли и орудий труда, и вместо этого, коммунизм; а во-

вторых, уничтожение всесильного государства, чтобы дать развиться свободной общине, свободному договору и свободному об'единению рабочих всего мира. Два пути, одинаково ведущих к общей цели: Равенству; но конечно не к тому равенству, которое средним сословием написано на его знаменах, церквах и даже тюрьмах, чтобы лучше ослепить рабочего и, тем временем, закрепостить его,—а к истинному равенству, которое обеспечит всем и каждому право на землю, на труд и на орудия труда.

И сколько бы ни старались правящие классы заглушить эти стремления—их усилия пропадают бесплодно. Они сажают по тюрьмам апостолов нового мира, они жгут и истребляют их писания; они замучивают преследованиями лучших представителей новой мысли, а идея все-таки ростет, проникает в умы, завладевает сердцами, подобно тому, как в былые времена, мечта о вольных землях на Востоке овладевала рабами, когда они бежали записываться в ряды крестоносцев.

По временам, идея, повидимому, дремлет. Когда ей мешают пробиться наружу, она сочится под землею; но и это длится недолго: скоро она снова выступает на свет, сильнее и бодрее чем прежде. Взгляните, в самом деле, на социализм во Франции—на его второе пробуждение в короткий период времени, с 1864-го года по 1879-й [1]). Волна, одно время, казалось, упала, разбилась, исчезла, но вот она снова подымается,—выше, могучее и глубже. Так будет и в России. Казалось бы, идея социализма совсем заглохла у нас в настоящую минуту. Но не бойтесь за нее: скоро, очень скоро,

[1]) 1864-й год был годом основания Международного Союза Рабочих. После разгрома Коммуны рабочее движение заглохло во Франции. В 1878-м году оно снова начало пробуждаться.

она опять заблестит пышным расцветом, выйдет из своего временного сна и предстанет снова— вернее, шире, могучее, чем была раньше. Государственный социализм заменится анархическим, мирный социализм станет революционным.

И, как только где-нибудь в Европе или в Америке, будет сделана первая попытка осуществить в жизни социалистическую мысль,—подобные же попытки будут сделаны повсеместно, и социализм станет главным, все-поглощающим вопросом дня. Пусть только социалистам удастся провести в жизнь свои мысли, хоть в каком-нибудь городке земного шара, хоть на минуту,— и сознание своей силы немедленно даст пробужденным народам неодолимую, богатырскую силу.

Эта минута недалека. Все приближает её: и нищета, заставляющая бедняка одуматься, и безработица, дающая рабочему возможность оторваться от узкой обстановки своей мастерской, выйти на свет и оглядеться на чудеса и безобразия богатой жизни, и, наконец, само бессилие правящих классов сделать что бы то ни было для уменьшения народной нищеты и народных страданий.

....

Бессилие правящих классов становится все поразительнее и очевиднее. В то время, как естественные науки возрождаются теперь, так же, как они возрождались в прошлом веке накануне великой французской революции, в то время, как смелые исследователи каждый день открывают человеку новые средства для борьбы с силами природы,—что делают буржуазные общественные науки? Они либо молчат, либо пережевывают по прежнему свои старые, изношенные теории.

В области повседневной, практической жизни— тот же застой. По прежнему, наши правители

толкуют нам об узком себялюбии, как главной основе жизни, о борьбе каждого человека против всех, и каждого народа против всех остальных, в то время как жизнь народов идет в совершенно другом направлении. По прежнему они проповедуют единение власти, сосредоточие власти, усиление власти в руках всесильного государства, тогда как жизнь все громче и громче требует полной свободы личности. На все требования народа они знают один ответ: „ждите и надейтесь!“

Они давно забыли все руководящие начала и—то бросаются в самое отчаянное преследование всех вольно-мыслящих людей, слепо подчиняясь самому безграничному своеволию верховной власти, и умоляя ее поддержать расшатанные основы старого строя; то снова берутся сами „расшатывать основы“, надевают на себя личину свободы и ломают старое; а через несколько лет они опять преклоняются перед верховною властью, рабски умоляя ее, чтобы она усмирила расходившиеся народные волны. В промышленности они бросаются, сегодня—в свободную торговлю, а завтра—в самое свирепое запрещение всякой свободной торговли. От самого подлого ханжества они переходят к безбожию, и из безбожия обратно впадают в ханжество.

Вечно боясь, вечно дрожа за свое богатство, вечно оглядываясь назад и не смея взглянуть вперед, они оказываются решительно неспособными внести в народную жизнь что бы то ни было прочное и полезное. Если они и соглашаются на какую нибудь уступку, то в это самое время они уже думают о том, как бы обратить уступку в ничто, как бы уберечь себе возможность, немного погодя, опять вернуться к старине. Взгляните на крепостное право. Давно-ли

наши образованные люди громили его? Давно-ли они распинались на всех перекрестках за права мужика?—Нынче они славят Александра третьего за то, что он усердно старается вернуть крестьянина в крепость к обедневшему барину.

И то же самое происходит в конституционной Англии, во Французской республиканской монархии, в федеративной республике Соединенных Штатов. Много жалких слов об участи „меньшого брата“, а потом—штыки и картечь, и самый отчаянный поворот назад, как только меньшой брат начнет пробуждаться и попытается разорвать свои цепи.

Они обещались, эти управители, что обеспечат народу свободу труда—и, вместо того, обратили рабочего в раба мастерской, фабрики, хозяина и нарядчика. Они обещались так упорядочить промышленность, чтобы всем стало лучше,—и вместо того, они народили неслыханную нищету, обезземелили крестьян, раззорили целые миллионы ремесленников и бросили промышленность в непрерывно-следующие друг за другом коммерческие потрясения. Они обещали дать народу образование—и распорядились так, что мальчику и девочке некогда учиться, так как с десяти лет рабочий ребенок должен прирабатывать себе на жизнь. Они обещали политическую свободу—и вместо того, влачат Европу от одной реакции к другой. Они обещали мир—и вместо мира, дали войну,—войну постоянную, которой и конца не видно. Они обманули нас во всех своих обещаниях.

Но народ не может долее выносить такого положения. Он спрашивает себя.—Что же могут нам дать эти управители из высшего сословия?—И вот что он видит.

Промышленные кризисы, т. е. временный застой промышленности, который прежде случался изредка, теперь стал постоянною болезнью Европы. За застоем в железной промышленности идет застой в ткацком деле, за ним—в часовом, за ним—в корабельном, и так далее без конца.

В настоящую минуту в Западной Европе насчитывается не менее шести-семи миллионов рабочих без работы. Десятки тысяч людей ходят из города в город, пробиваясь милостынею и выпрашивая себе работы. В итальянских городах народ восстает с криком: либо работы, либо хлеба! Подобно тому, как в 1787 году, за два года до большой революции, французские крестьяне бродили толпами по дорогам, не находя нигде клочка земли, на котором им позволили бы ростить хлеб,—так точно и теперь фабричные рабочие скитаются из города в город, не находя нигде места, где бы им позволили поработать и прокормиться,

Целые крупные отрасли промышленности заброшены. Целые большие города по временам пустеют. Так Шефильд пустел в 1879 году, так полсотни больших железных заводов средней Англии стоят за последние восемь лет без работы; так большие города Шотландии, прежде жившие сахарным или джутовым производством, ныне доведены до разорения. В 1886 году, целые сотни тысяч рабочих оставались без работы в Лондоне, и целый день с улицы роскошной столицы неслись надрывающие душу стоны „милосердной“, которою толпы голодных рабочих вымаливали кусок хлеба под окнами у других таких же бедняков; в богатые кварталы их и не пускали.

Нищета в Англии—особенно в Англии, где так называемые „экономисты“ имели возмож-

ность прилагать на широкую ногу свои учения; голод в Альзасе, голод в Испании, в Италии. Безработица везде, а с безработицею—нужда и часто нищета; бледные, изнуренные дети, жены, состарившиеся на пять лет за одну зиму; и болезни, широкими размахами косящие в рядах рабочего люда. Вот до чего довели они нас, эти правители, взявшие на себя устройство промышленности! [1]).

И они еще смеют об'яснять это ужасное положение дел избытком производства! Избыток производства—когда в стране угольных копей, Англии, среди гор угля, нагроможденных вокруг заводов, целые миллионы народа не могут затопить печи среди холодной зимы! Когда ткач, который за год наткет целые версты ситца, вынужден водить своих детей в лохмотьях? Когда каменьщик, строющий дворцы, сам живет в вонючем угле, а швея, наряжающая кукол в волшебные платья, вынуждена в трескучий мороз покрываться дырявым платком?

И это называют они благоустройством хозяйственного быта страны? Скорее можно было бы подумать, что богачи просто вступили в стачку, чтобы голодом довести рабочего до рабской покорности!

Одним словом, хозяйственный строй Европы доведен до полнейшей безурядицы.

Но эта безурядица не может длиться долее. Народу опостылело переживать эти кризисы, вы-

[1]) Эти строки были впервые написаны в 1879 году, и они остались верны вплоть до 1887 года. Целых восемь лет длился этот ужасный кризис. Затем дела стояли немного лучше. Голодающих стало меньше. Но, не надолго.— Местные кризисы, в отдельных странах продолжались и каждый раз бросали в нищету сотни тысяч и миллионы людей.

званные жадностью и тупоумием хозяев. Народ готов работать: но не для того, чтобы терпеть нужду и голод, в перемежку с короткими промежутками сравнительно-меньшей нищеты. Ему опостылело вечно жить в бедности, когда он чувствует и видит, какие он создаёт богатства.

И вот рабочие западной Европы начинают понимать полнейшую неспособность—не только государства, не только королей и парламентов, но всех правящих, богатых и образованных сословий вообще. Они видят их неспособность понять народные нужды, их неспособность управлять промышленностью, их неспособность обеспечить рабочему благосостояние, в уплату за его тяжелый труд.

И они начинают требовать полного низвержения этого правящего среднего сословия; они стремятся сами захватить в свои руки свои собственные дела, как только к тому представится удобная минута.

И эта минута быстро приближается. Безурядица в промышленности и повсеместное разложение государств делают скорое ее наступление неизбежным.

II.

РАЗЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВА.

Если в хозяйственном строе Европы мы видим полную неурядицу промышленности и торговли, и банкротство производства, то в политическом строе мы имеем полнейшее разложение государств и их неизбежное банкротство в близком будущем.

Перебирая все государства, начиная с жандармского самодержавия в России до правления богатых купцов и промышленников в Америке, мы не находим ни одного, которое не шло-бы быстрыми шагами к разложению и, следовательно, к революции. Как одряхлевшие старцы, раз'едаемые внутренними болезнями и неспособные приспособиться к новым течениям мысли, они растрачивают свои последние силы в борьбе с молодою жизнью, пробивающейся вокруг них; они живут в счет будущего, и сами ускоряют свое разложение, постоянно ссорясь между собою.

Всех их гложет одна болезнь: болезнь старчества. Действительно, Государство,—т. е. политическое устройство, при котором все дела всего общества передаются в руки немногих, будет-ли то царь и его советчики, или парламент, или республиканское правительство,—такая форма политического устройства отживает свой век. Человечество уже ищет новых форм политической жизни, новых начал политической организации,

более согласных с современными воззрениями на права личности и на равенство в обществе.

Достигши высшей точки развития в восемьнадцатом веке, государственная власть находится с тех пор в периоде упадка: ей никогда более не вернуть своего прошлого могущества. Народы западной Европы, особенно латинские народы, во Франции, Испании и Италии, а также в значительной мере и англо-саксонцы, уже стремятся сбросить с себя эту власть, мешающую их свободному развитию. Им нужна независимость и полная свобода областей, городов, рабочих союзов,—сплоченных между собою, не государственною властью, не правительством, требующим от них повиновения, а свободным договором, возникающим из взаимных обязательств, принятых на себя добровольно. Власть немногих над всеми—выборная или захваченная—уже отжили свое время.

Такова историческая жизнь в которую мы вступаем теперь, и ничто не помешает этим новым потребностям найти свое осуществление.

Если бы правящие классы могли понять это положение дел, они конечно пошли бы на встречу новым стремлениям. Но, состарившись в преданиях прошлого, не уважая ничего, кроме тугонабитого кошеля и не понимая ничего, кроме власти, держащей народ в полном повиновении,—они всеми силами мешают новому течению мысли пробиться наружу. Роковым образом, они делают поэтому внезапный взрыв и насильственный переворот неизбежными. Новые стремления человечества найдут себе исход—но при грохоте пушек и при зареве пожаров.

Когда государственная власть стала выростать среди разлагавшихся средневековых учреждений

Европы и усиливалась понемногу, где—завоеваниями, где—хитростью и убийством[1]), она захватывала лишь немногие из взаимных отношений граждан. Но теперь, государство вмешивается во все проявления нашей жизни. От колыбели до могилы оно держит и давит нас в своих руках. То в виде верховной власти, то в виде земского, городского или общинного правительства, оно преследует нас на каждом шагу, и мы встречаем его на каждом перекрестке. Оно теснит нас; оно налагает на нас налоги, подати, повинности, обязательства, и т. п., и во всем надоѐдает нам своим безтолковым вмешательством.

В школе, оно приказывает учить нас тем, или другим образом, и упорно задавливает всякую попытку перестроить образование на новых началах. В юности оно занумеровывает нас, закабаляет в солдатчину и до седых волос держит каждого мущину под угрозою внезапного призыва на войну, до которой громаднейшему большинству граждан нет никакого дела, и каждую женщину—под страхом бойни, на которую погонят ее сыновей, братьев и мужа. Оно поощряет одни отрасли промышленности и раззоряет другие. В угоду богачам, оно обязывает нас ездить и возить товары по таким-то линиям, а не по другим. И так—во всем, куда бы мы ни обратились.

На все, решительно все, что бы мы ни делали, у него есть свои законы. И его законы и приказы накопляются каждый день с такою быстротою, что самый ловкий адвокат не может в

---

[1]) Костомаров превосходно рассказал развитие государственной власти в России, в своем очерке развития самодержавия. Этот очерк помещен в его „Монографиях", но его стоит также прочесть в первой редакции, в статье помещенной в „Вестнике Европы".

них разобраться. Каждый день создаются новые канцелярии, новые учреждения, как-нибудь подлаженные к старым, на живую нитку подправленным колесам государственной машины; и из всего этого создается такая неуклюжая, такая сложная, такая зловредная машина, что даже те, на ком лежит обязанность приводить ее в действие, возмущаются ее безобразием.

Государство создает целые армии чиновников—этих паукообразных обитателей затхлых канцелярий, которые весь мир знают лишь сквозь свои запыленные стекла да по грудам бессмысленных бумаг, написанных бессмысленным языком. Таким образом создается целая порода людей, знающих одного лишь бога—жалованье и наградные,—живущая одною лишь заботою: как-бы примазаться к какой-нибудь партии: черных или белых, синих или желтых, лишь бы эта партия давала им побольше жалованья за наименьшее количество труда.

Что получается из всего этого—известно всем и каждому. Существует ли хоть одна отрасль деятельности государства—будь-ли то в Персии, или в России, или в Соединенных Штатах, которая глубоко не возмущала бы каждого, кому приходится иметь с ней дело? Есть ли хоть одна отрасль,—школа, судебное устройство, военное дело и т. д.—в которой государство, после целых веков переделок, не оказалось бы вполне несостоятельным?

Громадные и вечно-ростущие суммы денег, которые взыскиваются государством с народа, всегда оказываются недостаточными. Все государства, без исключения, живут насчет будущих поколений. Все они входят в долги, все они идут к раззорению.

Долги Европейских государств уже достигли колоссальной, невероятной цифры более сорока миллиардов, сорока тысяч миллионов рублей![1]). Если бы все доходы всех государств употреблять на уплату этого долга, его нельзя было бы выплатить в пятнадцать лет. Но вместо того, чтобы уменьшаться, эти долги ростут каждый год; каждый год они увеличиваются в громадных размерах, новыми долгами правительств, новыми долгами: областными, городскими и общинными. Так оно и быть должно: оно в силе вещей. Всякое государство, какова бы ни была его кличка, неизбежно стремится постоянно расширить свои действия и свои права; каждый чиновник, каждый парламент, каждая Дума роковым образом стремятся распространить свою власть, прихватить что-нибудь новое под свое начало. Каждая политическая партия, получающая власть, вынуждена создавать новые должности и новых чиновников, чтобы удовлетворить своих сторонников.

Поэтому, задолженность государств вечно ростет, даже в мирное время. Но, начнись война, и немедленно государственные долги ростут в невероятных размерах. Конца нет этим долгам, и не выйти государствам из заколдованного круга: он создан необходимостью, он вытекает из самой сущности государственной идеи[2]).

---

[1]) Теперь они в 20 или в 30 раз больше.

[2]) Соединенные Штаты, повидимому, составляют исключение. Но надо помнить, что до сих пор их земли представляли невероятно богатое поприще наживы. Теперь все земельные запасы Соединенных Штатов уже расхищены всевозможными аферистами, не хуже чем в Оренбургском крае при Крыжановском, и в американской Республике уже начинается стремление к расширению государственной власти и к созиданию новых должностей для охотников до казенного жалованья.

Поэтому, все государства идут на полных парах к банкротству; и не далек тот день, когда восставшие народы не захотят более платить каждый год около миллиарда, т.-е. тысячи мильонов рублей, банкирам и всяким хищникам: они провозгласят банкротство государств и предложат банкирам копать землю и работать молотом, наравне со всеми, если им желательно жить на свете.

„Государство“ и „война“—два неразлучных понятия. Всякое государство, роковым образом, стремится усилиться на счет своих соседей; иначе, оно станет относительно их в подчиненное положение. Оно должно стараться ослабить соседей, обеднить их, чтобы потом приказывать им, навязывать им свою политику, свои союзы, свои торговые трактаты, свои пошлины, и наживаться на их счет. Так как борьба за преобладание составляет сущность буржуазного хозяйственного строя, она неизбежно должна быть сущностью и политической жизни государств. Вот почему войны стали обычным явлением в Европе. Прусско-датская война 1864 года, прусско-австрийская 1866-го, прусско-французская 1871-го, русско-турецкая война 1877 года следуют друг за другом, с короткими перерывами,—не говоря о войнах в Египте, Афганистане, средней Африке и т. д., которыми английское государство стремится обеспечить свои владения в Индии и свои новые захваты. Много новых войн еще имеется в виду. Франция, Германия, Австрия, Италия, Англия, Россия, даже Дания и Швеция, готовы напустить друг на друга свои бесчисленные войска, и начать дело взаимного истребления. Причин войны

накопилось в Европе на целые тридцать лет вперед [1]).

Но всякая война ведет за собою безработицу, остановку производства, торговые кризисы, усиление налогов, увеличение государственных и областных долгов. Мало того. Каждая война становится нравственным поражением государства, потому что после каждой войны народ замечает, что государство оказалось никуда не годным, даже в том, что считается главною его обязанностью: если на него нападают, оно не умеет защитить свою землю; даже в случае победы, оно теряет в уважении своих граждан. Вспомним только брожение умов, начавшееся после войны 1871 года, одинаково во Франции и в Германии, не смотря на временное увлечение немцев военщиною; вспомним недовольство в России после войны 1877 года.

Войны и вооружения добивают государства; они ускоряют их нравственную и экономическую несостоятельность. Еще две-три больших войны, и они нанесут последний удар этим уже разлагающимся механизмам.

Рядом с внешней войной идет внутренняя война.

Народы подчинились государственной власти под условием, что она будет защитою всем и, в особенности, защитою слабого против сильного. Но вместо того, государство стало теперь оплотом богатых против бедных, орудием имущих—против всех неимущих.

---

[1]) То что мы предвидели, когда я писал эти строки, к сожалению, вполне подтвердилось. Мы имели с тех пор англо-бурскую войну 1900 года, русско-японскую 1904-го, сербско и болгарско-турецкую 1912-го и наконец ужасную европейскую войну 1914—1918 гг., перед которой померкли все наши предвидения.

К чему, в самом деле, служит этот громадный механизм, называемый государством? Мешает-ли оно помещику закабалять крестьянина или фабриканту—закабалять рабочего? Обеспечивает-ли оно всем и каждому возможность работать и кормиться своим трудом? Защищает-ли оно нас от мироеда и ростовщика? Даёт-ли оно пищу голодному? Кормит-ли оно крестьянку, которой ребенок умирает с голода, тереби иссохшую, иссякшую грудь своей матери?

Нет, тысячу раз нет!—Государство—это покровитель крепостного права, покровитель мироедства, заступник хищничества, защитник собственности, основанной на захвате чужой земли и чужого труда! Тому, у кого ничего нет кроме рук да готовности работать, тому нечего ждать от государства. Для него оно—просто сила, ставшая поперёк его освобождению.

Всё—для богатого бездельника! всё—против трудящегося бездомного работника! Образование, чтобы с детства испортить ребенка, вселяя ему всевозможные предрассудки и набивая ему голову понятиями о первенстве, о повиновении сильному, о порабощении слабого; Церковь, дающая свое благословение всем подлейшим проявлениям насилия; Закон, мешающий развитию взаимной поддержки и равенства; богатство, чтобы угнетать народ и, при случае, подкупать даже тех, кто хотел бы потрудиться для его освобождения; тюрьма и пули—тем кого деньгами не подкупишь. Вот сущность государства!

Долго-ли оно так будет? Может ли это продолжаться?

Очевидно, нет. Целая половина человечества—та, которая всё производит трудом своих рук, не

может веки-вечные поддерживать такой строй, который для того только и выработан, чтобы держать эту половину человечества в повиновении. Везде простой народ начинает бунтоваться против такого насилия: под Российским самодержавием, под Английской конституцией, под буржуазной республикой Франции и Соединенных Штатов. Вся история нашего времени есть ни что иное, как история борьбы простого народа против привилегированных классов, поддерживаемых Государством. Эта борьба ведется повсюду, какова-бы ни была форма правления, и она составляет главную заботу всех правительств. Ею обусловливаются все их деяния. Не принципы, не соображения о народном благе руководят теперь правительствами, когда они издают тот или другой закон, принимают ту или другую меру. Ими руководит одно соображение: сохранить силу привилегированных классов, удержать их могущество, несмотря на напор снизу.

Одна эта борьба уже способна была бы разрушить самое сильное политическое устройство. Но когда эта борьба идет среди государств, уже расшатанных, уже идущих к падению в силу самих исторических условий их развития; когда эти государства, к тому же, сами несутся к разорению и взаимно разоряют друг друга; когда, наконец, всемогущее государство начинает претить даже самим привилегированным классам, которых оно охраняет—когда столько различных причин совместно ведут к одному и тому же последствию, тогда в исходе не может быть сомнения. Главная сила—в народе, а народ, достигая сознания, неизбежно одолевает то что давит его. Окончательное разложение государственного строя составляет лишь вопрос времени, и мыслитель уже может видеть приближение такой великой рево-

люции, которая разрушит современные государства, в корень подточит самую сущность государственного строя и даст возникнуть новым формам, новому строю, более согласному с современными стремлениями к свободе личности и равенству всех человеческих существ.

III.

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕВОЛЮЦИИ.

Есть времена в жизни человечества, когда глубокое потрясение, громаднейший переворот, способный расшевелить общество до самой глубины его основ, становится неизбежно-необходимым, во всех отношениях. В такие времена, каждый честный человек начинает сознавать, что долее тянуть ту же жизнь невозможно. Нужно, чтобы какие нибудь величественные события внезапно прервали нить истории, выбросили человечество из колеи, в которой оно завязло, и толкнули его на новые пути,—в область неизвестного, в поиски за новыми идеалами. Нужна революция—глубокая, беспощадная,—которая не только переделала бы хозяйственный строй, основанный на хищничестве и обмане, не только разрушила бы политические учреждения, построенные на владычестве тех немногих, кто успеет захватить власть путем лжи, хитрости и насилия,—но также расшевелила бы всю умственную и нравственную жизнь общества, вселила бы, в среду мелких и жалких страстей, животворное дуновение высоких идеалов, честных порывов и великих самопожертвований. В такие времена, когда чванная посредственность заглушает всякий голос, не преклоняющийся перед ее жрецами, когда пошлая нравственность „блаженной середины“ становится

законом, и низость торжествует повсеместно, революция становится просто необходимостью. Честные люди всех сословий начинают сами желать бури, чтобы она, своим раскаленным дуновением выжгла язвы, раз'едающие общество, смела накопившуюся плесень и гнилость, унесла в своем страстном порыве все эти обломки прошлого, давящие общество, лишающие его света и воздуха. Они желают бури, чтобы дать наконец одряхлевшему миру новое дуновение жизни, молодости и честного искания истины.

В такие времена, пред обществом возникает не один вопрос о насущном хлебе, а вопрос обо всем дальнейшем развитии, вопрос о средствах выйти из застоя и гнилого болота,—вопрос жизни и смерти.

История сохранила нам память о подобных временах, накануне распадения Римской Империи. Такие же времена переживаем и мы в настоящую минуту.

Подобно Римлянам первых веков нашей эры, мы видим, как в умах назревает глубокое изменение всех основных воззрений, и как оно ждет лишь благоприятных условий, чтобы осуществить нарождающиеся мысли в действительности. Мы чувствуем, как тогда чувствовали Римляне, что если переворот стал необходимостью, в хозяйственных отношениях между людьми и в их политическом строе, то он еще более того необходим ради перестройки наших нравственных понятий.

Без известной нравственной связи между людьми, без некоторых нравственных обязательств, добровольно на себя принятых и мало-по-малу перешедших в привычку, никакое общество не возможно. Такая нравственная связь и

такие общественные привычки действительно и существуют между людьми, даже на самых низших ступенях их развития. Мы находим их у самых первобытных дикарей.

Но в теперешнем обществе, неравенство состояний, неравенство сословий, порабощение и угнетение человека человеком, составляющие самую сущность жизни образованных народов, разорвали ту нравственную связь, которою держались общества дикарей. Нравственные понятия, присущие первобытным народам, не могут удержаться на ряду с современною промышленностью, возводящею в закон порабощение крестьян и рабочих, хищничество и борьбу за наживу; они не могут ужиться с торговлею, основанною на обмане, или на пользовании чужою неумелостью, и с политическими учреждениями, имеющими в виду утвердить власть немногих людей над всеми остальными. Нравственность, вытекающая из сознания единства между всеми людьми одного племени и из потребности взаимной поддержки, не может удержаться в таких условиях. В самом деле, какой взаимной поддержки, какой круговой поруки искать между хозяином и его рабочим? между помещиком и крестьянином? между начальником войск и солдатами, которых он шлёт на смерть? между правящими сословиями и их подчиненными?—Ее нет, и быть не может.

Поэтому, первобытная нравственность, основанная на отождествлении каждого человека со всеми людьми его племени, исчезла. Вместо нее нарождается фарисейская нравственность религий, которые, большею частью, стремятся, помощью обманных рассуждений (софизмов), оправдать существующее порабощение человека человеком, и довольствуются порицанием одних грубейших проявлений насилия. Они

снимают с человека его обязательства по отношению ко всем людям, и налагают на него обязанности лишь по отношению к верховному существу,—т. е., к невидимой отвлеченности, которой гнев можно укротить повиновением, или щедрою подачкою тем, кто выдает себя за ее служителей.

Но сношения, все более и более тесные, между отдельными людьми, странами, обществами, народами и отдаленными материками, начинают налагать на человечество новые нравственные обязательства. Человеческие права приходится признать за всеми людьми, без всякого исключения, и в каждом человеке, какого бы он ни был рода и племени, приходится видеть своего брата; страдания этого брата, кем бы они ни были вызваны, отзываются на всех людях без различия. Религии раз'единяли людей: тесные взаимные сношения неизбежно соединяют их в одно целое—человеческий род. И по мере того, как религиозные верования исчезают, человек замечает, что для того, чтобы быть счастливым, ему следует нести обязанности, не по отношению к неизвестному верховному существу, но по отношению ко всем людям, с которыми сталкивается его жизнь.

Человек начинает понимать, что счастье невозможно в одиночку: что личного счастья надо искать в счастии всех—в счастии всего человечества. Вместо отрицательных велений христианской нравственности: „не убей, не укради“ и т. д., появляются положительные требования обще-человеческой нравственности, несравненно более широкие и беспрестанно расширяющиеся. Вместо велений бога, которые всегда позволялось нарушать, лишь бы потом искупить грех покаянием, является простое, но несравненно более животворное чувство единства, общения, солидарности со

всеми и каждым. И это чувство подсказывает человеку: „Если ты хочешь счастья, то поступай с каждым человеком так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобою. И если ты чувствуешь в себе избыток сил, любви, разума и энергии, то давай их всюду, не жалея, на счастье других: в этом ты найдешь высшее личное счастье.“ И эти простые слова,—плод научного понимания человеческой жизни и не имеющие ничего общего с велениями религий—сразу открывают самое широкое поле для совершенствования и развития человечества.

И вот необходимость перестройки человеческих отношений, в согласии с этими простыми и великими началами, даёт себя чувствовать все более и более. Но перестройка не может совершиться, и не совершится, покуда в основе наших обществ будет лежать порабощение человека человеком и владычество одних над другими.

~~~

Тысячи примеров можно было бы привести в подтверждение сказанного. Достаточно одного—самого ужасного, так как дело идет о наших детях.—Что делаем мы в современном обществе из наших детей?

Уважение к детскому возрасту есть одно из лучших качеств человечества. А между тем даже это уважение исчезает: в современном обществе ребенок беспрестанно становится, либо простым средством для наживы, либо средством удовлетворения самых худших страстей.

Нигде, даже среди самых диких племен Африки, ребенка не изнуряют непосильною работою. Везде он свободен, и нагуливает себе силы, как бы трудно ни было его отцу и матери добывать пропитание. Но в образованных обществах, мы
~~~

сумели извратить даже это отношение к детям. Их запирают в фабрику, или в мастерскую, и заставляют работать до изнурения, из-за корки хлеба,—не смотря на всякие покровительственные законы, время от времени издаваемые нашими законодателями. Обозревая фабрики Американского Штата Массачусета, Эмма Броун нашла в каждой фабрике целые кучи детей, и самый вид каждого из этих маленьких сушеств говорил, что в его худеньком теле уже имеются зачатки всяких болезней: малокровия, уродливостей костяка, чахотки. Сорок четыре процента, т. е. почти половина всех рабочих на фабриках этого набожного Американского Штата, оказываются дети, моложе пятнадцати лет. И платят им только четверть того, что платят взрослому рабочему.

И тоже самое—везде! При каждом взрыве в угольных копях Англии, в числе убитых насчитывают мальчиков моложе 12-ти лет. Набережные людных купальных городов, роскошные улицы столиц переполнены, ночью, детьми, дрожащими от холода на ветру, чтобы заработать две-три копейки на продаже газет. На ткацких заводах Англии, 45,560 девочек моложе 13-ти лет и 40,560 мальчиков. С тринадцати лет, девочки уже работают целый день, наравне с большими, т. е. по десяти и одинадцати часов в сутки, и им даже не ведется отдельного счета: их считают в числе 610,600 „женщин". Не мудрено, что на всех ткацких заводах Англии оказывается всего 327,000 мущин. Остальное — „женщины", т. е. большею частью девочки и девушки, начиная с 13-ти лет, или даже моложе, так как хозяева очень охотно ставят за станок и одиннадцатилетнего ребенка. Зато-же и надо видеть этих девочек: большинство из них, по росту и силам—

совершенные дети, даже и тогда когда они узнали, что значит быть матерью.

Вот что делает образованное человечество со своими детьми. Самое ужасное избиение младенцев совершается в государствах, имеющих самые свободные политические учреждения и предостаточно законов, написанных будто бы для защиты рабочих. Об России-же и говорить нечего.

Сведя школьное образование на самое рутинное обучение, не дающее никакого приложения молодым и хорошим порывам, появляющимся у большинства детей в известном возрасте, наши правители сделали то, что всякий юноша, маломальски независимый, поэтичный и гордый, начинает ненавидеть школу, и либо замыкается в самого себя, либо находит какой нибудь жалкий исход своим молодым порывам. Одни ищут в чтении романов ту поэзию, которой не дает им жизнь; они набивают себе голову тою грязною литературою, которою переполнены газеты, издаваемые буржуазиею и кончают, как Лемэтр, перерезавший горло другому ребенку и распоровший ему живот, чтобы стать „известным убийцею". Другие впадают во всевозможные пороки. И одни только дети „блаженной середины", т. е. такие, которые не знают ни порывов, ни страстей, доходят в школе, без приключений, до благополучного конца. Эти „умеренные и аккуратные" станут в свое время добродетельными буржуа. Они не будут прожигать жизнь, не будут таскать платков из кармана у прохожих, но станут „честно" обворовывать своих клиентов; страстей у них не окажется, но ими будет поддерживаться уличный торг; они будут сидеть в своем болоте и злобно кричать: „казни его" на каждого, кто вздумает замутить их трясину.

Так воспитывают мальчиков. Девочку-же буржуазия, особенно французская, развращает с самых ранних лет. Глупейшие книжки, куклы одетые как камелии, и поучительные примеры матери—все, вместе взятое, приготовит из девочки женщину, готовую продаться тому, кто больше за неё заплатит. И этот ребенок уже сеет разврат вокруг себя: рабочие дети с завистью заглядываются на эту богато-одетую, развязную куколку. Но если мать ее—добросовестная буржуазка, то дела будет еще хуже. Если девочка не глупа, она скоро оценит по достоинству двуличную нравственность своей матери, состоящую из таких советов: „Люби ближнего и грабь его, когда можешь. Будь добродетельна, но лишь до известной степени“, и т. д., и—задыхаясь в этой обстановке, не находя в жизни ничего прекрасного, высокого, увлекательного, она отдастся первому попавшемуся, лишь бы он удовлетворил ее жажду роскоши.

Переберите подобные факты, обдумайте их причины, и скажите сами:—Не правы ли мы, когда утверждаем, что необходима глубокая революция, чтобы унести всю эту мразь, накопившуюся в современных обществах, и потрясти самые их основы?

Покуда у нас будет оставаться каста людей, живущих в праздности, под тем предлогом, что они нужны для управления нами—эти праздные люди всегда будут источником нравственной заразы в обществе. Человек праздный, вечно ищущий новых наслаждений, и у которого чувство солидарности с другими людьми убито самыми условиями его жизни—такой человек всегда будет склонен к самой грубой чувственности: он неизбежно будет опошливать всё, до чего при-

коснется. Со своим туго-набитым кошелем и своими грубыми инстинктами, он будет развращать женщину и ребенка: он развратит искусство, театр, печать—он уже это сделал; он продаст свою родину врагу, продаст ее защитников; и так как он слишком трусоват чтобы избивать кого-либо, то в тот день когда бунтующийся народ заставит его дрожать за кошель,—единственный источник его наслаждений,—он пошлет наёмщиков избивать лучших людей своей родины.

Иначе оно быть не может: и никакие писания, никакие нравственные проповеди ни в чем не помогут. Горе не в табаке и не в безверии, как думает Толстой, а в самых условиях, во всем складе общественной жизни. Зараза сидит в самой глубине семейного очага, поддерживаемого угнетением других людей, и эту заразу надо истребить, хотя бы для того и пришлось прибегнуть к огню и мечу. Колебания в выборе быть не может. Дело идет о спасении того, что человечеству всего дороже: его нравственной общественной жизни.

IV.

БУДУЩАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

Европа—говорили мы в предыдущих главах—быстро приближается, ускоренным ходом, к революционному взрыву.

Изучая современное состояние промышленности и торговли—как они сложились в руках среднего сословия—легко убедиться что они обе страдают от неисправимого недостатка. Полнейшее отсутствие научных начал в организации производства; полнейшее пренебрежение к действительным потребностям общества; безумная трата сил и общественного богатства; жажда наживы, доведшая до полного пренебрежения самых простых человеческих отношений; непрерывная промышленная война и повсеместная неурядица—вот что составляет отличительную черту нашей промышленности и торговли, сложившихся не в интересах народа, а в интересах одного только среднего сословия, буржуазии. И, вследствие этого, мы с радостью ждем того дня, когда народ потребует низвержения среднего сословия, с таким же единодушием, с каким, в былые времена, он требовал низложения королевской власти и помещиков.

Изучая развитие государств, их роль в истории и их теперешнее разложение, мы должны признать, что государственная форма союза между

людьми уже совершила в истории человечества все то, чего можно было от нее ожидать. Она рушится теперь под тяжестью присвоенной себе власти, и на ее место должны возникнуть новые формы союза гражданского, основанные на новых началах и более согласные с современным развитием человечества.

С другой стороны, все те, кто внимательно следит за развитием мысли в теперешним обществе, знают, с какою энергиею мысль работает, именно теперь, над полным пересмотром всех воззрений, завещанных нам прошлыми веками, и над выработкою новых, научных и философских систем, которые должны лечь в основу будущего общества. Над этим пересмотром старого работают уже не одни темные реформаторы из крестьянства и рабочих, измученные непосильною работою и нищетою, восстающие против современных учреждений в надежде на лучшее будущее.

Над тою же ломкою старого трудится и ученый. Хотя он вырос в старых предрассудках, но мало-по-малу он отрешается от них и, прислушавшись к идеям, зарождающимся в народе, он становится их научным выразителем и поборником. Действительно, защитники прошлого с отчаянием в душе указывают на то, что современная критика подтачивает все то, что они привыкли считать священною истиною.—„Философию, естественные науки, теории нравственности, историю, искусство—ничего критика не щадит в своей ужасной ломке", восклицают защитники старины.— Да, ничего она не щадит, даже самых основ нынешних общественных учреждений—личной собственности и власти; и над разрушением их одинаково трудятся и народные массы, и люди мысли:

не только те, кто прямо заинтересован в их уничтожении, но и те, кто со страхом отступится от своих собственных воззрений, когда эти воззрения, отряхнув с себя пыль ученых кабинетов, шумно выступят на улицу и потребуют осуществления в жизни.

Разложение существующего—и всеобщее недовольство; страстная разработка новых форм жизни—и нетерпеливое желание скорее совершить неизбежное изменение общественного строя; юношеское пробуждение критической мысли в области наук, философии, общественной нравственности,—и всеобщее пренебрежение к крепостническим идеалам старины. А с другой стороны—ленивое равнодушие, или преступное сопротивление тех, кому принадлежит власть—тех, кто имеет силу, а подчас и смелость, противиться нарождающимся новым идеям.

Так всегда бывало накануне больших революций; так оно и теперь. И это утверждаем не мы одни; тоже самое признают и наши враги. Даже те, кто успокаивает себя словами: „погодим, покуда еще нет опасности", и те постоянно проговариваются, что положение ухудшается с каждым днем, и что они положительно не знают, куда мы идем. Главная забота всех правительств—раздавить, а если нельзя раздавить, то хоть разрознить, мелкими уступками, готовящееся революционное движение. Ни одно из европейских правительств, кроме, может-быть, всероссийского, и не думает о возможности предотвратить революционный взрыв; они сговариваются лишь о том, как-бы ослабить его, как-бы завладеть им. Средние сословия в Европе вполне понимают неизбежность революции. Во Франции эта уверенность вошла во всеобщее убеждение, она стала ходячею фра-

зою; она беспрестанно прорывается, как в газетах, так и в ученых работах. Богатые люди, точно дворяне перед 1789 годом, даже любят шутить на эту тему.—„Ну, а покуда“, говорят они, повеселимся всласть, а там, когда что, увидим куда бежать“. Недавние заигрыванья немецкого императора с социалистами прямо вызваны убеждением в неизбежность близкой республиканской революции в Германии, и Императорский Социализм есть последняя карта проигравшегося игрока, чтобы подкупить своего противника. И если английская печать продолжает, как всегда, писать свои успокоительные статьи, то обе политические партии, консерваторы и либералы, а равно и англиканская церковь, вполне признаются в публичных речах и в частных разговорах, что надо во что бы то ни стало овладеть революционным движением, дабы, по крайней мере, сдержать его в известных пределах. Тоже самое проповедует и папа, в один голос со своими исконными врагами—англиканскими епископами.

Революция неизбежна; она близка: в этом одинаково убеждены и государственные люди Европы, и деятели рабочего движения, и посторонние наблюдатели.

— „Но ее так часто уже возвещали“—вздыхает около нас пессимист. „Я сам верил в близость революции, а ее все-таки еще нет“, говорит он.—Не грустите об этом: затянувшись на несколько лет, она только успеет лучше назреть.— „Два раза Революция едва не вспыхнула—в 1754 и в 1771 году“—говорит один историк восемьнадцатого века [1]) [я едва не написал: в 1848 и

[1]) Félix Rocquain, „Революционный дух перед революциею“. Париж, 1879.

в 1871 году—так близко сходятся числа]. И она пришла, тем не менее, в конце того же века,—гораздо глубже и плодотворнее, чем если бы она вспыхнула раньше.

Но оставим беспечных и пессимистов. Лучше посмотрим, какой характер может принять революция и что мы можем в ней сделать.

Мы не станем пускаться в исторические пророчества. Их не допускает ни теперешнее младенческое состояние науки об обществах, ни теперешнее положение истории, которая, по выражению Огюстена Тьери, „только душит истину под своими условными формулами". Поэтому, ограничимся несколькими простыми вопросами.

Возможно-ли допустить, в самом деле, чтобы эта громадная работа мысли и критики, совершающаяся во всех слоях общества, разрешилась одною простою переменою формы правления? чтобы недовольство экономическим положением, растущее изо дня в день и распространяющееся повсеместно, не постаралось бы найти себе исход в общественной жизни, как только представятся благоприятные условия, т.-е., как только существующие правительства будут расшатаны революциею?

Ответ на эти вопросы ясен.—Очевидно, этого нельзя допустить. Попытки перестроить хозяйственные отношения будут сделаны неизбежно.

Возможно-ли допустить, например, что крестьяне в Ирландии, которые столько веков стремятся завладеть землею и прогнать ненавидимых ими английских помещиков, не воспользуются первым замешательством в Англии, чтобы осуществить свои заветные мечты?

Можно-ли думать, что все это громадное развитие социализма, совершившееся в Англии в

каких-нибудь семь-восемь лет (с 1884 или 1885 года), охватившее миллионы народа и проникшее даже в среду поденщиков, которые прежде и думать не смели о сговорах и стачке,—не отозвалось чем-нибудь, как только революция вспыхнет где бы то ни было на материке?

Идея о „национализации земли", т.-е. об отнятии земли у помещиков и обращении ее в собственность всего народа, стала до того общераспространенной в Англии, а идея о „муниципализации" собственности, т.-е. о переходе фабрик, заводов, доков, конных и других железных дорог в руки городов слышится так повсеместно во всех рабочих кружках Англии и так усиленно проповедуется тысячами рабочих, что безумно было бы допустить, хотя на минуту, что, в случае революции, английские рабочие не попытаются осуществить этих идей.

Можно-ли допустить также, что во Франции, в случае новой европейской революции, похожей на революцию 1848 года, народ ограничится тем, что прогонит умеренных министров и посадит на их место других, радикальных? Радикалам французский народ более не верит, и он наверное провозгласит Коммуны во всех больших городах и пожелает узнать, что такое Коммуна может сделать для народа? Нужно тоже вовсе не знать французского крестьянина, чтобы думать, что, в случае такого потрясения он не постарается овладеть бархатными лугами своих соседок-монахинь из соседнего монастыря, не захватит полей купца, скупающего землю кругом у обедневших крестьян, и не поддержит именно тех, которые будут стремиться обеспечить ему плоды его труда. Люди, знающие французского крестьянина, напротив того, прямо утверждают, что он несомненно станет на

сторону коммун, если они провозгласят возврат крестьянам земель, заложенных у ростовщиков, уничтожат воинскую повинность и дадут свободу от бесчисленных податей, ныне платимых правительству.

Наконец, когда революция вспыхнет в Европе, и до русского, обездоленного, замученного голодом и податями крестьянина донесется весть, что в Европе крестьяне отбирают земли у помещиков, что от богатых господ требуют, чтобы они работали наравне со всеми рабочими, и что там настало царство народа, вместо царства благородных и других хищников,—когда само русское правительство начнет дрожать за свою судьбу, и либеральные господа наберутся смелости заговорить человеческим языком на место теперешнего холопского—разве можно допустить, чтобы русский крестьянин тоже не попытался посчитаться со своими вековыми притеснителями? Разве он станет попрежнему платить подати, отбывать барщину на барина, на кулака и на купца? разве станет он терпеливо выносить самодурство и зуботычины всякого начальства и не попытается разделаться с ними, как только почувствует, что за помещиком и земским начальником не стоят миллионы штыков?

И, наконец, разве крестьяне в Австрии, в Италии, в Испании смогут остаться неподвижными? Они и теперь уже чуть не каждодневно бунтуются, хотя знают чего стоит им каждый бунт и каждое усмирение [1].

[1] То, что мы предвидели в семидесятых годах, уже оправдывается. Революция уже началась—с России, и Русская революция несомненно отзовется на всю Европу, несмотря даже на страшные потери в людях, понесенные всеми странами в Европе,—только, будем надеяться, совершится она не в форме государственного социализма, принятой ею в России.

Но, при неизбежной дезорганизации государственной власти, и рудокопы не останутся сложа руки. Уже теперь в их среду проникло убеждение, что угольные копи принадлежат тем, кто в них работает. Уже теперь, самые умеренные, даже из английских рудокопов, не говоря о бельгийских и французских, заявляют публично, что их волнения не прекратятся до тех пор, пока теперешние хозяева копей не будут удалены, и копи не отойдут к самим углекопам. Но пусть они только заметят, что власть государства дезорганизована, что войска колеблятся усмирять народ пулями—и они не замедлят привести свои заветные думы в исполнение.

В свою очередь, и мелкий ремесленник, вечно бьющийся в своей темной коморке, как бы прокормить себя и детей,—тем более любимых, чем бледнее и слабее они выглядят от нищеты,—пожелает чего-нибудь лучшего. И даже забитый „босяк", ночующий теперь на дожде в подгородном овраге или под мостом богатой столицы, попытается, в свою очередь, добиться хоть какой-нибудь перемены и потребует у коммуны, у города, у богатых, теплого угла для ночлега и пищи. Каждый обездоленный непременно спросит себя,—неужели-же в богатых домах не найдется хоть угла для бездомного? Неужели в магазинах больших городов, переполненных предметами роскоши для бездельников, нельзя иметь хлеба для тех, кто с детства не привык бездельничать? и неужели люди не могут наработать достаточно предметов первой необходимости для всего человечества, если работа рабочих не пойдет на выделку тысячи ненужных предметов?

Все эти мысли носятся повсеместно; все они повторяются в рабочих собраниях, в печати, на сходках и в домашних разговорах; так можно ли

думать, что вся эта работа мысли пройдет бесследно и не выскажется, в минуту брожения и распадения государственной власти, попытками перестроить экономический строй Европы?

Ответ на эти вопросы до того очевиден, что здравый смысл всех думающих людей в Европе уже понимает следующее:

„Будущая революция будет иметь характер всеобщности, которой не имели предыдущие революции. Где бы она ни началась, она не ограничится одним государством, но распространится на всю Европу. Если в былые времена возможны были местные перевороты, то теперь, при ныне существующем тесном общении между всеми странами и при обилии причин, способных вызвать революцию в каждой из них, это немыслимо,—если только революция, начавшись где-нибудь, протянется несколько времени. Подобно тому, как было в 1848 году, пожар революции неизбежно перекинется из одной страны в другие и охватит всю Европу, даже не исключая Англии.

„Но если в 1848 году взбунтовавшиеся города—Париж, Вена, Берлин—еще могли верить в простую перемену формы правления, и довольствовались провозглашением республики во Франции и конституционными уступками в Германии и Австрии,—то теперь этого уже не повторится. Парижский рабочий, например, не будет ждать от правительства—какое бы даже оно ни было, хотя бы даже правительство Коммуны,—чтобы оно его облагодетельствовало. Он изверился в правительства и сам постарается чего-нибудь добиться.

„Русские крестьяне не станут ждать, чтобы Земский Собор подарил им землю, отнятую у них

господами помещиками и царем: лишь бы они почувствовали надежду на успех, лишь бы они почувствовали, что завтра не нагрянут на них штыки и пушки, и они сами попытаются завладеть этою землею. Поговорите на этот счет с крестьянами, присмотритесь к их мелким бунтам.

„Тоже самое случится и в Испании и в Италии. И если немецкий рабочий долго верил, что все может быть сделано для него по телеграфу из Берлина, лишь бы там сидели „настоящие люди“, то и эта вера сильно поколебалась за последнее время, по мере того как громадное различие во взглядах и революционном темпераменте немецких социалистов-рабочих и их парламентских вожаков стало обрисовываться все ярче и ярче. Рабочий уже теряет в них прежнюю веру, и их ошибки, их бессилие разрешить великие назревшие вопросы—невозможность разрешить эти вопросы парламентским путем, без народной революции,—скоро заставят и немецкого рабочего искать спасения в своей собственной предприимчивости, в народном революционном движении“.

Повсеместные попытки перестроить экономические отношения,—попытки, делаемые самим народом, не ожидая, чтобы все улучшения посыпались на него сами, как манна с небес,—вот характер, который неизбежно примет европейская революция.

V.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА.

Буржуазная печать постоянно восхваляет нам все прелести политических прав так-называемого „свободного гражданина“, т.-е., всеобщей подачи голосов, свободы выборов, свободы печати и сходок, и тому подобного.

— „Раз вы имеете эту свободу—говорят нам,—то к чему-же вы бунтуете? Разве она не дает вам возможности произвести безусловно все необходимые преобразования, не прибегая к восстанию?“.

Рассмотрим-же, чего стоят эти „политические права“ с нашей точки зрения, т.-е. с точки зрения тех, кто ничего не имеет и никем не управляет, у кого „прав“ очень мало, а обязанностей без конца.

Мы не станем утверждать, хотя иногда это и говорится во время споров, чтобы политические права не имели для нас никакой цены. Мы превосходно знаем, что в западной Европе со времени уничтожения крепостной зависимости, а тем более, с конца прошлого века, народ приобрел некоторые, весьма ценные права. Крестьянин и рабочий перестали быть бесправными рабами. Западно - европейского крестьянина никто не волен сечь, как секут крестьян по сию пору в России, и господа дворяне больше не смотрят на мужика, как на рабочую скотину. Точно также городской рабочий—особенно в больших городах,—раз он вышел из мастерской, считает себя рав-

ным любому барину. Благодаря революциям, благодаря крови, пролитой народом, народ приобрел кое-какие личные права, значения которых мы вовсе не хотим умалять. Даже русский крестьянин, с уничтожением крепостной зависимости, приобрел некоторые личные права, настолько ценные, что вполне оценить их может только тот, кто сам когда-то нес крепостное ярмо.

Но есть права и права; и смешивать их может только тот, кто норовит спутать понятия в народе. Есть права, имеющие действительное, положительное значение для человека, и есть права совершенно мнимые. Так, например, равенство между крестьянином и барином в их личных сношениях, или освобождение от телесного наказания, настолько дороги народу, что на западе он немедленно восстал бы, если бы кто-нибудь вздумал их нарушить. Даже русские крестьяне, освобожденные всего тридцать лет тому назад от крепостного рабства и барской розги (благодаря тому, что с самой Севастопольской войны они стали повсеместно бунтоваться и убивать своих помещиков)—даже русские крестьяне бунтуются, с тех пор, как Александр Александрович задумал вернуть их в подданство барину и назначил земских начальников из дворян, для нещадной порки мужиков.

Но есть другие права, как, например, всеобщая подача голосов, или свобода печати, к которым народ в западной Европе почти совершенно равнодушен, потому что он чувствует, что если эти права действительно дают среднему сословию средство обороняться против опеки правительства и против крупных земледельцев, то народа они нисколько не обороняют от среднего сословия. Напротив того, народ чувствует, что

эти так называемые права просто служат, в руках среднего сословия, средством для удержания их власти над трудящимся людом. Их и не следовало бы называть громким именем народных прав, потому что народу они не дают настоящей защиты; и если о них продолжают говорить с таким восторгом, то—только потому, что весь наш склад политического мышления и самый политический язык были выработаны правящими сословиями, в их собственном интересе.

В самом деле, что такое политические права, если не средство для охраны личной независимости, личного достоинства и свободы тех, кто еще в самом себе не чувствует силы заставить уважать свою свободу и свое личное достоинство? Какая в них польза, если они не служат средством освобождения именно тех, кто еще не свободен?—Бисмарку и Гладстону не нужно законов о свободе печати и сходок, потому что они и без того пишут, что хотят, сходятся с кем хотят, проповедуют что хотят; они уже свободны. Если кому нужно обеспечить свободу слова и сходок, так это именно тем, кто еще слишком слаб, чтобы заставить других уважать свою волю. Таково и было, в действительности, происхождение всех политических прав.

Но, в таком случае,—разве вышеупомянутые политические права существуют для тех, кому они всего нужнее?

— Очевидно нет. Всеобщая подача голосов иногда даёт среднему сословию некоторую защиту против правительства, не доводя недовольных до явного восстания. Она может сохранить равновесие между партиями, которые борятся за власть, и не допускает до открытой борьбы оружием, как это делалось в былые времена. Но если является

надобность низвергнуть правительство, или только ослабить его власть в интересе народа, то тут всеобщая подача голосов уже ни причем. Она является прекрасным средством для мирного разрешения споров между правящими классами—но мало от нее пользы для управляемых.

Самая история всеобщей подачи голосов доказывает справедливость сказанного.—До тех пор, пока буржуазия думала, что всеобщая подача голосов может стать оружием в руках народа против привилегированного положения некоторых сословий, она с ожесточением боролась против этого нововведения. Но когда 1848-й год во Франции, а потом Наполеоновская империя доказали, что всеобщей подачи голосов нечего бояться,—что она превосходно уживается не только с капиталом, но даже с Наполеоновским своевластием, и что при помощи этого отвода глаз нет ничего легче как управлять народом,—буржуазия немедленно согласилась на эту меру, и стала вводить ее повсеместно.—Чего-же лучше! Править страною, как правили Бисмарк, Наполеон и Криспи, и уверять народ, что он сам собою управляет! Теперь среднее сословие само стоит горою за всеобщую подачу голосов, потому что отлично знает, что всеобщие выборы дают превосходное средство удержать власть, но совершенно неспособны, в чем бы то ни было, содействовать освобождению народа, пока народ делится на бедных и богатых, на работников и работодателей, на неимущих и имущих.

То же самое относится и до свободы печати. Действительно, самым убедительным доводом в пользу свободы печати оказалось, в глазах среднего сословия,—ее бессилие.—Да, бессилие печати: Эмиль Жирарден даже написал отличную

книгу на эту тему.—„В былые времена“, писал он, „колдунов жгли на кострах, потому что воображали, что колдуны всемогущи; теперь, ту же глупость проделывают над книгами, потому что их тоже считают всемогущими. На самом же деле это вздор, потому что печать также бессильна, как средневековые колдуны“. Из чего Жирарден заключал, что преследовать печать очень глупо. Так писал Жирарден пятьдесят лет тому назад. И в настоящее время, когда буржуа рассуждает о свободе печати, они всегда говорят: „Взгляните на Англию, на Швейцарию, или на Соединенные Штаты. У них печать свободна, а между тем, разве царство капитала там менее обеспечено, чем в какой-нибудь подцензурной России? Напротив того. Пусть их излагают себе в своих листках самые революционные учения. Точно мы не можем заглушить этих листков нашею могучею ежедневною печатью, без всякого видного насилия? И наконец, если в минуту народного волнения революционная печать стала бы действительно опасною—точно у нас нет средств, самым законным образом, закрыть все их газеты под благовидным предлогом [1]).

То же самое рассуждение делается относительно свободы сходок. Буржуа говорит:—„Конечно, дайте им полнейшую свободу сходок! Самое страшное для нас, это т а й н ы е общества; открытые-же собрания—лучшее средство помешать образова-

[1]) Так и делают теперь. Печать вольна писать все, что ей вздумается. Во Франции и в Соединенных Штатах издатель газеты волен каждодневно советовать убийство министра. Но, если бы кто-нибудь вздумал последовать этому совету, то и редактор, и убийца приговариваются к смерти.— За примером ходить не далеко. Анархист Сивок был приговорен к смерти (замененной пожизненною каторгою) з а с т а т ь ю.

нию тайных обществ. А если бы, в минуту волнения, народные собрания оказались опасными— точно мы не можем закрыть их и перехватать всех деятельных людей! Правительственная сила у нас в руках!“

— „Ненарушимость святыни домашнего очага? Конечно, впишите ее в законы! Кричите о ней везде, во всю мочь!“—говорят мудрецы из среднего сословия.—„Нам вовсе не желательно, чтобы полиция врывалась к нам в дома и заставала нас врасплох. Но зато мы учредим тайную полицию, чтобы надзирать за подозрительными людьми; мы наводним страну, и особенно рабочие собрания, соглядатаями; мы составим списки опасных людей, и будем зорко следить за ними. И когда мы узнаем, что дело плохо, что наши кошели в опасности—будем действовать смело! Нечего тогда толковать о законности: будем хватать людей ночью, в постеле; все обыщем, все разнюхаем! Главное в таком случае—смелость! И если глупые законники начнут протестовать, мы и их заарестуем и скажем: „Ничего, господа, не поделаешь,—война так война!“ и вы увидите, что все „порядочные люди“ будут за нас“.

— Тайна почтовой переписки? Конечно, говорите везде, кричите на торжищах, что вскрывать чужие письма—самое ужасное преступление. Если какой - нибудь почтмейстер вскроет чужое письмо—под суд его, злодея! Мы вовсе не хотим, чтобы кто - нибудь смел проникать в наши маленькие тайны. Но зато, если до нас дойдет слух о каком-нибудь заговоре против наших привилегий—тогда не взыщите. Все письма будем вскрывать, назначим на это тысячи чиновников, если нужно, и если кто-нибудь вздумает жаловаться, мы ответим прямо, цинично, как недавно

ответил один английский министр на запрос ирландского депутата:—„Да, господа, с болью в сердце я должен признать, что мы вскрываем ваши письма. Но мы делаем это исключительно потому, что государство (т. е. дворянство и буржуазия) в опасности!"

Вот к чему сводятся политические права.

Свобода печати и сходок, святость домашнего очага и т. д. существуют только под условием, чтобы народ не пользовался ими против привилегированных сословий. В тот же день, когда народ начинает пользоваться ими, чтобы подрывать привилегии правящих классов—все эти так-называемые права выкидываются за борт, как ненужный балласт.

Иначе оно быть не может. Права человека существуют лишь постольку, поскольку он готов защищать их с оружием в руках.

Если на улицах Парижа не секут, точно также как секли недавно на улицах в Одессе, то это потому, что если бы какое-нибудь правительство осмелилось прибегнуть к этому способу усмирения, его не стало бы на другой день: народ разнёс бы его. Если дворянин больше не ходит по улицам с лакеями, разгоняющими толпу палочными ударами направо и налево—то это потому, что со времени большой революции народ не даёт разгонять себя палками, а напротив того исколотил бы лакеев, если бы таковые показались с палками на улице. Если на западе существует некоторое равенство между рабочим и хозяином в их частных сношениях, вне мастерской и на улице, то опять-таки только потому, что предшествовавшие революции развили в рабочем чувство собственного достоинства, а не потому, чтобы такие права были вписаны в закон.

Очевидно, что в современном обществе, разделенном на богатых и бедных, на начальство и подчиненных, равенства быть не может. Однако, из этого вовсе не следует, чтобы в ожидании анархической революции мы предпочитали, чтобы печать оставалась под ярмом, чтобы свободы сходок не существовало, и чтобы каждый жандарм мог хватать прохожего на улице по подозрению в государственном преступлении. Какова бы ни была над нами сила капитала, мы все-таки хотим печатать и писать, что мы находим полезным, хотим сходиться где нам нравится и обсуждать что нам вздумается—именно для того, чтобы стряхнуть с себя ярмо капитала и государства.

Но мы утверждаем, что не у конституции следует выпрашивать эти права: их надо брать с боя. Закон—не что иное как клочёк бумаги, который всегда можно разорвать, или написать за-ново, а потому он и не может обеспечить этих совершенно естественных прав. Только тогда, когда мы, сознавши свою силу, станем силою, способною взять эти права—только тогда сможем мы заставить их уважать. Даже в Германии, какая ни на есть политическая свобода была взята с боя, после бунта 18 марта в Берлине и революции 1848 года в разных частях страны. А о Франции и Англии и говорить нечего.

Каждое само-малейшее право было завоевано этими двумя народами ценою крови. И если в Англии правительство не решается, за последние пол-века, нарушать политические права народа, то происходит это главным образом потому, что очень худо пришлось бы богатым людям и правительству при малейшем подобном нарушении. Когда, несколько лет тому назад, в Лондоне запретили народу собираться в Хайд-Парке, то толпа со свирепостью разломала высокую желез-

ную решетку парка и, вооружившись полосами железа, отчаянно дралась с полициею; в конце концов она отвоевала свой парк. А когда, в 1886 году голодный народ вздумали разгонять с Трафальгар-сквера, то толпа разнесла богатые магазины в соседней улице, и хотя несколько человек судили за этот погром, но правительство (это—факт), наведя под рукою справки о состоянии умов в бедных частях Лондона, решило ограничиться пустейшими приговорами.

Самое право стачек английские рабочие (которых еще в 1813 году вешали за стачки) завоевали пятидесятилетнею упорною борьбою, не смотря на жестокие преследования ихних, тогда тайных рабочих союзов. И держится это право тем страхом, который наводят рабочие своими стачками. Всем известно, что в своих стачках, английские рабочие не останавливаются перед самыми отчаянными мерами, не говоря уже о порче машин, явной и тайной, и т. п. Так, не далее как в прошлом году, стачечники послали отряд своих людей взрывать железнодорожную насыпь, если бы по этой железной дороге тронулся поезд с рабочими, нанятыми чтобы заполнить их места.

Не законами, не парламентом обеспечена свобода в Англии, а всегдашнею готовностью английских рабочих пустить в дело силу.

Если мы хотим пользоваться свободою читать и писать то, что нам нравится, собираться где и как нам нравится и т. д., то не у правительства должны мы выпрашивать эти права: мы сами должны завоевать их, как завоевала их для себя, западно-европейская буржуазия, посылавшая редакторов своих газет целыми дюжинами в

тюрьму, и как народ, ценою своей крови отвоевавший те немногие права, которыми он теперь пользуется.

Когда мы будем силою, сплоченною силою, способною показать зубы при всяком стеснении свободы слова и сходок, — тогда только мы сможем быть уверены, что никто и не станет оспаривать у нас этих прав. А когда мы сможем затем выступить на улицу, на дорогу, на площадь, в значительном числе, тогда мы отвоюем себе не только эти права, но и многие другие в придачу.

Тогда, но только тогда, мы получим права, которых нам во-веки не выпросить рабскими просьбами, и самые эти права, приобретенные таким образом, окажутся несравненно прочнее всех прав, дарованных на бумаге.

Свобода—не имянинный подарок. Ее нужно взять; даром она никому не дается.

VI.

К МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ.

I.

Мы намерены поговорить теперь с молодыми людьми. Пусть люди старые—старые сердцем—лучше закроют книгу, не трудясь над чтением: им оно ничего не скажет.

Положим, что вы подходите к двадцати годам. Вы кончили ученье и скоро вступите в жизнь. Ваш ум, надо думать, свободен от предрассудков, которыми старались его наполнить: чорта вы не боитесь, и вы не хотите слушать молитвы и проповеди в церквах. Что еще важнее—вы не принадлежите к числу тех жалких детей разлагающегося века, которые, разодевшись по последней моде, слоняются без дела и уже с юных лет мечтают лишь о том, как бы насладиться жизнью во что бы то ни стало... Предположим, что сердце у вас есть, и что бьется оно во имя чего-то лучшего.

И вот перед вами настоятельно выступает вопрос:—„Что делать?" Он носится перед вами, он мучит вас. Как человек молодой, вы действительно чувствуете, что раз вы научились ремеслу или наукам—конечно, на счёт народа—то вам следует воспользоваться вашими знаниями не для того, чтобы жить чужим трудом, а для того, чтобы самому быть в чем-нибудь полезным. В самом деле, надо быть очень развращенным,

чтобы не стремиться, даже в эти годы, принести посильную пользу своими знаниями, умом, или энергиею, в деле освобождения народа, прозябающего в нищете и невежестве.

Вы мечтаете об этом,—не так-ли? Посмотрим же, что делать, дабы ваши мечты перешли в действительность.

Я не знаю, в каких условиях вы родились. Быть может, вам улыбнулась судьба, и вам удалось запастись серьёзными знаниями: пред вами поприще доктора, литератора, или ученого—широкое поприще, на котором требуется много сил, и вы чувствуете в себе эти силы. Или, быть может, вы хороший ремесленник; многого узнать вам в науках не удалось, но зато пришлось близко познакомиться с тяжелою трудовою жизнью рабочего.

Начнем хоть с первого предположения, а потом вернемся ко второму. Допустим, что вам предстоит сделаться—ну, хоть доктором.

Завтра-же, человек бедно-одетый позовёт вас к больной. Он проведёт вас по грязным, закопченым проулкам. При свете тусклой лампы вы подниметесь два, три, четыре этажа, по лестнице, покрытой скользкой грязью, и в холодной, темной конуре вы найдете больную, на груде грязного тряпья, покрытую грязным тряпьем. Бледные, изможденные дети, едва прикрытые отрепьями, испуганно глядят на вас. Муж скажет вам, что он работал всю свою жизнь по тринадцати и по четырнадцати часов в сутки, но что теперь, вот уже четыре месяца как он остался без работы. В его ремесле это не редкость; каждый год бывает три-четыре месяца застоя. Но прежде, когда его работа останавливалась, жена хоть что-нибудь прирабатывала: она стирала—может быть,

ваши же рубашки—и приносила в дом копеек по тридцати в день. Но вот она уже два месяца не встаёт, и нищета свила свое гнездо в семье.

Что-же вы пропишете больной, мой доктор,—вы, который сразу поняли, что микстурами тут не поможешь, что причина болезни—общее малокровие, отсутствие воздуха и пищи?—Хороший кусок жареного мяса по утрам, прогулку на свежем воздухе, сухую, хорошо проветренную квартиру? Какая злая насмешка! Неужели больная сама, не дожидаясь ваших советов, не стала бы есть, если бы было что есть!

Если вы человек сердечный и ваша простая, честная речь понравится простым людям, то многое еще вы узнаете от них. Вам скажут, что за перегородкою лежит гладильщица: это ее надрывающий душу кашель вы теперь слышите; в нижнем этаже все дети лежат больные какою-то лихорадкою; а в подвальном этаже прачка тоже не дотянет до весны; а в соседнем доме—и того хуже.

Что-же вы посоветуете всем этим больным? В голове у вас вертятся слова: „перемена климата, поменьше изнурительной работы“, но язык отказывается их выговорить; вы выходите с разбитым сердцем, с проклятием в душе.

Завтра, вы еще думаете о ваших печальных пациентах, как ваш приятель, доктор-карьерист, рассказывает вам, что за ним приезжал лакей из богатого дома. Его тоже звали к женщине, живущей в прекрасной квартире, изнуренной ночами, проведенными на балах, которой жизнь проходит в заботах о туалете, в визитах и в ссорах с мужем-ворчуном. Ваш товарищ посоветовал ей более осмысленную жизнь, поменьше горячительной пищи, побольше спокойствия, путешествие за границу; он не забыл и комнатную гимнастику, чтобы заменить хоть сколько-нибудь ручной труд!

Одна умирает, оттого что во всю свою жизнь никогда не ела до-сыта и не знала отдыха, а другая вянет, потому что всю свою жизнь не знала, что такое труд...

Если вы принадлежите к числу тех рыхлых натур, которые при виде самых ужасных безобразий облегчают себя болтовнею за кружкой пива, то понемногу вы привыкнете к этим противоречиям и, с помощью плотоядных инстинктов, вы понемногу перейдете в ряды карьеристов, чтобы избавиться от самого вида нищеты.

Но если вы настоящий „человек", если ваше чувство привыкло всегда выражаться соответствующими поступками, если животная натура не убила в вас думающего человека,—тогда вы в один прекрасный день скажете себе: —„Нет, это „подло и преступно", дольше так тянуть невозможно. Нечего лечить болезни, их надо предупреждать. Самое ничтожное улучшение благосостояния и умственного развития народа уже сократило бы болезни на половину. К чорту лекарства! Света, воздуха, пищи, но меньше изнуряющего труда,—вот с чего нужно начать. Без этого, ремесло доктора глупейшее шарлатанство и обман!"

В этот день вы поймете, что такое социализм. Вы захотите глубже вникнуть в его учения, и если любовь к человечеству, для вас не пустое слово, и если вы внесете в изучение социального вопроса те же строгие методы индукции, к которым вы привыкли в науке, то вы непременно окажетесь в наших рядах. Вы будете работать вместе с нами, для социального переворота.

Но, быть может, отказавшись от лекарской практики, вы захотите искать в науке тех высо-

ких утешений, которые дает изучение тайн природы и умственный труд. Наравне с астрономом, физиком, химиком, вы отдадитесь чистой науке. Но ради чего вы это сделаете? — Ради самих наслаждений, которые дает наука? В таком случае,—чем же вы, учёный, предающийся науке ради доставляемых ею удовольствий, отличаетесь от пьяницы, который тоже ищет удовольствий и находит их в вине? Учёный, конечно, лучше выбрал источник своих наслаждений, так как его наслаждения и сильнее и прочнее. Но ведь в этом вся разница! И пьяница, и ученый, оба преследуют свое личное удовольствие, у обоих одна и та же эгоистическая, себялюбивая цель.

Но нет—такой себялюбивой жизни вы не захотите. Работая для науки, вы будете иметь в виду человечество, и мысль о человечестве будет руководить вами в выборе ваших занятий.

Чудное заблуждение! И кто-же из нас не заплатил ему дани, когда впервые отдавался науке!

Но в таком случае, если вы действительно думаете о человечестве, пред вами немедленно восстанет жестокое сомнение. Если только ваш ум привык рассуждать последовательно, без хитрости, без самообмана, вы сейчас-же заметите, что в современном обществе наука есть предмет роскоши,—чудной роскоши, скрашивающей жизнь для немногих, но совершенно недоступной для громадного большинства людей.

Действительно, вот уже более века как наука установила основы здравых понятий о происхождении мира. Но—много-ли на свете людей, разделяющих эти понятия и одаренных умом, достаточно научным для восприятия их? Их всего несколько тысяч, затерянных среди миллионов других людей, живущих под страхом самых грубых суеверий и предрассудков, и потому самому

неизбежно подчиняющихся всевозможным религиозным обманщикам.

Или—бросьте взгляд на то, что сделано в области науки о здоровье, телесном и нравственном. Эта наука перечислит вам всё, что нужно для сохранения здоровья нашего тела; она назовет всё, что необходимо, чтобы города не были гнездами всяких заразных болезней; она укажет вам истинные пути к здоровью умственному и душевному.—Но вся эта громадная работа, не остается-ли она мертвою буквою в наших книгах? Да и может ли оно быть иначе, когда науки остаются достоянием ничтожной частички привилегированных сословий, когда неравенство состояний делит общество на два класса: людей, живущих ничтожным заработком и людей живущих их работою—из чего выходит что для девяти-десятых людей все советы науки пропадают даром.

Много можно бы привести других подходящих примеров. Но не будем распространяться. Выйдите вы только из вашей Фаустовской студии, куда и свет-то не проникает на книги, иначе как через запыленные решетчатые окна; оглянитесь сами вокруг себя, и на каждом шагу вы сами найдете подтверждение сказанного.

Не в научных истинах и открытиях чувствуется теперь недостаток; в настоящую минуту требуется, прежде всего, распространить добытые уже истины, провести их в жизнь, сделать их всеобщим достоянием. Нужно добиться, чтобы все человечество способно было их усвоить и прилагать их к делу: чтобы наука перестала быть предметом роскоши и чтобы знание стало основою жизни. Этого требует простая справедливость.

Того же требует и сама наука. Истинное движение вперед возможно в науке только тогда, когда умы способны к восприятию вновь открываемых истин. Механическая теория теплоты, изложенная еще в прошлом веке, почти в тех самых выражениях, в каких выразили ее наши современники, Гирн и Клазиус, оставалась в продолжение восьмидесяти лет зарытою в ученых записках Академий, до тех пор пока физические знания и способы мышления, свойственные физике, не распространились в обществе, и не создалась среда, способная воспринять эти открытия. Точно также потребовалось целых три поколения, прежде чем взгляды Эразма Дарвина на изменчивость видов животных и растений были приняты из уст его внука; да и то пришлось обществу оказать некоторое давление на господ академиков.

Ученый, точно так же, как и художник, всегда бывает плодом того общества, в котором он вырос и которое он поучает.

Но если вы проникнетесь этими взглядами, вы поймете, что прежде всего нужно добиться в обществе глубокого преобразования; нужно прежде всего изменить теперешние порядки, благодаря которым ученый стоит одиноко со своими познаниями, тогда как кругом его люди живут, почти все, в том же состоянии, что и за пятьсот или тысячу лет тому назад, т.-е. в состоянии рабов, неспособных усвоить себе даже установленные научные истины. И когда вы придете к этому взгляду,—действительно человечному, и вместе с тем глубоко научному,—вы сразу потеряете всякий вкус к отвлеченной науке. Вы станете думать о том, как произвести нужное преобразование; и если вы в этой области не откажетесь

от неподкупных методов научного искания истины, вы неизбежно вынуждены будете стать за одно с социалистами. Отказавшись от всяких хитроумных заключений, вы вступите в наши ряды.

Не желая более работать над исканием все высших и высших источников наслаждения для тех, кто уже завладел львиною долею наслаждений, вы отдадите свои знания и свое научное мышление прямому служению народу.—И будьте уверены, что сознание исполненного долга и чувство согласия между вашими мыслями и поступками дадут вам такие силы, которых вы в себе и не подозревали. А в тот день,—этот день не далек, что бы там ни говорили ваши профессора— в тот день, когда преобразования, которым вы отдали свои силы, совершатся, тогда наука найдет, в ученых трудах, ведущихся сообща, при помощи множества новых помощников из рабочей среды, такую силу, она возьмет такой могучий полет, что все ее нынешние успехи покажутся простыми ученическими упражнениями.

Тогда вволю наслаждайтесь наукою: это наслаждение будет доступно всем!

II.

Если вы кончаете курс юридических наук, то очень может быть, что и вы тоже лелеете несбыточные мечты насчет вашей будущей деятельности—ведь мы допустили, что альтруизм, т.-е. желание блага всем, а не одному себе, вам не чужд. Вы, может быть, мечтаете посвятить свою жизнь смелой борьбе против насилия и неправды, работать для торжества закона, который служит выражением высшей справедливости.—„Где же найти“, думаете вы, „лучшее поприще“, и вы

вступаете в жизнь с полною верою в самого себя и в избранную вами деятельность.

Раскроем-же наудачу судебную хронику и посмотрим, что вас ждет.

Вот богатый помещик; он требует, чтобы с его земли согнали крестьянина, который не платит условленного оброка за землю. С точки зрения закона, никакого сомнения быть не может: так как крестьянин не платит, ему следует уходить с земли. Но если вглядеться в дело, то оказывается следующее: помещик за всю свою жизнь только и знал, что проживал в попойках доходы с имения, тогда как крестьянин вечно работал и вечно не доедал. Помещик палец о палец не ударил, чтобы увеличить производительность земли, а между тем ее доходность все-таки утроилась за последние пятнадцать лет, благодаря прибавочной стоимости, приданной земле новой железною дорогою, новыми сельскими дорогами, осушкою болот в округе, распашкою непаханных раньше земель и расширением соседнего города. Крестьянин-же, который сильно потрудился над этим самым увеличением ценности земли, разорился: после неурожайного года он попал в лапы ростовщикам, он влез в долги и платить аренды не в состоянии.

Закон всегда стоит на стороне владельца и в данном случае формально говорит в пользу помещика. Но вы, если юридические „слова“ не убили в вас чувства справедливости,—что станете вы делать? Будете ли вы требовать, чтобы крестьянский скарб был выброшен на улицу—так следует по закону; или же вы потребуете, чтобы землевладелец вернул всю ту часть прибавочной стоимости, которая была придана земле трудом мужика?—так следовало бы по справедливости.—На чью сторону станете вы? на сторону

закона, против справедливости? или на сторону справедливости и, стало быть, против закона?

А если рабочие сделали забастовку, не предупредивши хозяина за две недели,—за кого будете вы стоять? За закон, т.-е. за фабриканта, который, пользуясь кризисом, наживал шальные барыши (вспомните только отчеты о последних стачках) или-же вы подниметесь против закона и станете на сторону рабочих, которые зарабатывали каких-нибудь тридцать копеек в день и жили впроголодь? Захотите-ли вы отстаивать это обманное предположение о яко-бы „свободном договоре"? Или же, держась простой справедливости, вы скажете, что договор, заключенный между сытым и голодным, между сильным и слабым, вовсе не договор, а принуждение, и восстанете против закона, убедившись, что он и тут, как везде, оказывается в разладе со справедливостью?

Или, наконец, вот факт, случившийся на-днях. Человек бродил возле мясной лавки. Он схватил кусок мяса и пустился бежать. Его заарестовали, стали расспрашивать и оказалось, что он—рабочий без работы, что и он и его семья сидят голодные. Собравшаяся кругом толпа упрашивала мясника отпустить этого человека, но мясник стоял за „торжество закона"! Укравшего поволокли в суд, и судья приговорил его к шести месяцам тюрьмы. Того требовала слепая Фемида!—И ваша совесть не возмутится против закона, против всего общества, видя, что подобные приговоры произносятся каждодневно!

Или еще,—неужели вы станете требовать приложения закона к этому „убийце", которого с самого раннего детства теснили, били, обижали который вырос, никогда не видав ничьей ласки, и кончил тем, что убил соседа, чтобы украсть у

него пять рублей? Неужели вы станете требовать, чтобы его казнили, или—что нисколько не лучше—чтобы его заперли навсегда в каторжную тюрьму, тогда как вы знаете, что он скорее больной, чем преступник, и что во всяком случае его преступление падает на все общество, а не на него самого!

Станете-ли вы также требовать, чтобы заперли в тюрьму этих ткачей за то, что в минуту отчаяния они подожгли фабрику? Чтобы сослали на каторгу революционера, стрелявшего по коронованному убийце? Чтобы войска стреляли в народ, когда он поднимает на баррикадах знамя будущей жизни?

— Нет, тысячу раз нет!

Если вы рассуждаете, а не просто повторяете то, чему вас учили; если вы вдумаетесь в факты и отделите закон от фикций, нагроможденных законниками, чтобы скрыть его зарождение из права сильного и его сущность—т.-е. сохранение всех несправедливостей, унаследованных человечеством из его тяжелой, кровавой истории,—вы неизбежно проникнетесь глубочайшим презрением к этому закону. Вы поймете, что оставаться служителем писанного закона, значит жить в разладе с законом справедливости и вечно искать сделок с вашей совестью; а так как подобная борьба не может долго длиться в человеке, то—или вы заглушите свою совесть, или же вы должны будете порвать с преданиями старины; вы вступите в наши ряды и с нами будете бороться против всех несправедливостей: экономических, политических, общественных.

Но тогда вы станете социалистом, вы станете революционером.

А вы, молодой инженер, или механик, мечтающий улучшить судьбу рабочих путем приложения науки к промышленности—сколько разочарований вас ждет! Вы отдаете, например, свои молодые силы на разработку проекта железной дороги, которая, пробивая гранитные глыбы и извиваясь по стенам ущелий, должна наконец соединить два народа, раз'единенных природою. Такова, по крайней мере, ваша мечта. Но, едва только начнутся работы, как вы увидите в темных тунелях целые толпы рабочих, умирающих от изнурения и всевозможных болезней, тогда как другие, отработавшиеся толпы возвращаются по домам, с грошами в кармане и с задатками чахотки в груди; вы увидите груды трупов, нагроможденных ничем иным, как безобразною скупостью предпринимателей; а когда дорога будет готова, то вы с ужасом убедитесь, что послужит она, либо для окончательного разорения целой области крестьян, либо для вторжения неприятельских пушек.

А не то вы, может быть, отдаете свою молодость на изобретение, которое, по вашему мнению, со временем облегчит человеку производство необходимых ему вещей—и, после многих и многих бессонных ночей, волнений и надежд, вы наконец достигаете своей цели. Ваше изобретение доведено до совершенства! И вот его прилагают к промышленности—и результаты даже превосходят все ваши мечты! Десять, двадцать тысяч рабочих сразу выброшено из фабрик на улицу. Остались на фабрике старики да дети—и детей самих обратили в машины,—и тысячи семей остаются без куска хлеба, тогда как три, четыре фабриканта наживаются, и вино льется рекою на их пирах... Этого, что-ли, вы добивались?

Тогда вы, может быть, возьметесь за изучение истории современной промышленности и узнаете, как мало машины, при теперешних порядках, улучшают положение рабочего. Вы увидите, что швея так-таки ничего не выиграла от изобретения швейной машины: та-же беспощадная работа, та-же забота о куске хлеба; что, несмотря на все совершенства механических сверл с алмазными коронками, употребляемых теперь при пробивке тунелей, рабочие хуже прежнего мрут от „тунельной болезни", анкилозита; что каменщики и чернорабочие сидят без работы о-бок с под'емными машинами Жирара, и т. д., и т. д. И если вы приметесь обсуждать общественные вопросы с тою же независимостью мысли, с какою вы работали в инженерном деле, вы сразу поймете, что при существовании частной собственности и наемного труда, всякое новое изобретение, — если даже оно улучшает немного судьбу рабочего вообще,—непременно сопровождается бездною человеческих страданий для отдельных групп людей и наций; что оно неизбежно ведет к увеличению чисто-машинального труда, в ущерб ремесленному, и роковым образом приводит к учащению и к обострению промышленных кризисов, делая их все более и более ужасными для громадной массы рабочих. Главную же пользу от новых открытий получает, при теперешнем устройстве общества, тот, кто уже пользуется львиною долею наслаждений в жизни.

Что-же станете вы делать, раз вы дойдете до такого заключения?—Одно из двух: или вы начнете заглушать голос совести разными хитроумными рассуждениями и, мало по малу, упразднивши честные грезы молодости, станете искать себе выгодного „положения" и запишетесь в ряды более или менее откровенных эксплуататоров. Или

же—если в вас есть честная и сильная воля,— вы себе скажете:—„Не время теперь заниматься изобретениями. Прежде всего надо изменить систему труда и производства. Когда личной собственности более не будет, тогда всякий новый успех в промышленности будет на пользу всего человечества. Тогда вся эта масса рабочих, ныне обращенных в машины, станет массою мыслящих и знающих людей; тогда изобретательности, подкрепленной научным знанием и изощренной ручным трудом, будет полный простор—и при новых условиях жизни, техника станет развиваться так быстро, что в каких-нибудь пятьдесят лет осуществится все то, о чем мы теперь и мечтать не смеем“.

Что-же сказать вам, школьному учителю?—не тому, конечно, из вас, кто смотрит на свою профессию, как на мучительнейшее ремесло, а тому, который верит в школу, чувствует себя счастливым среди ребят и, глядя на их веселые лица, надеется пробудить в молодых головках общечеловеческие мысли, носившиеся в его собственной голове в молодые годы.

Нередко я подмечаю грусть на вашем лице и угадываю, что хмурит ваши брови. Сегодня еще, ваш любимый ученик,—правда, плохой в латыне, но „живая душа“ тем не менее—с блеском в глазах рассказывал вам сказание о Вильгельме Телле, убившем тирана и поднявшем знамя восстания в Швейцарии. Его глаза блестели; он, казалось, готов был сам поразить всех тиранов; и он одушевленно повторял стихи Шиллера:

Не бойся раба, разбивающего свою цепь,
Не бойся свободного человека.

Но—едва он вернулся домой, как отец и мать стали бранить его за то, что он не поклонился, как должно, священнику и не заметил урядника, и целый час читали ему наставления насчет „осторожности, терпения и повиновения“, так что он отложил в сторону Шиллера и погрузился в чтение „Искусства прохождения жизненного пути“.

А вчера вам рассказывали, что вышло из ваших лучших учеников. Все они свернули на иную дорогу. Один бредит эполетами; другой, за одно с хозяином, обворовывает рабочих; третий хлопочет попасть на теплое местечко; и вы, положивши столько надежд на своих любимцев, теперь с грустью размышляете о разладе между жизнью и добрыми намерениями.

Да, покуда вы еще размышляете на такие темы. Но, сдается мне, что года через два, три, вдоволь натерпевшись всяких разочарований, вы отложите в сторону своих любимых авторов и начнете утверждать, что Вильгельм Телль, конечно, был чадолюбивый отец, боявшийся поранить своего сына стрелою, но что всетаки он через-чур погорячился; что поэзию очень приятно почитать у комелька, особенно после того, как целый день преподавал правила сложных процентов, но что все-таки господа поэты носятся в облаках, и что их стихи никак не подходят, ни к обыденной жизни, ни к предстоящей ревизии школ господином Инспектором... И ваш Шиллер и Некрасов начнут покрываться паутиною на полке.

Или-же—пусть лучше так будет—мечты молодости станут в вас убеждением взрослого человека. Вы захотите, чтобы всем, без исключения, возможно было получать широкое, обще-человеческое воспитание, и в школе, и вне школы; и,

убедившись в невозможности такого воспитания при теперешних условиях, вы станете разбирать самую суть теперешнего буржуазного общества.

Тогда, вас уволят, по всей вероятности, без прошения; вы оставите школу и придете к нам, чтобы вместе с нами говорить взрослым людям о всех высоких наслаждениях научного знания, о том, чем человечество может стать и должно стать—куда оно идет и что мешает ему завоевать свободу, благосостояние и счастье. Вы станете тогда в ряды социалистов, и вместе с нами будете работать над полною перестройкою теперешнего общества в смысле равенства, свободы и братства,—над полным разрушением гнили и плесени, раз'едающих лучшие стороны человека, гложущих лучшие струны его сердца.

И наконец вы, молодой художник, скульптор, живописец, поэт или музыкант,—не замечаете ли вы, что вам и вашим сверстникам не хватает того вдохновения, которое руководило стихом, кистью и резцом великих мастеров прошлого? Не находите ли вы, что искусство испошлилось, что везде царит блаженная посредственность, и что она губит всякое дарование?

Но как же и быть иначе?

То глубокое счастье, которое испытывали художники времен Возрождения, когда они открыли сокровища древнего мира и сами освежились возвратом к природе—этого счастья нет для современного искусства! Новая же идея, способная произвести те же чудеса—идея революционного пробуждения мира—еще не вдохновила художника. А потому, без идеи, без великих побуждений, художество ищет себе побуждения и идеи в так-называемом реализме и трудится в поте лица над воспроизведением капли росы на листке,

или мускулов коровы, или же копошится над мелочным расписыванием, стихами и прозой, удушливой грязи помойной ямы или спальни гулящей женщины.

— Но раз оно так, что же делать? спросите вы.

Ответ наш прост. Если ваш „священный“ огонь ничто иное, как коптящий ночник, то, конечно, продолжайте то, что вы делали раньше, и понемножку ваше искусство снизойдет до расписывания стен в доме богатого купчины, до писания стишков для опереток, или до фельетонов известного борзописца—большинство из вас и без того уже идет по этой дороге.

Но если ваше сердце действительно бьется за-одно с сердцем всего человечества; если вы, как истинный поэт и художник, способны подслушать и уловить истинную жизнь,—тогда, в виду этого моря страданий, поднимающихся вокруг вас посреди народов, мрущих с голода, при виде трупов, нагроможденных в каменно-угольных копях и обезображенных у подножия баррикад, при воплях „несчастных“, гибнущих в снегах Сибири или на выжженных берегах тропических островов,—в виду гигантской борьбы, уже начинающейся повсеместно под стоны побежденных и под оргии победителей, в виду отчаянной борьбы героизма против низости и пошлости—вы не сможете остаться равнодушным.

Вы станете в ряды униженных и оскорбленных; вы поймете, что все великое и прекрасное,—жизнь, одним словом,—там, где борятся за свет, за счастье, за истину, за человечество!

Но вы останавливаете меня.—„Что же делать, наконец? Если отвлеченная наука—предмет роскоши, а прикладная—одно средство эксплуатации; если закон—не более, как воплощение не-

справедливости; если медицина—один самообман; если школа обречена на поражение в борьбе с практикою жизни, а искусство, без революционного вдохновения, обречено на пошлость—то что же остается делать!

— Что остаётся?—Всё! всё! Громаднейшая работа лежит пред вами,—работа в высшей степени привлекательная, работа, согласная с вашей совестью и способная увлечь именно лучших людей, самых чистых, самых сильных...

Какая?—Сейчас увидите.

III.

Либо входить в беспрерывные сделки с совестью, пока не скажешь самому себе:—„Погибай человечество! лишь бы мне насладиться прелестями жизни, благо народ, по глупости, еще терпит!“ Либо же стать на сторону социалистов и с ними работать над коренным переустройством старой общественной жизни. Вот логический вывод, к которому неизбежно придет всякий разумный человек, раз начнет он честно размышлять о жизни и с‘умеет отрешиться от увёрток, подсказываемых буржуазным воспитанием и корыстными воззрениями среды.

Но раз мы дошли до такого вывода, неизбежно возникает вопрос: „Что же делать?“

Ответ на него очень прост.

Бросьте среду, в которой принято утверждать, что народ—бессмысленное стадо. Идите к нему, к народу, и ответ явится сам собой.

Вы увидите, что повсюду, во Франции, как в Германии, в Италии, как в Соединенных Штатах,—везде, где существуют угнетённые и угнетатели—среди рабочего класса происходит гигантская работа, направленная на уничтожение

гнёта богатых над бедными, на закладку основ нового общественного строя на началах справедливости и равенства. Народ, в наши дни, не довольствуется созиданием душу-надрывающих песень, какие пелись французскими крепостными прошлого века и поются поныне крестьянами славянскими. С полным сознанием, и преодолевая все препятствия, он работает над своим освобождением.

Везде народная мысль ищет средств пересоздания жизни так, чтобы она не была проклятием для трех-четвертей человечества, а счастьем и радостью для всех. К самым трудным вопросам социологии (науки об обществах) народ приступает со своим здравым смыслом и старается разрешить их, руководясь своим тяжелым опытом и своею наблюдательностью. Чтобы сговориться с другими, такими же несчастными, он старается соединиться, сплотиться. Народ создаёт рабочие общества и поддерживает их своими ничтожными взносами; он работает над созиданием международного братства рабочих и, уже конечно больше всяких краснобаев филантропов приближает этими союзами день, когда война между народами станет невозможною. Желая знать, что̀ делают его братья по труду, желая ближе познакомиться с ними, стремясь выработать и распространить идеи освобождения, он поддерживает—и ценою каких лишений, каких усилий!—свои рабочие газеты. И когда, наконец, час восстания пробивает, он идёт в бой за свободу, проливает свою кровь на баррикадах и борется за высшие идеалы, тогда как богатые и власть имущие в то же самое время стараются поворотить народное движение в свою пользу, и на пролитой народной крови основать свое богатство и власть.

Какой ряд непрерывных усилий! Какая нескончаемая борьба! Какой громадный труд положен в это рабочее движение, где постоянно приходится пополнять ряды, то растроенные избиениями, то разреженные преследованиями и изнеможением, где постоянно приходится начинать работу с'изнова, после того, как её внезапно прервут поголовные избиения.

Рабочие газеты создаются людьми, которым пришлось подбирать свои знания по крохам, крадя время на собственном сне и отдыхе; агитация поддерживается грошами, сбереженными на куске хлеба—и надо всем этим вечно висит угроза безисходной нищеты для семьи, лишь только хозяин заметит, что „его" рабочий занимается социализмом!

Вот что увидите вы, если пойдете в народ.

И, падая под тяжестью неравной борьбы, рабочий тщетно себя спрашивает: „Где же они, эти молодые люди, воспитанные на наш трудовой грош? Где те, кого мы кормили и одевали, пока они учились? Те, для кого, согнувши спину под ярмом, мы строили дома, дворцы, университеты, академии, музеумы? Для кого мы, отощавшие наборщики, печатали хорошие книги, самое чтение которых нам недоступно? Где они, эти профессора, уверяющие, что они обладают общечеловеческой наукой, тогда как для них любой редкостный червячек дороже всего человечества? Где глашатаи свободы, не дающие себе труда защитить нашу ежедневно попираемую свободу? Где же эти писатели, поэты, художники, со слезами на глазах говорящие о народе и никогда не спускающиеся в нашу среду, дабы помочь нам в наших усилиях?"

Одни наслаждаются в презренном равнодушии; другие—большинство—презирают „толпу“ и готовы с остервенением истреблять народ лишь только он осмелится коснуться до их прав и богатства...

Время от времени в народную среду заходит юноша, мечтающий о баррикадах, о революции и об ее торжественных минутах; но и он скоро оставляет народное дело, как только замечает, что путь до баррикад тяжел и долог, что работа предстоит утомительная, и что на пути к лавровым венкам рассеяно не мало терний. Но чаще всего в западной Европе в рабочую среду являются лишь люди, потерпевшие неудачу в попытках пристроиться к другим партиям, и старающиеся на рабочих плечах добиться видного положения, причем они-же первые будут громить этот самый народ, едва он попытается осуществить на деле то, что они проповедовали в теории, а не то и пушки направят на „невежественную подлую толпу“, если она осмелится двинуться раньше, чем они, вожаки, прикажут ей бунтовать.

Прибавьте к этому бессмысленное, высокомерное презрение к народу—и вы получите все, что даёт народу современная буржуазная молодежь, вместо помощи в его общественном развитии.

Какже можно после этого спрашивать: „что делать?“—когда всё предстоит сделать, и целые полчища молодых людей нашли бы приложение своих сил, таланта и энергии, если бы только они захотели помочь народу в начатой им перестройке общественного быта!

Вы, поклонники чистой науки, если только вы прониклись принципами социализма, если вы

постигли всю важность надвигающейся революции, разве вы сами не понимаете, что всю науку следует перестроить, согласно с новыми принципами? что в этой области приходится совершить переворот несравненно более глубокий, чем всё, что сделала революция в науке прошлого столетия? Разве вам не очевидно, что история— это собрание „условных басень“ о величии королей, исторических деятелей и выборных собраний—должна быть написана, вся вновь, в духе народном, с точки зрения того, что народные массы сделали для развития человечества? Разве политическая экономия, построенная с целью оправдать и обосновать наживу народным трудом, не должна быть пересоздана вполне и в своих яко-бы законах, и в их бесчисленных приложениях? Разве антропология, социология, этика—т. е. науки о человеке, об обществах и общественной нравственности—и даже естественные науки не должны подвергнуться полной перестройке, как в их методах истолкования общественных явлений и явлений природы, так и в способах их изложения? Ну, так занимайтесь этим! Отдайте ваши знания на служение благому делу! Помогите нам, наконец, вашей точной логикой разрушать вековые предрассудки, и вашим построительным умом—выработке основ лучшего общественного строя; но в особенности помогите рабочему придать своим рассуждениям смелость, свойственную истинно-научной мысли, и примером вашей собственной жизни научите нас самоотвержению для торжества истины!

Вы, врач, тяжелым опытом понявший социализм, не переставайте говорить нам сегодня, завтра, ежедневно и при всяком удобном случае, что, при современных условиях жизни и труда, человечество обречено на вырождение; что ваши

лекарства останутся бессильными, пока девяносто-девять сотых человечества будут прозябать в условиях совершенно противных требованиям науки; что следует искоренять источники болезней, а не только лечить их, и укажите, каким путём их искоренить. Вооружась скальпелем, анатомируйте твердой рукой это разлагающееся общество и научите нас, чем могла бы и должна бы быть разумная жизнь. Как настоящий врач, повторяйте нам, что нечего задумываться над отсечением члена, зараженного антоновым огнем, когда он начинает заражать весь организм.

Вы, работавшие над приложением науки к промышленности, расскажите нам откровенно плоды ваших открытий; укажите робким, не решающимся смело заглянуть в будущее, на неиссякаемые источники дальнейших изобретений, уже кроющихся в современной науке; покажите, чем могла бы стать промышленность при лучших условиях, и сколько мог бы производить человек, если-бы его силы шли на усиление полезного производства, а не растрачивались попусту. Отдайте народу вашу изобретательность, ваш практический ум и ваши способности сплачивать людей, вместо того чтобы служить хищникам и тунеядцам.

Вы, поэт, художник, скульптор, музыкант, если только вы поняли свое истинное призвание и цели самого искусства, отдайте революции ваше перо, вашу кисть, ваш резец. Расскажите же нам своим образным языком, своими сильными картинами, великую борьбу народов с их угнетателями; вдохновите молодые сердца революционным духом, двигавшим наших предков на борьбу; об'ясните жене, насколько прекрасна деятельность ее мужа, жертвующего собою великому делу общественного освобождения, и двигайте

её на то же дело. Покажите народу язвы современной жизни, и пусть каждый коснётся рукою самых источников этих язв; покажите нам, со всею силою вашего творчества, чем могла бы быть разумная жизнь, если бы она не сталкивалась с нелепостями и мерзостью современного строя.

И, наконец, все вы, обладающие знанием и талантом, если в вас есть искра мужества, идите, вместе с вашими подругами, отдайте свои знания и талант на помощь тем, кто в них всего более нуждается. И знайте,—если вы явитесь в рабочую среду, не господином, а товарищем в борьбе, не заправителем, а с желанием самому вдохновиться новой средой, не столько с целью учить, сколько с целью самому понять стремления народа, угадать и выяснить их, а затем работать неустанно, со всем пылом юности над их проведением в жизнь,—знайте, что тогда, но только тогда, вы заживете полною, разумною жизнью. Вы увидите, что каждое ваше усилие в этом направлении принесёт роскошные плоды;—и тогда чувство согласия и единства ваших поступков с заветами вашей совести вызовут в вас силу, которой вы в себе и не подозревали.

Борьба за правду, за справедливость и равенство, среди народа, за одно с народом—что может быть в жизни прекраснее и выше этого?

IV.

Три длинные главы пришлось исписать, чтобы выяснить молодым людям состоятельных классов, как сама жизнь, с ее насущными задачами, толкает каждого искреннего и смелого человека в ряды социалистов, на служение делу социальной революции. А между тем, истина эта так

проста! Но, когда обращаешься к людям буржуазного воспитания,—сколько предрассудков, сколько корыстных оправданий приходится разбивать!

С вами, молодые из народа, можно быть кратким. Сама сила вещей ведет вас к социализму, лишь бы были у вас смелость мысли и способность действовать согласно с велениями рассудка. Действительно, весь современный социализм вышел из недр самого народа. Если несколько мыслителей из буржуазии дали социализму опору науки и философии, тем не менее его основные воззрения вышли из работы народного ума, из рабочих масс. Социализм Международного Союза Рабочих—этой лучшей силы современной жизни—был выработан не учёными, а самими рабочими союзами, под непосредственным влиянием народной мысли. И те несколько писателей, которые помогли этой выработке, ничего иного не сделали, как только яснее высказали, или научно подтвердили стремления, уже проявлявшиеся в народе.

Родиться в мире труда и не отдаться всей душой социализму,—значило бы не понимать своих собственных выгод, отречься от своего кровного дела, от своего собственного исторического призвания.

Помните ли вы, когда, еще мальчиком, вы выбегали в зимний день поиграть в вашем тёмном переулке? Холод щипал вам плечи сквозь легкую одежду, и уличная грязь врывалась в ваши рваные сапоги. Уже тогда, случайно увидав изнеженных и богато-одетых детей, свысока глядевших на вас, вы отлично понимали, что эти франтики не стóят вас и ваших товарищей ни по способностям, ни по уму, ни по силе. Но скоро вас заперли в грязную мастерскую, и с пяти ча-

сов утра вам привелось стоять, по двенадцати часов в сутки, около шумливой машины и, самому обратясь в машину, изо дня в день следить за ее ровным движением; а в это время, они,—те другие дети,—спокойно учились в школах, в гимназиях, в университетах. И вот теперь они,—менее вас способные, но более образованные—становятся вашими начальниками, вашими хозяевами, и будут наслаждаться всеми удовольствиями жизни и благами цивилизации... а вы? что̀ ждет вас впереди?

Вернувшись с работы, вы входите в крошечную, сырую коморку, где пять-шесть человек жмутся в темноте; и ваша усталая от жизни, до времени состаревшая мать даёт вам на обед хлеба с картошкой, да еще какую нибудь болтушку, насмех называемую щами. И вместо отдыха и развлечений, вам приходится ломать голову над вечным неразрешимым вопросом: чем платить завтра за квартиру? на что купить того же хлеба да картошек? Неужели же и вам вечно влачить ту самую жалкую жизнь, что досталась на долю вашему отцу и матери, с ребячих лет и до могилы? Всю жизнь работать на кого-то, чтобы ему доставить всяких удовольствий, богатства, знаний, наслаждения искусством, а на свою долю—взять вечную заботу о куске черного хлеба? Отказаться навсегда от того, чем жизнь красна, и предоставить все, что в жизни есть лучшего, какой-то горсточке, не то праздных, не то ловких проныр? Надрываться над работой и знать только нужду, а не то и голод во время безработицы? Это, что-ли, цель вашей жизни?

В былые времена, вы верили, когда вам говорили, что так оно и быть должно, что так всегда было, и всегда будет. Но ведь нынче вы этому не верите. Вы понимаете, что все, чем бо-

гатые наслаждаются—их дома, мебель, еда, роскошная обстановка и всё остальное—никем иным не сделаны, как вашими же крестьянскими да рабочими руками... За что-же им все, а вам—сухая корка хлеба?

Но, быть может, вы смиритесь перед судьбою. Не видя исхода, вы скажите себе:—„Из века в век людям выпадал тот же жребий на долю; и мне, беспомощному, приходится подчиниться! Так буду же работать и постараюсь прожить, худо-ли, хорошо-ли, как смогу.

Пусть так. Но тут уже сама жизнь откроет вам глаза.

В один прекрасный день разразится промышленный кризис, — застой промышленности — не скоро преходящий, как прежде, а застой, убивающий целые отрасли промышленности и ввергающий в нищету тысячи семей за раз. Вместе с другими, вы будете терпеть. Но скоро вы заметите, что ваша жена и дети, ваши друзья, мало по малу изнемогают от лишений, и наконец гибнут, в то время как жизнь, не заботясь о гибнущих, течет веселой волной по шумным улицам большого города. Тогда вы поймёте, как возмутительно это общество. Вы спросите также, откуда берутся эти торговые кризисы; вы вдумаетесь во всю глубину безобразия этого строя, отдающего тысячи человеческих существ в жертву своеволию, жадности и неумелости небольшой кучки заправил. Вы поймёте тогда, что социалисты правы, когда говорят, что современное общество *должно и может быть* пересоздано сверху до низу.

А не то, ваш хозяин вздумает урезать несколько грошей из вашего скудного заработка, чтобы округлить свой капиталец. И когда вы

заспорите, он вам грубо ответит: „Убирайся на подножный корм, если тебе этого мало“. И вы поймете, что ваш хозяин не только стрижет вас как оцу, но что вы для него низшая порода, отребье человечества; ему мало держать вас в своих когтях, он и смотрит-то на вас, как на своего холопа. В таком случае,—либо вы согнете спину, откажетесь от всякого чувства человеческого достоинства и примиритесь со всяким унижением; или же кровь вам бросится в голову, вам стыдно станет своей прежней безответности, и вы дадите такой ответ, что либо попадёте в тюрьму, либо вышвырнут вас из мастерской, или фабрики. Тогда вы скажете, что правы социалисты, когда говорят: „Восставайте! восставайте против денежного рабства, так как в нем источник всего остального порабощения“. Тогда вы займете ваше место среди социалистов и станете работать вместе с ними над уничтожением всякого рабства,—экономического, политического и общественного.

А то услышите вы историю девушки, некогда вами любимой. После многолетней бесплодной борьбы с нищетою, она бросила деревню и отправилась в город. Она знала, что в городе жизнь тяжелая, но все же она надеялась честно зарабатывать свой хлеб. Теперь вы знаете ее участь. Обольщенная ухаживаньем и красивыми словами молодого буржуа, она отдалась ему с пылом молодости и через год была покинута с ребенком. Полная мужества, она еще продолжала бороться; но силы ее не выдержали неравной борьбы с голодом, и она умерла в одном из госпиталей... Что вы сделаете тогда? Или вы постараетесь отделаться от бередящих воспоминанаiі какою нибудь пошлостью, вроде того что не она первая, не она и последняя, и, быть может, вы дой-

дете до того, что станете оскорблять память несчастной женщины в кругу оскотинившихся товарищей по кабаку. Или же—воспоминания о ней заставят содрогнуться ваше наболевшее сердце, и вы станете искать встречи с тем, кто её погубил... Тогда вы вероятно задумаетесь над причинами подобных явлений, повторяющихся ежедневно, и вы поймете, что они не прекратятся, покуда общество останется разделенным на два лагеря: несчастные в одном, а в другом—праздные негодяи. Вы увидите, что настало время бедным сбросить ярмо, и вы будете в рядах социалистов-бунтовщиков.

А вы, женщины из народа, разве вы можете оставаться равнодушными, слушая эту историю? Лаская русую головку своего ребенка, не задумаетесь-ли вы тоже когда нибудь над тем, что̀ его ждет, если современный общественный строй останется все тот-же? Неужели и вашим сыновьям влачить всё то же жалкое прозябание? Неужели и им вечно биться в заботе о куске хлеба, вечно изнурять себя непосильным трудом, не знать в жизни никакой радости и топить свое горе в пьяном разгуле? Неужели вашему мужу и сыновьям так и остаться навсегда в зависимости от любого проходимца, получившего в наследство от отца капитал,—вечно быть рабами своих хозяев, пушечным мясом для сильных мира сего, простым удобрением для полей богатых?

— Нет! Конечно, нет! Сколько раз жены рабочих заставляли своих мужей и сыновей продолжать стачку, когда мужчины уже готовы были смириться и принять унизительные условия, надменно навязанные им толстым хозяином! Сколько раз испанские женщины шли первые в рядах

народных восстаний и первые бросались вперед на солдатские штыки! И доселе рабочие женщины западной Европы и Америки с благоговением повторяют имя девушки, которая стреляла во всемогущего тогда Трепова, нанесшего оскорбление в стенах тюрьмы заключенному социалисту. И горячо бьётся сердце всякой честной женщины, когда она читает, как парижские работницы собирались под градом ядер и бомб и двигали своих мужей на геройскую защиту Парижской Коммуны...

Всякий честный человек из вас, молодёжи, из крестьян и городских рабочих, из учёных и неучёных, из бедных и богатых,—если только в нем бьётся горячее и чуткое сердце,—должен понять, как попираются теперь права человечества, должен сознать свои права, и перейти туда, куда его толкает весь современный строй. Он вынужден стать революционером и, сообща с народом, работать для подготовления революции, которая, разбив цепи рабства, порвав обычаи старины и открывая человечеству новые горизонты, установит, наконец, в человеческих обществах истинное равенство, действительную свободу, труд для всех и для всех—полное развитие их способностей, полное наслаждение плодами свободного труда; установит жизнь разумную, человеческую и счастливую!

И пусть не говорят нам, что нас мало, что нас—лишь горсточка людей, слишком слабая, чтобы достигнуть намеченной нами цели.

Сосчитаем наши ряды, посмотрим сколько нас терпит этот гнет. Крестьян, нас целые миллионы; почти весь русский народ живёт по селам и деревням, кормится впроголодь и работает на гос-

под; фабричных и заводских—многие сотни тысяч, и все-то прядут и ткут, куют и работают на богачей, а сами ходят чуть не в лохмотьях; солдат, опять, целые сотни тысяч, и гонят их под пули и картечь, когда господам офицерам хочется добывать себе чины и ордена, и учат их стрелять в своих-же братьев и сестёр, отцов и матерей, когда они бунтуются против богачей-грабителей; а между тем, повернуть бы им штыки на своих командиров, и эта горсточка баричей в эполетах разбежалась-бы от страха. Посчитаем, сколько нас всех, униженных и оскорбленных; нам нет числа, и мы можем раздавить своих утеснителей одним натиском. Пусть только народ поймет свою силу, пусть попробует её—и правда возьмет верх на земле.

VII.

ВОЙНА [1]).

Европа представляет в настоящую минуту печальное, но поучительное зрелище. С одной стороны мы видим усиленное движение дипломатов и маклеров по торговле народами, усиливающееся каждый раз, как только на старом континенте запахнет порохом. Создаются и разрушаются союзы; целыми областями и их населениями торгуют как скотом: их продают, чтобы обеспечить себе союзников.—„Наш торговый дом гарантирует вашему столько-то голов человеческого стада, столько-то десятин лугов, чтобы их пасти, такие то порты для вывоза их шерсти!"—и все в этом торге стараются наперерыв обойти друг друга. На политическом, воровском языке, это называется дипломатией.

С другой стороны мы видим бесконечные вооружения. Каждый день приносит нам новые изобретения, ради более успешного истребления наших ближних, новые расходы, новые займы, новые налоги. Издавать патриотические возгласы, об'являть себя воинствующим патриотом, раздувать ненависть между народами—становится ныне самым выгодным ремеслом, и в политике, и в газетном деле. При этом не щадят даже детей: мальчуганов собирают в казармы и воспитывают в них ненависть к пруссаку, к англичанину, к итальянцу; их приучают слепо повино-

[1]) Писано в 1883-м году, но верно и теперь, в 1905-м.

ваться правителям настоящей минуты, будь они синие, белые или черные—все равно. А когда этим детям минет двадцать один год, их нагружают, как вьючных скотов, пулями, провизией, оружием, лопатами, хозяйственными принадлежностями и всякой всячиной, дают в руки ружье, велят маршировать под трубные звуки и учат душить друг друга направо и налево, никогда не справляясь о том, зачем и для какой цели это нужно? „Кто бы ни стоял перед вами: немецкие или итальянские бедняки, или даже ваши собственные братья, восставшие из-за куска хлеба,—все равно: как только раздастся сигнал, убивайте без разбора!"

Вот к чему приводит вся мудрость наших правителей и воспитателей! Вот все, что они с'умели дать нам, как идеал и это—в то время, когда бедняки всех стран уже протягивают друг другу руки поверх государственных границ!

„Вы не захотели социализма? Ну, так будет у вас война, семилетняя, тридцатилетняя!" говорил Герцен после 1848 года. И она пришла. И если сейчас пушки на минуту замолкли, то только для того чтобы солдатам дать перевести дух, накануне новых разгромов на новых местах. Вот уже десять лет как нам угрожает всеобщая европейская война, всеобщая свалка народов, хотя мы и не знаем, из-за чего именно будем мы драться, на чьей стороне, против кого, во имя каких принципов и кому на пользу?

Когда в прежние времена происходили войны, люди, по крайней мере, знали за что они жертвовали собою.—„Такой-то король оскорбил нашего:—идем, стало быть истреблять его подданных!" —„Такой-то император хочет отнять у нашего такие то земли. Умрем, братцы, чтобы сохранить их за Его Христианским Величеством!" Люди сража-

лись из-за соперничества королей. Это было глупо, а потому короли и не могли набрать для этой цели больше нескольких тысяч человек. Но из-за чего теперь целые народы набрасываются друг на друга?

Монархи уже не имеют большого значения в вопросах войны. Королева Виктория, если и обижается за оскорбления, которые ей наносят во Франции, то англичане с места не двинутся, чтобы отомстить за нее. А между тем, можете ли вы поручиться, что через два года Франция и Англия не передерутся из-за господства в Египте? То же самое происходит и на Востоке. Каким бы властолюбивым и злым деспотом он ни был, каким бы великим человеком он себя ни воображал, Александр III, император всероссийский, претерпит со стороны Андраши и Сольсбери всевозможные оскорбления и не двинется из своей гатчинской берлоги, пока петербургские финансисты и московские фабриканты—теперь именно они называют себя „патриотами“—не велят ему двинуть свои войска.

Происходит же это от того, что в России, как и в Англии, Германии и Франции, дерутся уже не из-за каприза королей, а ради сохранения барышей и умножения богатств каких-нибудь всемогущих Ротшильдов или Шнейдеров, или же Морозовской компании, или ради откармливания финансовых и промышленных тузов международного денежного рынка. Соперничество королей уступило теперь место соперничеству между буржуазными обществами.

***

Правда, в Европе все еще говорят о „политическом преобладании“. Но переведите это отвлеченное понятие на язык вещественных фактов,

посмотрите, в чем, например, выражается в настоящую минуту политическое преобладание Германии, и вы увидите, что дело идет здесь просто об *экономическом преобладании* на международных рынках. Цель стремлений Германии, Франции, России, Англии, Австрии есть теперь совершенно не военное господство, а господство экономическое. Это — право навязывать соседям свои товары, свои ввозные пошлины; право эксплуатировать народы с отсталой промышленностью; исключительное право строить железные дороги в странах, где их нет, и приобретать, таким образом господство на тамошнем рынке; наконец, возможность отнимать от времени до времени у соседа, то какой-нибудь порт для „оживления“ своей торговли, то какую-нибудь область для „сбыта излишка своих товаров“.

Когда в настоящее время происходит война, то мы деремся за то, чтобы доставить нашим крупным промышленникам 50 процентов дохода, чтобы обеспечить финансовым баронам господство на бирже, чтобы прикинуть акционерам угольных копей и железных дорог крупный, миллионный доходец. Так что, если бы мы были сколько нибудь последовательны, мы заменили бы хищных птиц, посаженных на наши знамена, золотым тельцом, всяких Георгиев-победоносцев,—мешком золота, а названия полков, которые прежде давались по всяким высочествам, мы заменили бы именем царей промышленности и финансов: „Третий полк Полякова, десятый Морозовский, двадцатый Ротшильда“. Тогда, по крайней мере, знали бы, ради кого убивают.

***

Открыть новые рынки, навязать свои, хорошие или худые товары—таково основание всей

современной политики. Такова настоящая причина войн нашего века.

Англия была первою страною, заведшею в восемнадцатом веке крупную промышленность ради вывоза. Она обезземелила крестьян, довела их до нищеты, собрала своих неимущих в города, приставила их к усовершенствованным машинам, увеличила в сто раз производство и завалила свои склады горами продуктов. Но эти товары не предназначались для фабриковавших их рабочих. Что, в самом деле, могли покупать, те, которые ткали шерстяные и бумажные ткани, когда их заработка едва хватало на то, чтобы кое-как прокормиться и выкормить детей? И вот английские корабли начали бороздить океаны, ища покупателей на европейском материке, в Азии, в Океании, в Америке, в полной уверенности, что нигде они не встретят себе соперников. Нужда, самая ужасная нужда, царила в английских городах; но фабриканты и торговцы обогащались не по дням, а по часам: привозимые из заграницы богатства скоплялись в руках кучки людей, а политико-экономы других европейских государств восторгались этому и приглашали своих соотечественников следовать по той же дорожке.

Но уже в конце прошлого века Франция вступила на путь того же развития, и точно также начала организовываться для производства в крупных размерах, ради вывоза. Еще до революции, Франция уже становилась страною развитого фабричного производства (по тому времени) и богатой мировой торговли. Революция, передавши власть в руки буржуазии и обогативши буржуазию, готова была дать новый толчек в этом же направлении. Тогда английские буржуа заволновались. Они взволновались гораздо больше

этим движением во Франции, чем ее республиканскими заявлениями и кровопролитием в Париже, и при поддержке аристократии всей Европы, Англия об'явила войну на смерть французской буржуазии, грозившей закрыть европейские рынки для английских продуктов. В продолжении многих лет—мы узнаем это теперь—Англия держала на жалованьи Пруссию, Австрию и Россию, чтобы воевать против Франции.

Исход этих войн известен. Франция была побеждена, но завоевала себе место на рынке, и обе буржуазии, английская и французская, даже составили одно время трогательный союз, признавши друг друга сестрами.

Но Франция скоро зашла слишком далеко. Производя все больше и больше для вывоза, она стала стремиться захватить себе рынки, не принимая во внимание промышленного прогресса, постепенно распространявшегося от Запада к Востоку и охватывавшего все новые страны. Французская буржуазия стала стараться расширить все более и более круг своей эксплуатации. В течение восемнадцати лет она терпела иго Наполеона третьего, все надеясь, что узурпатор сумеет навязать всей Европе экономическое господство Франции, и она стала отворачиваться от него только тогда когда заметила, что он к этому неспособен.

В самом деле, новая нация, Германия, стала вводить у себя тот же самый экономический порядок. Она точно также начала опустошать деревни и скучивать бедноту в городах. Она точно также начала производить в крупных размерах. А так как достаточно трех или четырех миллионов фабричных (считая в том числе женщин и детей), чтобы произвести несравненно больше товара, чем сколько могут купить доведенные до

нищеты крестьяне и рабочая беднота самой страны, то и немецкой буржуазии скоро потребовались внешние рынки. Обширная промышленность, вооруженная усовершенствованными машинами и поддерживаемая широко-распространенным техническим и научным образованием, накопляет горы продуктов, предназначенных не для тех, кто их производит, а для вывоза, для обогащения господствующего класса. Капиталы накопляются и ищут выгодного помещения в Азии, Африке, Турции, России; так что берлинская биржа соперничает с парижской и лондонской и стремится взять над ними верх.

Тогда, среди немецкой буржуазии стал раздаваться единогласный крик: „Об‘единимся, все равно под каким знаменем, хотя бы даже под прусским, и воспользуемся приобретенной силой для того, чтобы навязать соседям свои продукты и свои тарифы, чтобы завладеть лучшими портами на Балтийском, а, если можно, то и на Адриатическом море, в Средиземном, в Азии, в Африке! Надо сломить военную силу Франции, грозившей двадцать лет тому назад подчинить всю Европу своему экономическому господству, и заставить ее подчиниться торговым договорам в интересе Германии“.

Последствием этого была война 1870 года. Франция не господствует больше на рынках: к обладанию ими стремится теперь Германия, в соперничестве с Англией. В свою очередь немцы стараются теперь, из жадности к барышам, расширить свою эксплуатацию, распространить ее на весь мир, не обращая внимания на биржевые „крахи“, на необеспеченность и на бедность, подкапывающиеся под ее экономическое здание. Африканские берега, китайские нивы, польские равнины, русские степи, венгерские „пушты“, ро-

зовые долины Болгарии—все возбуждает жадность немецкого буржуа. Все ему нужно. И всякий раз, когда немецкий торговец проезжает по этим едва обработанным равнинам, через эти города, еще стоящие на степени мелкой промышленности, через эти безмолвные реки, его сердце обливается кровью. Воображение рисует ему, как хорошо с'умел бы *он* извлечь из этих неразработанных богатств мешки золота, как ловко смял бы он этих людей под иго своего капитала. И вот он клянется принести когда-нибудь на восток „цивилизацию", т. е. эксплуатацию; а пока, старается навязать свои товары и железные дороги Италии, Австрии и России.

Но и эти последние страны тоже освобождаются, в свою очередь, от экономической опеки соседей. Они точно также входят мало-по-малу в круг „промышленных" стран, и их молодые буржуазии в свою очередь жаждут обогащения при помощи вывоза. В несколько лет Россия и Италия сделали гигантский скачек в расширении своей промышленности, а так как доведенный до крайней нищеты крестьянин не может ничего покупать, то русские, итальянские и австрийские фабриканты точно также пытаются расширить свой вывоз. Для этого им нужны рынки, а так как европейские рынки уже заняты, то они принуждены обратиться к Азии или Африке, где им неминуемо грозит, рано или поздно, война из-за дележа кусков добычи. Италия стремится овладеть Абиссинией, Россия—Манджурией и Монголией, все в интересах своих капиталистов и фабрикантов, и много еще войн можно предвидеть, раньше чем якобы „цивилизованные" страны поделят между собою всю Азию и Африку.

* * *

Какие же союзы могут удержаться при таком положении дел, зависящем от самого характера, который придают промышленности люди ею управляющие? Союз Германии с Россией есть чисто дело приличия [1]). Александр и Вильгельм могут обниматься сколько угодно, но нарождающаяся русская буржуазия от души ненавидит буржуазию немецкую, которая платит ей тою же монетой. Всем еще памятен шум, поднятый в немецкой прессе, когда русское правительство повысило на одну треть ввозные пошлины.—„Война против России“, говорили тогда немецкие буржуа и те из рабочих которые за ними следуют, была бы у нас еще более популярна, чем война 1870 года!“

А знаменитый союз Германии с Австрией? Как будто бы он точно также не построен на песке, и как будто бы эти две державы, т. е. эти две буржуазии, так уж далеки от серьезной распри из-за ввозных пошлин? А державы-близнецы Австрия и Венгрия?

Разве они тоже не готовы об‘явить друг другу таможенную войну, потому что их интересы относительно эксплуатации южных славян оказываются диаметрально противоположными? А сама Франция, не разделена ли она точно также на север и юг, по вопросу о тарифах?

Да, вы не хотели социализма—и вы будете иметь войну! И вы будете иметь ее в течение целых тридцати лет, если только Революция не положит своим взрывом конец этому нелепому и

---

[1]) В ту пору (1883) не смотря на обнимание царей, буржуазная Германия готовилась уже к большой войне против России, для чего была составлена Англией коалиция из Германии, Австрии, Италии, Швеции и Румынии. Франко-русский союз был ответом на эту коалицию. Он помешал тогда всеобщей войне.

безобразному положению вещей. Все пресловутые средства, как третейский суд, поддержание равновесия, уничтожение (на бумаге) постоянных армий, „разоружение“ и т. п.,—все это не более как прекрасные мечты, лишенные всякого практического значения. Только одна Революция, которая передаст землю, орудия, машины, сырые продукты и все общественное богатство в руки производителей, и организует производство так, чтобы потребности тех, кто производит все, были удовлетворены,—только она одна сможет положить конец войнам из-за рынков.

Каждый должен работать для всех, и все для каждого—таково единственное условие водворения между народами того мира, которого все они громко требуют, но осуществлению которого мешают те, кто захватил в свои руки все общественное богатство.

VIII.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ МЕНЬШИНСТВО.

„Все, что вы говорите, совершенно справедливо“, часто отвечают нам наши противники. „Ваш идеал анархического коммунизма прекрасен, и его осуществление действительно водворило бы счастье и мир на земле. Но, как мало стремящихся к нему людей! Как мало людей, его понимающих, как мало таких, у которых хватит преданности делу, чтобы работать для его достижения! Вы—не более, как незначительное меньшинство: рассеянные там и сям слабые группы, теряющиеся среди бесчувственной массы; перед вами же—враг сильный, хорошо организованный, обладающий армиями, капиталами, образованием. Вы предприняли борьбу не по силам“.

Мы постоянно слышим это возражение от некоторых противников, а часто даже и от друзей. Посмотрим же насколько оно справедливо.

Что наши анархические группы—не более как ничтожное меньшинство по сравнению с десятками миллионов, населяющими Францию, Испанию, Италию и Германию, это совершенно верно. Группы, представляющие какую-нибудь новую идею, всегда вначале были в меньшинстве; и очень вероятно, что как сплоченные группы, мы так и останемся небольшим меньшинством, до самого момента революции. Но разве это может служить доводом против нас? В настоящую минуту большинство составляют

оппортюнисты, т. е. смиренные постепеновцы, — неужели же мы тоже должны сделаться оппортюнистами? До 1790 года, во Франции большинство составляли сторонники королевской власти, или же конституционалисты. Следует ли из этого, что республиканцы того времени должны были отказаться от своих республиканских идей и стать роялистами, в то самое время, как Франция шла быстрыми шагами к уничтожению королевской власти?

Что численно мы составляем меньшинство,— это не важно. Вопрос вовсе не в том! Вопрос в том, согласны ли идеи анархического коммунизма, которые мы проповедуем, с той эволюцией, с тем развитием, которое происходит в настоящее время в умах людей, особенно у народов латинской расы? Но в этом сомнения быть не может. Развитие умов происходит *не* в направлении усиления государственной власти, а в сторону наиболее полной свободы личности, свободы производящей и потребляющей группы, вольной общины, свободной федерации. Развитие идет не в направлении личной, обособленной частной собственности, а в направлении производства и потребления сообща. В больших городах, коммунизма— и именно, коммунизма анархического—уже никто из мыслящих рабочих не боится. Тоже начинается и в деревнях. И за исключением некоторых местностей Франции, поставленных в особые условия, крестьянин уже во многих отношениях, идет по пути обращения орудий труда в общую собственность. Вот почему, всякий раз когда мы излагаем свои идеи перед массами, всякий раз когда мы, простым и понятным языком, опираясь на житейские примеры, говорим им о том, что мы понимаем под революцией, нас встречают с сочувствием, как в крупных промышленных центрах, так и в деревнях.

Совершенно тоже самое можем мы сказать об Испании, а также об Италии и, в значительной мере, о Германии и Австрии—там, где не втолковали рабочим совершенно ложных представлений об анархизме, нас понимают и нам сочувствуют. Тоже будет и в России, когда речь коммуниста анархиста начнет раздаваться среди крестьян и городских рабочих.

Да и может ли быть иначе? Если бы анархия и коммунизм были продуктом философских умозрений, созданных учеными в тиши кабинета, они, конечно, не нашли бы себе отклика. Но эти идеи зародились в самых недрах народа. Они выражают собою то, что думает и говорит рабочий и крестьянин, как только, выйдя из ежедневной жизни, начинает задумываться о лучшем будущем. Они служат выражением всего медленного развития, происшедшего в умах в течение девятнадцатого века. Они выражают народное понятие о той перемене, которая произойдет в ближайшем будущем и принесет в наши города и деревни справедливость, равенство и братство. Они зародились в народе—народ приветствует их каждый раз, когда они излагаются ему в понятном виде.

В этом именно настоящая сила анархизма, а совсем не в числе деятельных, сгруппированных и сплоченных сторонников,— достаточно смелых чтобы решиться на борьбу и рискнуть всеми последствиями, ожидающими тех, кто работает для народной революции. Число этих людей, конечно, растет с каждым днем, и будет расти; но лишь накануне самого восстания сделаются они большинством, из того меньшинства, которое представляют теперь.

* * *

История показывает нам, что те, кто накануне революции были в меньшинстве, становятся в день революции господствующей силой, если только они являются настоящими выразителями народных стремлений, и если (это—второе необходимое условие) революция продолжается достаточно долго, чтобы революционная идея могла распространиться, взойти и принести свои плоды. В самом деле, не нужно забывать, что не бунту, продолжающемуся день или два, преобразовать общество в направлении анархического коммунизма: кратковременное восстание может только свергнуть одно правительство и поставить на его место другое. Оно может заменить буржуазного императора Наполеона буржуазным республиканцем Жюль Фавром, но оно не вносит никаких изменений в основные учреждения общества. Чтобы произвести нашу революцию в формах собственности и общественной жизни, нам нужно будет пройти через целый революционный период, в три четыре года, или более. Если для того, чтобы уничтожить во Франции феодальный поземельный строй и разбить могущество королевской власти, понадобилось пять лет непрерывного восстания, от 1788 до 1793 года, то для того чтобы уничтожить феодализм буржуазии и всемогущество капиталистов понадобится по крайней мере столько же, если не больше лет.

И вот, именно в такой-то период общего возбуждения, когда ум работает с ускоренной быстротой, когда все, и в пышном городе и в темной крестьянской избе, интересуются общественными делами, спорят, говорят, стараются убедить друг-друга,—именно тогда анархическая идея, посеянная уже теперь, сможет взойти, принести плоды и уясниться для большинства умов. Тогда

люди, теперь индифферентные, сделаются убежденными сторонниками новой идеи.

Таков всегда был ход развития, и великая французская революция может служить этому примером.

* * *

Конечно, эта революция не произвела таких глубоких перемен, как та, о которой мы мечтаем. Она ограничилась тем, что свергла аристократию и поставила на ее место буржуазию. Она не коснулась частной собственности, а наоборот даже усилила ее: именно эта революция открыла царство буржуазной эксплоатации. Но она достигла громадных результатов, окончательно отменив крепостное право и его нравы,—и отменив его силою, на деле, что несравненно действительнее отмены, которая была бы сделана посредством законов, которые так легко обойти, или ограничить. Она открыла эру революций, которые с тех пор следуют одна за другой, постепенно приближаясь к революции социальной. Она дала французскому народу тот революционный толчок, без которого народы могут целые столетия прозябать под самым отвратительным игом. Она завещала миру целое идейное течение, богатое последствиями для будущего; она пробудила дух противодействия власти; она дала французскому народу революционное воспитание. Если во Франции в 1871 году была коммуна, если французский рабочий теперь охотно воспринимает идею анархического коммунизма, в то время как другие народы, подобно Германии, еще находятся в периоде государственности, или конституционализма пережитого Францией раньше 1848 года (именно в таком положении находится теперь Германия), или даже самодержавия, (в котором

находится еще Россия), то это потому что в конце прошлого века Франция пережила четыре года великой революции.

А вспомним, какое печальное зрелище представляла Франция за несколько лет до этой революции и какое ничтожное меньшинство составляли люди, мечтавшие об уничтожении королевской власти и феодального строя!

Крестьянин находился тогда в такой нищете и в таком невежестве, о котором мы теперь даже с трудом можем составить себе понятие. Затерянные по деревням, не имея правильного сообщения, не зная, что делается на расстоянии ста верст, согнувшиеся над сохою, запертые в зачумленных лачугах, они казались осужденными на вечное рабство. Соглашение между ними было невозможно, а при малейшей попытке к восстанию являлось войско, рубило восставших и вешало зачинщиков около колодца, на виселице „в две с половиною сажени высоты“, как говорилось тогда в донесениях. Едва кое-где, изредка, какие-то неизвестные люди проходили по деревням, возбуждая ненависть к угнетателям и пробуждая надежду в тех редких людях, которые решались их слушать. У начальства крестьянин едва-едва осмеливался просить хлеба, да хоть небольшого облегчения податей. Стоит только просмотреть деревенские наказы своим выборным, данные ими в 1789 году при первых выборах в Палату, чтобы в этом убедиться.

Что касается буржуазии, то ее отличительной чертой тогда была в особенности трусость. Отдельные, очень редкие, личности решались иногда нападать на правительство и возбуждали каким-нибудь смелым поступком дух сопротивления. Но большинство буржуазии смиренно склонялось перед королем и его двором, перед губернатором и

даже перед дворянином и слугой дворянина. Стоит только прочесть акты городских дум того времени, чтобы увидеть, как позорно низок был язык буржуазии раньше 1789 года. В ее словах сквозит самая подлая трусость—что бы ни говорили Луи Блан и другие ее почитатели. Немногие революционеры того времени—маленькая горсточка—смотрели на окружающее с глубоким отчаянием, и например смелый Камиль Демулен был совершенно прав, когда произнес знаменитую фразу: „До 1789 года нас, республиканцев, было в Париже самое большое с дюжину“.

А какую перемену мы видим три или четыре года спустя! Как только королевская власть оказалась мало-мальски ослабленной в силу разных обстоятельств, народ сейчас же начал волноваться. Весь 1788 год наполнен мелкими, частичными крестьянскими бунтами. Как в наше время вспыхивают мелкие местные стачки, так и бунты вспыхивали то там то сям в некоторых частях Франции. Но мало-по-малу бунты расширяются, становятся более общими, более решительными, и победа над ними делается все труднее.

За два года перед тем, крестьяне едва решались требовать некоторого уменьшения платежей (как теперь городские рабочие требуют повышения заработной платы). Теперь же, в 1789 году, крестьянин идет уже дальше. Зарождается некоторая общая идея, а именно желание стряхнуть с себя окончательно ярмо дворянина, попа и собственника-буржуа... Как только крестьянин заметил, что правительство бессильно сопротивляться бунтам, он стал восставать против своих врагов. Несколько решительных людей уже поджигают первые замки; большинство же, пока еще забитое и боязливое, ждет, пока зарево пожаров широко разгорится, чтобы повесить сборщика по-

датей на одной из тех самых виселиц, на которых гибли когда-то первые буревестники.

Прежде, войско скоро являлось на бунт, теперь же (в 1789 году) оно занято в стольких местах зараз, что не приходит подавлять восстание—и восстание распространяется от одной деревни к другой, и скоро охватывает целую половину Франции.

В то время, когда будущие революционеры из буржуазии еще падают на колени перед королем; в то время, как видные деятели будущей революции пытаются еще погасить восстание крохотными уступками,—деревни и города восстают, задолго до собрания Генеральных Штатов и до речей Мирабо. Сотни бунтов (Тэн насчитывает их триста) вспыхивают в деревнях, прежде чем парижане, вооруженные пиками и несколькими жалкими пушками, нападают на Бастилию, 14-го июля 1789 года.

С этих пор, совладать с революцией становится невозможным. Если бы она вспыхнула только в Париже, если бы она была только парламентской революцией, она была бы потоплена в крови, и контр-революционные банды ходили бы с белыми знаменами из деревни в деревню, из города в город, убивая крестьян и „патриотов“ (так тогда называли себя все стоявшие за конституцию и освобождение народа). Но, к счастью, революция с самого начала приняла иной характер. Она быстро распространилась на сотни деревень, в каждой деревне, в каждом местечке, в каждом городе восставших провинций, революционное меньшинство, сильное своей смелостью, а также молчаливою поддержкою, которую оно встречало в стремлениях народа, шло брать приступом замок помещика, городскую ратушу, или Бастилию, терроризировало аристокра-

тию и высшую буржуазию, уничтожало привилегии. Меньшинство начинало революцию и увлекало за собою остальную массу. Все революции делаются меньшинством.

Так же будет и с тою революцией, приближение которой мы предвидим. Идея анархического коммунизма, поддерживаемая теперь лишь незначительным меньшинством, но все более и более уясняющаяся в народном сознании, пробьет себе дорогу. Разбросанные повсюду группы, хотя бы и малочисленные, но сильные той поддержкой, которую они встретят в народе, поднимут красное знамя восстания. Вспыхнув одновременно в тысяче мест, оно помешает установлению какого бы то ни было правительства, которое могло бы задержать события, и революция будет продолжаться до тех пор, пока не исполнит своего назначения: т. е. не уничтожит собственность и Государство.

IX.

ПОРЯДОК.

Нам часто ставят в упрек, что мы приняли, как знамя, такое страшное слово, как *анархия*.— „Ваши идеи прекрасны“, говорят нам, „но признайтесь, что название вашей партии выбрано очень неудачно. В обыденной речи, „анархия“ означает беспорядок, хаос; это слово вызывает в уме представление о столкновении интересов, о борьбе личностей, о невозможности установить какую бы то ни было гармонию“.

Заметим, во-первых, что всякая партия действия,—партия, представляющая какое-нибудь новое направление, редко имеет возможность выбирать свое название. Не „Гезы“ Брабанта („Нищие“, „Оборванцы“) изобрели свое название, прогремевшее впоследствии в истории. Оно было сначала прозвищем — и оказалось прозвищем удачным. Когда оно было поддержано партией, оно стало общепринятым и скоро сделалось ее славным именем. Нужно, при этом, признать, что в самом прозвище заключалась целая идея.

А „сан-кюлоты“, „бесштанные“ 1793 года? Это название было пущено в ход врагами народной революции; но разве оно не заключало в себе целой идеи,—идеи восстания народа, оборванного, оголтелого, против всех этих, хорошо одетых и вылощенных роялистов, яко-бы патриотов и буржуазных жирондистов, которые, несмотря на фимиам, который курят перед их ста-

туями буржуазные историки, были всетаки врагами народа, потому что глубоко презирали его за его бедность, за его стремление к равенству, за его революционный пыл.

Тоже было и со словом „нигилисты“, которое так интриговало когда-то журналистов и столько раз давало повод к удачной и неудачной игре слов, пока наконец, не поняли, что речь идет не о какой-то странной, чуть не религиозной секте, а о настоящей революционной силе. Пущенное в обращение Тургеневым в романе „Отцы и Дети“, оно было подхвачено „отцами“, которые этим прозвищем мстили „детям“ за неповиновение. Дети его приняли; а когда впоследствии они заметили, что оно дает повод к недоразумениям и захотели от него отказаться, это уже было невозможно. Ни пресса, ни публика не хотели обозначать русских революционеров иначе, как этим именем. Оно, впрочем, выбрано вовсе недурно, потому что заключает в себе некоторую идею: оно выражает отрицание всей совокупности явлений современной цивилизации, опирающейся на угнетение одного класса другим; отрицание современного экономического строя, правительства и власти, буржуазной политики, рутинной науки, буржуазной нравственности, искусства, служащего эксплуататорам, смешных или отвратительных своим лицемерием привычек и обычаев, завещанных современному обществу прошедшими веками—словом, отрицание всего того, что буржуазная цивилизация окружает теперь почетом.

* * *

Также было и с анархистами. Когда в Интернационале зародилась партия, отрицавшая власть в Международном Союзе и восстававшая против власти во всех ее формах, эта партия сначала

приняла название *федералистов*, затем *противогосударственников* и *противников власти* (antiautoritaires). Слова *ан-архия* (как писали в то время) слишком сближало по внешности эту партию с последователями Прудона, против которых Интернационал в то время боролся, находя их планы экономических реформ недостаточными. Но именно потому, именно для установления смешения, враги старались употреблять это название; кроме того оно давало им возможность говорить, что самое название анархистов показывает, что вся их цель состоит лишь в том, чтобы производить беспорядок и хаос, не заботясь о дальнейших результатах.

Анархическая партия не побрезгала навязываемым ей названием, и приняла его. Сначала она настаивала на маленькой черточке между *ан* и *архией*, об'ясняя, что в этой форме слово *ан-архия*, греческого происхождения, означает не „беспорядок“, а „отсутствие власти“. Но скоро она приняла его, как есть, не задавая лишней работы наборщикам и не отягощая своих читателей уроками из греческого языка.

Таким образом слово *анархия* вернулось к своему первоначальному, обычному и общепринятому смыслу, как-то выраженному в 1816 году, в следующем замечании английского философа Бентама: „Философ, писал он, желающий изменить какой-нибудь дурной закон, не проповедует восстания против этого закона. Совсем иной характер у анархиста. Анархист отрицает самое существование закона, отвергает право закона приказывать нам, возбуждает людей к непризнанию в законе обязательного повеления и зовет к восстанию против исполнения закона“. В настоящее время смысл слова еще расширился: анархист отрицает не только существующие за

коны, но всякую установленную власть вообще; но сущность его осталась таже: анархист, прежде всего, восстает против всякой власти, в какой бы форме она ни проявлялась.

*
* *

Но, говорят нам, это слово вызывает в уме представление об отрицании *порядка*, а следовательно будит мысль о *беспорядке*, о хаосе.

Попробуем, однако, столковаться, о каком это *порядке* идет речь? О том-ли согласии о той-ли гармонии, о которых мечтаем мы, анархисты? О том согласии, которое водворится в человеческих отношениях, когда человечество перестанет делиться на два класса, из которых один приносится в жертву другому? О том порядке и согласии, которые выростут самостоятельно из общности интересов, когда люди будут составлять одну семью, когда каждый будет работать для блага всех, а все для блага каждого?—Разумеется, нет! Те, которые упрекают анархию в том, что она—отрицание *порядка*, говорят вовсе не об этой гармонии и согласии; они говорят о порядке, в том виде как его понимает современное общество.—Посмотрим же, что такое этот порядок, который хотят разрушить анархисты?

Порядок, в настоящее время,—т. е. то, что господа управители понимают под словом „порядок“—это значит, что девять-десятых человечества осуждены работать всю жизнь для того, чтобы доставить горсти тунеядцев роскошь, наслаждения и возможность удовлетворять всякие пожелания их.

Порядок, это значит—лишать девять-десятых человечества всего того, что составляет необходимое условие здоровой жизни и полного развития умственных способностей. Свести девять-

десятых человечества на степень вьючных животных, живущих изо-дня в день, никогда не смея подумать о наслаждениях, доставляемых человеку наукой или артистическим творчеством—вот что такое порядок!

Порядок это—голод и нищета, обращаемые в обычное состояние общества! Это—ирландский крестьянин, умирающий с голоду; это—крестьянин целой трети России, умирающий от дифтерита, от тифа, от голода, в то время, как тут же целые горы хлеба везутся на продажу за-границу. Это—итальянский народ, вынужденный покидать свои роскошные поля и странствовать по всей Европе, в поисках за возможностью рыть где-нибудь туннель или канал, где рабочие мрут от лихорадок, обвалов, холеры.

Порядок, это—земля отнятая у крестьянина и обращенная в Англии в пастбища для скота, который послужит в пищу богачам; или же земля, остающаяся невозделанной, вместо того, чтобы отдать ее тому, кто с радостью взялся бы за ее обработку.

Порядок, это значит—что женщина будет продавать себя, чтобы прокормить своих детей; что ребенок осужден провести все детство на фабрике, или умереть от истощения; что рабочий низведен будет до степени машины. Это—страх восставшего рабочего у дверей богача, призрак восставшего народа у дверей царских дворцов.

Порядок, это—ничтожное меньшинство, воспитанное в правительственных школах, навязывающее вследствие этого свою власть большинству и воспитывающее своих детей так, чтобы они заняли впоследствии те же места, и чтобы хитростью, подкупом, силой, избиением народа они могли поддерживать те же свои преимущества.

Порядок, это — постоянная война между

людьми, между ремеслами, между классами, между нациями. Это—непрерывный грохот пушек над Европой, это—опустошение деревень и целые поколения, принесенные в жертву богу войны на полях сражения, это—разрушение в один год богатств, накопленных целыми веками тяжелого труда.

Порядок, это—рабство, это—скованная мысль, это—унижение человеческого рода, удерживаемого в повиновении штыком и кнутом. Это—внезапная смерть от гремучего газа, или обвалов для тысячей углекопов, из-за того только, что хозяевам нужно побольше барышей; это—пальба по народу, убийство огулом, едва только крестьянин или рабочий осмелится выразить свое недовольство.

Наконец, порядок, это—потопление в крови Парижской Коммуны, смерть тридцати тысяч мужчин, женщин и детей, растерзанных ядрами, расстрелянных, схороненных в негашенной извести под парижской мостовой. Это—русская молодежь, замуравленная в тюрьмах, схороненная в сибирских снегах, изнывающая там под вой сибирской вьюги, в то время как лучшие, чистейшие ее представители гибнут на эшафоте, от веревки палача!

Вот что такое порядок!

* * *

А что такое беспорядок, т. е. то, что они называют беспорядком?

„Беспорядок“, это—всякое восстание против этого отвратительного порядка,—всякое восстание народа, разбивающего свои цепи, сбрасывающего путы и идущего на встречу лучшему будущему. Это—все, что есть самого славного, великого, чудного в истории человечества.

Это—восстание мысли накануне революции; это—разрушение суеверий, освященных неподвижностью предыдущих веков; это—появление целого потока новых идей и смелых открытий; это решение самых трудных, самых великих научных задач, которыми сопровождается всякое революционное пробуждение.

Беспорядок,—это уничтожение древнего рабства, это—восстание городов-общин, уничтожение крепостного права, попытки уничтожения экономического рабства.

Беспорядок, это—восстание французских крестьян против попов и помещиков, когда крестьяне поджигали замки, чтобы очистить место хижинам и выходили из своих нор, чтобы завоевать свою долю солнечного света. Это—Франция, уничтожающая королевскую власть и наносящая во всей Западной Европе смертельный удар крепостному праву и самодержавию.

Беспорядок, это—1848-ой год, заставивший дрожать от страха всех монархов и провозгласивший „право на труд“. Это—парижский народ, боровшийся в 1871-м году в Коммуне за новую идею; избиваемый, но завещавший человечеству идею свободной общины и пробивающий дорогу к той революции, приближение которой мы чувствуем и имя которой будет—Социальная Революция.

Беспорядок—т. е. то, что они называют беспорядком—это эпохи, в течение которых целые поколения ведут неустанную борьбу и жертвуют собою, чтобы подготовить человечеству лучшее будущее, избавив его от рабства прошлого. Это—эпохи, когда народный гений свободно расправляет крылья и делает в несколько лет гигантские шаги, без которых человек до сих пор оставался бы в состоянии древнего раба, пресмыкающегося, униженного в своей нищете существа.

Беспорядок, наконец, это—расцвет лучших чувств и величайшего самопожертвования, это—эпопея высшей любви к человечеству.

Так вот,—не есть ли слово *анархия*, означающее отрицание этого порядка и вызывающее воспоминание о самых прекрасных моментах в жизни народов—подходящее название для партии, революционной, идущей на завоевание лучшего будущего.

X.

ЧТО ТАКОЕ КОММУНА.

I.

Когда мы говорим, что социальная революция должна совершиться путем провозглашения независимых Коммун, и что только вольные Коммуны, освобожденные от власти государства, представят нужные условия, чтобы совершить революцию,—нас иногда упрекают в том, что мы хотим вернуть общество к устарелой форме жизни, уже отжившей свой век.—„Коммуна“, говорят нам, „дело прошлого“. Стремясь разрушить государство и на его место поставить вольные Коммуны, вы обращаетесь к отжившей старине: вы хотите вернуть нас в Средние века, к былым войнам между Коммунами, и разрушить национальные единства, созданные с таким трудом!

Рассмотрим-же это возражение.

Заметим, прежде всего, что всякое сравнение с прошлым не совсем верно. В самом деле, если бы мы действительно хотели простого возврата к прошлому, достаточно было бы нам заметить, что Коммуна, теперь, уже не может принять тот строй, который они имели шестьсот и семьсот лет тому назад. Ясно, что создаваясь теперь, в наш век железных дорог и телеграфов, международной науки, стремящейся найти в своих ис-

следованиях чистую истину, Коммуна неизбежно примет уже не те формы, какие она имела в двенадцатом и тринадцатом веке; что она представит собой уже что-то новое, поставленное в новые условия и поэтому ведущее к совершенно новым последствиям.

Кроме того, нашим критикам,—защитникам государства в разных, принимаемых им формах,—следовало бы помнить, что мы могли бы им сделать возражение, совершенно подобное ихнему.

Мы тоже, и с гораздо большею справедливостью, можем сказать им, что их взгляды обращены в прошедшее, так как Государство—такая же старинная форма жизни, как и Коммуна. Только разница между Государством и Коммуною та, что Государство представляет в истории отрицание свободы, абсолютизм, т.-е. самовластие и самоволие, раззорение подданных, эшафот, пытки; тогда как восстания Коммун всегда шли в истории об руку с восстаниями народов, и как те, так и другие представляют самые лучшие страницы в истории. Конечно, если уже обращаться к прошедшему, то не у Людовика XI-го, не у Людовика XV-го и не у Екатерины II-й станем мы искать примеров, а скорее у Коммун и республик Амальфи и Флоренции, у вольных городов Тулузы и Лана (Laon), Льежа и Куртрэ, Аугсбурга и Нюремберга, Пскова и Новгорода.

Нельзя довольствоваться такими пустыми доводами. Нужно серьезно изучать то, о чем идет спор, а не повторять за Лавелэ и его учениками: „Коммуна—это средневековье! Уже этого достаточно, чтобы отказаться от нее!"—„Государство—это бесконечно-длинный ряд преступлений", ответим мы; тем более следует от него отказаться!".

Между средневековою Коммуною и тою, которая может установиться теперь, и вероятно установится в недалеком будущем, будет много различий: все то, что создалось за шесть или семь веков развития человеческого и горького опыта. Разберем-же главные.

Какая была цель „сговора“, или „содружества“, в которые вступали горожане в двенадцатом веке?—Цель очень ограниченная: освободиться от феодального владельца, светского или духовного. Жители города—купцы и ремесленники—собирались и клялись „никому, кто бы он ни был, не позволять причинять вред любому из них и поступать с ним, как с крепостным“. Коммуна вооружалась и восставала, следовательно, против своих владельцев.—„Коммуна“ писал один из современников, которого слова приводит Огюстэн Тьери;—„есть слово новое и омерзительное, и вот что под ним понимают: подвластные помещику люди только раз в год платят ему должный оброк. Если кто-нибудь из них совершит проступок, он отделывается уплатою определенной пени; что же касается до денежных поборов, которые обыкновенно взимаются с крепостных, то они от них освобождаются“.

Ясно, стало быть, что средневековая Коммуна восстает против помещика. Теперешняя же Коммуна постарается освободиться от Государства. Разница—весьма существенная, так как, не следует забывать, что впоследствии государство, представляемое королем, видя что Коммуны сбрасывают власть помещиков, посылало свои армии, „чтобы наказать“, как писали летописцы, „наглость этих негодяев, которые, под предлогом Коммуны осмеливаются бунтоваться и восставать против Королевской власти!“.

Коммуна, подготовляющаяся теперь, не при-

знает над собой никакого владыки. Выше ее может стоять только Федерация, в которую Коммуна вступит по соглашению с другими Коммунами. Среднего пути быть не может: либо Коммуна будет иметь полное право вводить у себя какие захочет учреждения и совершать какие найдет нужными реформы или революции; или-же она останется тем, что она есть теперь, т.-е. она будет просто отделение государства, связанное во всех своих действиях и всегда рискующее оказаться в столкновении с государством и причем победа окажется, конечно, не на ее стороне.

Коммуна будущего должна будет разбить Государство и на его место поставить союз, федерацию Коммун. Мало того, она будет в силах это сделать. Теперь знамя коммунального восстания поднимают уже не маленькие города, а такие, как Париж, Лион, Марсель, Сент-Этьен, Картачена (в Испании); а в недалеком будущем уже все большие города поднимут то же знамя.

Освобождаясь от помещиков, средневековая Коммуна освобождалась-ли также от богатых купцов, наживших большие состояния на торговле товарами и банках?—К сожалению, нет! Разрушивши замки дворян, горожане по прошествии некоторого времени увидали, что такие же замки начинают воздвигаться богатыми купцами, и что во внутренней жизни Коммуны началась борьба между богатыми и бедными, в которую скоро стал вмешиваться король. Тогда народ, видя, что в самом городе развилась аристократия, и что бедняк попадает в такое же рабство к богатым обитателям „Верхнего Города“, в каком он был прежде у помещиков,—видя это, народ потерял охоту защищать свои городские стены

воздвигнутые им для защиты своей свободы. Видя, что терять ему было нечего, он предоставил богатым защищать эти стены; и эти защитники, уже изнежившиеся среди своих богатств, скоро сдались королю и вручили ему ключи своих, некогда вольных городов. В других Коммунах, сами богачи призывали армии королей, императора или крупных феодальных землевладельцев, из боязни народных восстаний. Так пали эти очаги свободной жизни, зародившиеся среди феодального, крепостного строя, после нескольких сот лет замечательного развития в них образованности [1]).

Но—первою заботою Коммун нашего века не будет-ли попытка положить конец вековому неравенству? Не постараются-ли они завладеть всем общественным достоянием, накопленным в их стенах, чтобы при помощи этих богатств производить новые? Не постараются-ли они, прежде всего, сломить силу капитала и не дать более возможности зародиться денежной аристократии, которая была причиною уничтожения вольных средневековых коммун?

Станут ли теперь вольные общины искать себе союзников в епископах? Наконец, захотят-ли они подражать своим предкам, которые пытались, при помощи Коммуны, образовать Государство в Государстве? Уничтожая власть феодального помещика и короля, Коммуны не выдумали тогда ничего другого, как создать у себя, в своих стенах, такую же власть, забывая, что в ней разовьются все те-же недостатки, хотя эта власть будет ограничена стенами города. Повторят-ли ту же ошибку пролетарии нашего века и

) Полнее о средневековых коммунах см. в моей книге, *Взаимная помощь, как деятельная сила эволюции*. М. 1919.

их руководители? Или же они поступят так же, как поступил народ Флоренции, когда, уничтожив дворянские титулы (или заставляя иных носить их в виде позорящей клички), он восстановлял в то же время всю прежнюю лестницу властей? Ограничатся-ли они только переменою правителей, вместо изменения самих учреждений?

Конечно, нет! Коммуна девятнадцатого века, пользуясь прошлым опытом, распорядится иначе. Она не захочет быть коммуною, общиною только по имени. Она станет коммунистским согласием. Революционная в политическом строе, она будет революционною и в вопросах производства и товарообмена. Она не станет уничтожать государства, чтобы восстановить его в меньших размерах; и многие Коммуны покажут другим примеры, вводя самоуправление уничтожая управление теми, на кого падет эта обязанность в лотерее выборов.

II.

Средневековая Коммуна, сбросив иго своего барина, попыталась-ли нанести ему удар в том, что составляло суть его силы? Попыталась-ли она придти на помощь окрестным крестьянам; и, пользуясь имевшимся у них оружием, которого не было у крестьян, освобожденные города помогли-ли им освободиться?—Нет! Движимые эгоистическим чувством, средневековые Коммуны заперлись в своих стенах. Сколько раз они запирали свои ворота перед крестьянами, просившими у них защиты, и давали помещикам истреблять их под самыми стенами города. Этою ценою,—т. е. ценою сохранения крепостного права над соседними крестьянами,—некоторые Коммуны даже покупали себе независимость. Мало того.

Крупная буржуазия средневековых Коммун нередко предпочитала, чтобы крестьяне оставались крепостными, не зная ни ремёсл, ни торговли, так, чтобы всегда они были вынуждены прибегать к городу, чтобы покупать нужные им железо, другие металлы и мануфактурный товар. А когда ремесленники города готовы были протянуть руку крестьянину, они были бессильны, если этого не хотели богатые буржуа, одни знакомые с военным делом и платившие за содержание солдат, охранявших город от нападений соседних князей и баронов [1]).

Теперь дело наверно пойдет иначе. Парижская Коммуна 1871-го года, в случае победы, не удовольствовалась бы своим освобождением от

[1]) Оставляю эти строки, как они были написаны лет сорок тому назад. С тех пор, я занялся серьезным изучением истории средне-вековых Коммун, которую и изложил вкратце в книге Взаимная Помощь. Читатель увидит там, что многие Коммуны—в северной Италии уже с десятого века—вели упорные войны с феодальными баронами для освобождения крестьян. Войны были упорные, и Коммуне Флоренции удалось освободить свое contado, т. е. область вокруг Флоренции—что и создало замечательное благосостояние этой области,—Тосканы. Тоже удалось в значительной мере Генуе, уже в десятом веке. Тоже удалось во Франции Коммуне города Лана и в его области—Laonnais—создалась даже замечательная федерация крестьянских общин. Такого же успеха достигли и некоторые другие города других стран. Но в других местах борьба городов с богатыми помещиками была гораздо менее успешна, а то и вовсе неудачна. Тогда эти города, истощенные войною с окрестными феодалами, кончали тем, что заключали с ними мир, причем крестьяне снова подпадали под тяжелое иго. В некоторых же Коммунах, город вынужден был потребовать от феодалов, чтобы они поселились в его стенах; и тогда присутствие в городе богатых дворянских семей вело к бесконечным распрям между ними, схваткам на улицах, интригам из-за власти и, в конце концов, завоеванию города, либо папою, либо королем, либо в России—великим князем или царем. Примечание 1919 г.

центральной власти. Парижский пролетариат, разбив свои цепи, произвёл бы социальную революцию сперва у себя, а потом и в сельских общинах. Даже тогда, когда Коммуна вела отчаянную борьбу за свое существование, она уже посылала крестьянам воззвание, говоря: Бери землю! всю землю! И она, наверно, не ограничилась бы одними словами: в случае надобности ее сыновья пошли бы в сёла, помогать крестьянам совершить их революцию: прогнать захватчиков земли и предоставить землю тем, кто готов и кто умеет её обрабатывать.

Средневековая Коммуна заперлась в своих стенах: Коммуна 19-го века постарается распространиться. Ей нужны не одни права города; она стремится к освобождению и братству всего человечества.

Средневековая Коммуна могла еще окопаться в своих стенах и, до некоторой степени, отделяться от своих соседей. Когда она вступала в сношения с другими общинами, эти сношения большею частью ограничивались договором для защиты прав горожан против окрёстных помещиков, или же для взаимной защиты горожан в их дальних путешествиях. Когда-же заключались союзы между несколькими городами—в Ломбардии, в Испании, в Бельгии, эти союзы, вследствие различия в правах, отвоёванных различными городами, легко распадались, или же погибали под нападками соседних государств [1]).

[1]) Здесь мне приходится повторить тоже, что сказано в предыдущей выноске. Раньше мы мало знали о союзах (Лигах) между средне-вековыми городами. Теперь-же оказывается, что Союзы городов—в Северной Италии, на Рейне, во Фландрии, английских и французских городов по берегам Па-де-Калэ, в Ганзе (на Балтийском море) и т. д. имели большое значение в течение нескольких веков. См. Взаимная Помощь главы V и VI.

Теперь дела пошли бы иначе. Самая маленькая Коммуна не могла бы прожить без того, чтобы не вступить в постоянные сношения с большими городами, представляющими промышленные, торговые и художественные центры; а эти центры с радостью принимали бы у себя жителей, как соседних сёл, так и далёких городов.

Пусть какой-нибудь большой город провозгласит у себя Коммуну; пусть он уничтожит у себя личную собственность и примет коммунистический строй жизни, т. е. пользование сообща наличными богатствами города, инструментами труда и накопленными продуктами; и тогда,—лишь бы Коммуна не была осаждена войсками врагов—уже через несколько дней на ее рынках появятся сотни тысяч, везущих припасы, и из далеких городов будут тянуться транспорты с сырьём. Товары-же, произведенные Коммуной, будут находить покупателей во всех концах света; иностранцы нахлынут в эту ячейку, открывающую жизнь на новых началах, и все будут разносить по белу-свету молву о дивном городе, где все работают, где нет ни угнетаемых, ни угнетателей, где все пользуются тем, что производят, не отдавая никому, в виде подати, львиной доли из того, что̀ производится общим трудом. Бояться, что Коммуна останется отрезанной от мира—нечего: в Соединенных Штатах, где есть несколько таких Коммун, их члены жалуются, наоборот, что буржуазный мир слишком вмешивается в их дела.

Дело в том, что в настоящее время торговля и товарообмен прорывают государственные границы и разрушают стены городов. Они уже проводят в жизнь ту сплоченность, которой недоставало в средние века. Все населенные места западной Европы уже тесно связаны между собой. Нет такой деревушки, или посёлка, хотя бы

она ютилась на склоне скалы, которая не была бы уже связана торговлею и промышленностью с каким нибудь городком, который сам связан с другими городами.

Развитие больших промышленных центров сделало больше.

Еще теперь бывает, что две соседние деревни враждуют между собой, и даже доходят до жестоких драк. Но если такая вражда не даёт этим двум деревням об'единиться, то связь между ними всё таки установится при посредстве какого-нибудь общего им торгового центра, где обе покупают нужные им товары, или продают то, что сами производят. И, чтобы сохранить свои сношения с этим центром, обе деревни будут об'единяться.

При том, такой центр не сможет приобрести вредных прав над соседними общинами, потому что вследствие постоянно-растущего разнообразия потребностей деревни вынуждены будут связываться не с одним только городским центром. Людские потребности уже так разнообразны, и новые потребности так быстро развиваются, что одной федерации—одного союза скоро будет недостаточно. Вольная Коммуна скоро почувствует потребность вступить в несколько союзов. Оставаясь членом одного союза для получения, например, пищевых продуктов, Коммуна вступит в другой союз,—например, для получения машин, учебных пособий, или художественных произведений. Возьмите собрание хозяйственных карт России, или любой страны, и вы увидите, что хозяйственных, экономических границ не существует: области различных производств и товарообмена покрывают друг друга, переплетаются. Точно также и федерации вольных общин; если

они будут свободно развиваться, скоро начнут переплетаться, покрывать одна другую и составят сеть, гораздо более „единую и нераздельную“, чем государственные союзы, которые составлены из частей, только сложенных вместе и связанных веревкою, как розги римского палача.

Одним словом, те. кто пророчит, что общины, если они освободятся от государственной опеки, перегрызутся между собой, забывают одно: что тесная связь между людскими поселениями уже существует, благодаря промышленному и торговому тяготению между ними и их постоянным сношениям между собою. Они не отдают себе отчёта в том, что̀ были средневековые города, с их зубчатыми стенами, и башнями и тщательно-запираемыми воротами, и с какими трудностями ползли из одного города в другой маленькие обозы купцов в вечном страхе нападения на них разбойниками-дворянами,—владельцами грозных замков. Они забывают, что между городами вечно движутся потоки людей, товаров, писем и телеграмм, и какой идёт обмен мыслей и чувств между современными городами. Они не представляют себе всего различия между тихою жизнью средних веков и быстро-текущею жизнью нашего времени.

Впрочем, сама история нашего времени не доказывает-ли, что дух федеративных союзов уже представляет отличительную черту современности? Если только где-нибудь Государство дезорганизуется по какой либо причине, если только его гнёт ослабевает где-либо,—и сейчас-же зарождаются вольные об‘единения. Вспомним об об‘единениях городских буржуазий во время Великой французской революции; вспомним о федерациях, возникших в Испании во время вторжения наполеоновских армий, и о том, как они

отстояли независимость испанского народа в такую пору, когда государственная власть была окончательно потрясена.

Как только Государство оказывается неспособным удержать силою национальное единство, сейчас же начинают образовываться союзы, вызванные естественными потребностями отдельных областей. Свергните иго Государства—и федерация начнёт возникать на его развалинах, и мало-по-малу она создаст союз, действительно прочный и вместе с тем свободный и всё более спаиваемый самою свободою.

Но есть еще нечто, чего не следует забывать. Для горожанина средних веков его Коммуна была государством, строго отделенным от других своими границами. Для нас-же „Коммуна“ уже более не только земельная единица. Это скорее—общее понятие о каком-то союзе равных, не знающем ни городских стен, ни границ. Социалистическая Коммуна скоро перестанет быть чем-то имеющим определенные границы, заключенным в самом себе. Каждое об‘единение внутри Коммуны неизбежно будет искать сближения с другими такими же группами в других Коммунах; оно свяжется с ними, по крайней мере, такими же связями, как и со своими согражданами, и таким путём создастся Коммуна общих интересов, которой члены будут разбросаны в тысяче сёл и городов. Будут люди, которые найдут удовлетворение своих потребностей только тогда, когда об‘единятся с людьми, имеющими те-же потребности в сотне других Коммун.

Уже теперь всевозможные Общества начинают развиваться во всех отраслях деятельности человека. Люди, имеющие досуг, сходятся между

собою уже не для одних научных, литературных и художественных целей. Союзы составляются также не для одной классовой борьбы. Едва ли найдется одно из бесчисленных, разнообразнейших проявлений человеческой деятельности, в которой уже не составились бы союзы; и число таких об‘единений растет с каждым днём. Каждый день такие союзы захватывают всё новые области, даже из тех, которые раньше считались святынею святых Государства.

Литература, искусство, науки, школа, торговля, промышленность, путешествия, забавы, гигиена, музеи, далёкие предприятия, даже полярные экспедиции—даже военная защита, помощь раненым, защита от разбоев и воровства, даже от судебных преследований . . . . , всюду пробирается частный почин в форме вольных обществ.. Свободный союз—это то, куда идёт отличительная черта второй половины девятнадцатого века; это ее отличительная черта свойственное ей направление.

На этом направлении, для которого открываются теперь обширнейшие приложения, создается будущее общество. Из вольных об‘единений создается социалистическая Коммуна, и эти об‘единения пробьют стены, разрушат пограничные столбы. Возникнут миллионы Коммун, уже не ограниченных данными границами, но стремящихся протянуть друг-другу руки чрез разделяющие их реки, горные цепи, моря и океаны, и связывающих людей и народы на всём земном шаре в одну семью равных и свободных.

XI.

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА.

I.

18 марта 1871 года парижский народ восстал против всеми ненавидимого и презираемого правительства и об'явил, что город Париж будет отныне свободным и независимым: будет принадлежать только самому себе.

Центральная власть оказалась свергнутой даже без обычных битв, свойственных революции: в день 18 марта не было ни ружейных выстрелов, ни кровопролития на баррикадах. При виде вышедшего на улицу народа, правительство стушевалось: войска ушли из города, чиновники поспешили убежать в Версаль, захватив с собою все, что могли. Правительство испарилось, как вонючая лужа, от дуновения весеннего ветра; и 19-го марта Париж, не пролив почти ни капли крови своих граждан, оказался свободным от заразы, свившей гнездо в великом городе.

А между тем совершившаяся революция открывала собою новую полосу в ряду тех революций, через которые народы идут от рабства к свободе. Под именем Парижской Коммуны рождалась новая идея, которой суждено сделаться—мы глубоко в этом убеждены—исходною точкою будущих революций.

Как всегда бывает с великими идеями, она не была измышлением какого-нибудь философа, или отдельной личности: она родилась в уме масс, она вышла из сердца и из истории французского народа [1]). Сначала в ней было много неясного, и многие из тех, которые применяли ее на практике и отдали за нее жизнь, не понимали ее в то время так, как мы понимаем ее теперь. Они не отдавали себе отчета в важности начатого или исторического переворота,—перехода от государства к Коммуне и плодотворности начала, которое они стремились провести в жизнь.

Его значение для будущего стало выясняться для них только по мере его практического приложения; только по мере того, как в течение последующих годов, мысль стала работать все дальше и дальше в направлении независимой общины и коммунистической коммуны, становилось яснее и определеннее то, что парижский народ попытался созвать в 1871 году и, наконец, его попытка выступила во всей своей красоте, справедливости и практической важности.

---

[1]) Для общего ознакомления рабочего читателя с историю французского народа (не его управителей, а всего народа) особенно могу рекомендовать историю Мишлэ и— к ужасу господ профессоров—роман Эжена Сю,—социалиста, народника и коммуналиста—Тайны народа: История пролетарской семьи в течение веков. Русского перевода этого романа нет: при царском правительстве его бы не позволили. Есть только несколько первых глав из него, переведенных Шашковым в старом Русском Слове, под заглавием. Очерки из Истории рабства. В этом прекрасно рассказаны история парижской Коммуны в веке и идеи о коммуне среди французских рабочих в сороковых и пятидесятых годах 19-го века.

Когда в последние пять или шесть лет перед провозглашением Коммуны развитие социалистического движения получило новый толчек, благодаря основанию рабочего Интернационала, деятелей будущей революции занимал в особенности один вопрос: какая форма политической группировки общества наиболее пригодна для той великой экономической революции, которую современное развитие промышленности ставит перед нами? Раз уничтожение частной собственности и обращение в общую собственность всего капитала, накопленного предыдущими поколениями, становится задачею нашего времени, а современное государство является помехою этому,—то какую форму должен будет принять политический союз в современных обществах, чтобы облегчить экономический переворот?

Международный Союз рабочих дал один ответ на этот вопрос. Группировка обществ, говорили рабочие, не должна ограничиваться одной нацией: она должна перешагнуть ныне существующие, искусственные, государственные границы. Эта великая идея быстро проникла в сердца народов, быстро овладела умами. Несмотря на все гонения со стороны реакционных сил, она продолжает жить до сих пор, и как только преграды, поставленные на пути ее развития, будут снесены восставшими народами, эта мысль возродится с еще большею силою, чем когда бы то ни было.

Но предстояло решить еще один вопрос: каковы будут составные части этого обширного международного союза?

На это было дано два различных ответа, со стороны двух разных течений мысли: одно выставило народное государство, а другое — безгосударственную федерацию.

Немецкие социалисты говорили, что государство должно будет завладеть всеми накопленными богатствами и передать их рабочим ассоциациям; что оно должно будет организовать производство и обмен; что его задача, вообще,—заботиться о жизни и правильном развитии общества, политическом и хозяйственном.

На это большинство социалистов латинских стран, основываясь на собственном опыте, отвечало, что такое государство—даже если мы допустим, что оно могло бы осуществиться—было бы худшей из тираний. Оно будет задавливать почин (инициативу) групп и отдельных лиц, чтобы все развитие общества держать в своих руках.

Этому идеалу, заимствованному из прошлого, они противопоставляли новый идеал, анархию, т.-е. уничтожение государств, и организацию от простого к сложному, от частного к общему,—путем вольной федерации народных сил,—производителей и потребителей.

В скором времени, даже некоторые „государственники“, из наименее зараженных правительственными предрассудками признали, что анархия действительно представляет собою вид организации, гораздо более высокий, чем народное государство. Но—прибавляли они—анархический идеал так далек от нас, что пока нам нечего им заниматься. С другой стороны, анархической теории недоставало простого, определенного, понятного выражения, чтобы определить свою исходную точку, облечь плотью своею теоретические соображения и показать, что они опираются на стремления, действительно живущие в народе. Федерация ремесленных союзов и групп потребителей, распространяющаяся за пределы существующих границ и современных государств, ка-

залась еще слишком туманной. Вместе с тем, нетрудно было видеть, что она не сможет обнять все разнообразие проявлений человеческой жизни. Нужна была формула более ясная, более осязательная, черпающая свои стремления из действительных форм общественной жизни.

Если бы речь шла только о выработке теории, мы бы сказали: „К чему нам теории. Не надо их!“.—Но дело в том, что пока новая идея не нашла себе ясного, точного выражения, вытекающего из действительности, она не овладевает умами, не вдохновляет людей, настолько, чтобы толкнуть их на решительную борьбу. Народ не бросается, очертя голову, в неизвестность; у него должна быть определенная и ясно выраженная мысль, которая послужила бы ему точкой опоры в самом начале.

Такую точку опоры указала сама жизнь.

В 1870—71 году в продолжение пяти месяцев, Париж, отделенный от всей Франции вследствие осады, жил своею собственною жизнью. Тогда он узнал, какими огромными экономическими, умственными и нравственными богатствами он располагает; он увидал и понял силу своего населения, своей творческой силы и почина. Вместе с тем, он увидал и то, что шайка болтунов, завладевших властью, не с'умела обеспечить ничего; ни внешней защиты Франции, ни ее внутреннего развития. Он видел, как центральное правительство становилось поперек дороги всему, что только мог создать ум громадного города. Мало того: население Парижа поняло, что никакое правительство, каково бы оно ни было, не в силах ни предотвратить крупные несчастия, как война, раззорение страны и осада столицы, ни облегчить готовящееся развитие новых лучших форм общественной жизни. Париж пережил

во время осады страшную нищету,—нищету работников и защитников города, рядом с бесстыдной роскошью тунеядцев. Он видел также, как все попытки покончить с безобразным политическим строем кончались неудачей, благодаря усилиям центральной власти. Всякий раз, когда народ хотел свободно проявить свою деятельность, правительство надевало на него новые цепи; и вот, естественно возникла мысль, что Париж должен организоваться в независимую общину, чтобы иметь возможность осуществлять внутри своих стен то, что подскажет ему народная мысль.

Слово Коммуна оказалось тогда сразу у всех на устах.

Коммуна 1871 года, очевидно, не могла быть ничем иным, как первою попыткою. Родившись после войны, окруженная двумя армиями,—немцев и французской буржуазии, готовыми в каждую минуту подать друг другу руки, чтобы подавить народное движение,—Коммуна не решилась смело вступить на путь экономической революции. Она не об'явила себя вполне социалистической, не произвела экспроприации капиталов, не занялась организацией потребления и производства. Она даже не сделала подсчета всех имевшихся в городе запасов. Точно также она не порвала и с государственным преданием, т.-е. с представительным правлением, и не постаралась осуществить той организации от простого к сложному, начало которой она сама положила, провозглашая независимость и свободную федерацию общин. Нет, однако, сомнения, что если бы парижская Коммуна просуществовала еще несколько месяцев, она, в силу самого хода вещей, должна была бы совершить эти две рево-

люции. Она расширила бы возможность прямого действия своих округов, кварталов и улиц, как это делала Коммуна 1793—94 годов и средневековые коммуны, а не ждала бы, чтобы все новые начинания шли от Совета, т.-е. правительства Коммуны.

Не следует забывать, что в 1789—93 году буржуазии понадобилось четыре года революции, чтобы перейти от умеренной конституционной монархии к буржуазной республике. Нет, поэтому, ничего удивительного в том, что парижский народ не перескочил одним прыжком от правительства шайки грабителей к анархической коммуне. Но мы можем быть уверены, что будущая революция во Франции и наверное в Испании, а также и в Италии будет иметь общинный характер; она будет продолжать дело парижской Коммуны, которую остановили на этом пути версальские избиения.

Коммуна пала, и мы знаем, как отмстила буржуазия за страх, причиненный ей народом, свергнувшим иго своих правителей. Своими зверствами буржуазия Национального Собрания ясно показала, что в современном обществе действительно существуют два класса: с одной стороны, тот, который работает, отдавая буржуазии большую половину того, что он производит, и в то же время, слишком легко прощая преступления своих господ; а с другой стороны—сытый тунеядец, с инстинктами дикого зверя, ненавидящий своего раба и гот ый истреблять его, как истребляют вредных животных.

Заперев население Парижа в городе и закрыв все выходы, французская буржуазия напустила на него солдат, одурманенных водкой и казарменной жизнью. И этим солдатам вожаки бур-

жуазии сказали с полной откровенностью в заседании Национального Собрания: „Бейте без разбора! Убивайте этих волков, волчиц и волчат!“. Народу же она сказала:

— „Что бы ты ни делал, ты погиб! Если тебя возьмут с оружием в руках, тебя ждет одно—смерть. Если ты положишь оружие—смерть! Если ты будешь сражаться—смерть! Если ты станешь молить о пощаде—смерть! Куда бы ты ни кинул взгляд,—направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз,—смерть! Ты не только вне закона, ты вне человечества. Ни возраст, ни пол не спасут ни тебя, ни твоих. Тебя убьют. Но сперва ты увидишь предсмертные муки твоей жены, сестры, матери, дочерей, сыновей—в том числе и грудных детей! У тебя на глазах вытащут раненого из лазарета, чтобы рубить его саблями, добивать прикладами. Его потащут за сломаную ногу или окровавленную руку, и бросят на мостовую, как ненужную тряпку, стонущую и страдающую. „Смерть! смерть! смерть!“.

А затем, после безудержной оргии на кучах трупов, после массового избиения,—началась мелочная, но ужасная, до сих пор еще не умолкнувшая месть: хлыст, наручники, кандалы на дне корабля, везущего коммунаров в Новую Каледонию, и удары кнута и палки сторожей, оскорбления, голод—самая утонченная жестокость на этом острове.

Неужели народ забудет все эти подвиги?—Конечно, нет! „Подавленная, но не побежденная“ Коммуна теперь возрождается. Это уже не мечта побежденных, ласкающих в воображении пре-

---

[1]) Заимствую эти строки из „Народной и Парламентской истории Парижской Коммуны“ Артюра Арну,—книги, о которой с удовольствием напоминаю читателю Пользуюсь переводом Общины, 1878 года.

красное марево надежды. Нет! „Коммуна“ теперь—ясная и видимая цель той революции, которая уже клокочет вокруг нас. Идея о ней проникает в массы, дает им знамя, и мы твердо рассчитываем, что современное поколение совершит социальную революцию внутри коммун, и так положит конец отвратительной буржуазной эксплуатации, избавит народы от опеки государства и откроет в развитии человечества новую полосу—свободы, равенства и взаимной поддержки.

II.

Десят лет отделяют нас уже от того дня, когда парижский народ, свергнув правительство изменников, захвативших власть во время падения империи, организовался в Коммуну и провозгласил свою полную независимость [1]). А между тем наши взоры всё еще обращаются ко дню 18 марта 1871 года. С ними связаны наши лучшие воспоминания, и теперь пролетариат всего мира готовится торжественно праздновать годовщину этого памятного дня. Завтра сотни тысяч рабочих сердец будут биться заодно, об‘единятся через границы, через океаны, в Европе, в Соединенных Штатах, в Южной Америке, в общем воспоминание о восстании парижского пролетариата.

Совершится это потому, что идея, за которую французский пролетариат проливал свою кровь в Париже и страдал на берегах Новой Каледонии—одна из тех идей, которые сами по себе уже заключают в себе целую революцию,—идея настолько широкая, что в складках ее знамени могут поместиться все революционные стремления народов, идущих к своему освобождению.

[1]) Писано в марте 1881 г.

Правда, если мы будем рассматривать только реальные и осязательные факты из деятельности Парижской Коммуны, нам придётся сказать, что эта идея не была достаточно широка, что она охватила собою лишь ничтожную долю революционной програмы. Но если мы посмотрим на то, каким стремлением были воодушевлены в движении 18 марта народные массы—какие стремления они пытались провести в жизнь, но не успели, потому что эти стремления были задушены в зачатке под грудами трупов,—если мы так посмотрим на Парижскую Коммуну, то мы поймем всё значение этого движения; мы поймём и симпатию, которую оно внушает рабочим массам Старого и Нового Света.

Коммуна вызывает энтузиазм в сердцах—не тем, что она сделала, а тем, что она обещает сделать.

Откуда берется эта непреодолимая сила привлекающая к движению 1871 года симпатии всех угнетенных масс? Какая идея воплощается в Коммуне? Почему эта идея так привлекательна для пролетариев всех стран и всех национальностей?

Ответ дать не трудно.—Революция 1871 года была истинно-народным движением. Она была совершена самим народом; зародилась она в недрах рабочих масс, и в той же народной массе она нашла своих защитников, своих героев, своих мучеников. И именно этот „простонародный характер“ никогда не простит ей буржуазия! Вместе с тем, основная мысль этой революции—правда, смутная, может быть даже не сознательная, но тем не менее несомненно присущая ей и сквозившая во всех ее актах, это была мысль о социальной революции,—которая должна будет установить, наконец, после стольких веков борьбы,

настоящую свободу и настоящее равенство для всех. Да, Коммуна была революцией „простонародья", но „простонародья" идущего на завоевание самых священных своих прав: права на жизнь, на довольство, на счастье!

Правда, настоящий смысл этой революции старались и до сих пор стараются исказить: её хотят представить простой попыткой Парижа достигнуть независимости и образовать маленькое государство внутри французского государства. Но такое толкование совершенно не верно.

Париж вовсе не стремился отгородиться от остальной Франции, точно также как он не стремился и завоевать Францию. Он вовсе не хотел замыкаться в своих стенах, как монашеский орден в монастыре; он не руководствовался узкими, местными интересами. Если он требовал для себя независимости, если он противился всякому вмешательству центральной власти в свои дела, то делал он это потому, что он видел в этой независимости средство к свободной выработке внутри своих стен организации будущего общества, которая со времен распространится на всю Францию и на соседние страны. Он хотел взять на себя почин социальной революции,— революция, которая коренным образом преобразовала бы производство и обмен, положивши в основу ях справедливость, и тем самым совершенно изменила бы отношения между людьми, внеся в них равенство, а также перестраивая нравственные понятия нашего общества, основывая их на началах справедливости и взаимности.

Коммунальная независимость была, для парижского народа, средством. Социальная революция была его целью.

Эта цель, несомненно, была бы достигнута если бы революция 18 Марта могла развиваться свободно в продолжении некоторого времени; если бы парижский народ не был разгромлен и растерзан, напущенными на него ордами версальских убийц.

Найти ясную, точную мысль, понятную всем и в нескольких словах выражающую то, что нужно сделать для совершения революции,—такова была задача, занимавшая лучшую часть парижского народа с первых же дней провозглашения своей независимости. Но никакая великая идея не вырастает в один день, какова бы ни была быстрота выработки и распространения идей в революционное время. Чтобы развиться и выработаться, чтобы проникнуть в массы и проявить в новых формах жизни, новой мысли всегда нужно некоторое время, а этого времени у Парижской Коммуны не хватило.

Его тем более не хватило, что идеи современного социализма переживали тогда переходное время. Коммуна возникла, так сказать, на рубеже двух периодов развития современного социализма. В 1871-м году государственный, правительственный и более или менее религиозный коммунизм 1848-го года уже потерял власть над умами нового поколения. Они уже стали более реальными и более свободолюбивыми, и к концу второй Империи уже трудно было бы найти хоть одного парижанина, который согласился бы запереться в казарму какого-нибудь фаланстера [1].

С другой стороны коллективизм людей сорок восьмого года, видал и Пекёра принятый Марксом и Энгельсом в их манифесте и с тех пор

[1]) Так называл Фурье свои колонии производителей и потребителей.

преследуемый германскими и русскими социалистами,—не удовлетворял французов. Совместить наёмный труд и коллективною собственностью, представляется французским рабочим мало понятным, мало привлекательным и сопряженным на практике с громадными трудностями. Что же касается до свободного, анархического коммунизма, то он едва зарождался, в то время,—едва осмеливался выдержать нападки поклонников государственности.

В умах царила поэтому нерешительность, и сами социалисты, не имея перед собою ясноопределенной цели, не чувствовали в себе достаточно смелости, чтобы двинуться на уничтожение частной собственности. Понемногу, люди поддавались на рассуждении, во все времена выставляемое усыпителями:—„Прежде всего обеспечили себе победу, а там посмотрим, что можно будет сделать!“

Прежде всего обеспечить себе победу! Как будто-бы возможно образовать свободную общину, не трогая частной собственности! Как будто возможно победить внешних врагов, если народная масса не заинтересована непосредственно в торжестве революции; если она не видит, что эта революция приносит с собою вещественное, умственное и нравственное благосостояние для всех! Руководители парижан говорили, что сперва надо упрочить Коммуну, и отложить социальную революцию на будущее время,—тогда как единственным верным путем было — упрочить Коммуну посредством социальной революции.

То-же самое случилось и с государственностью. Провозглашая свободную общину, парижский народ провозглашал вполне анархическое

начало. Но так как в то время умы были еще мало проникнуты анархическими идеями, народ остановился на пол-дороге, и внутри самой Коммуны высказался за сохранение старого начала власти. Он поспешил избрать „Совет Коммун“,— т. е. снимок со старых „Городских Советов“ или Дум,—вместо того, чтобы вспомнить о громадной речи, которую сыграли во время Великой Революции „Акции“, т. е. „отделы“ Парижа.

В самом деле, если мы считаем центральное правительство совершенно излишним для урегулирования взаимных отношений между отдельными общинами, то к чему признавать его необходимость для управления взаимными отношениями групп, составляющих общину? Если мы предоставляем общинам свободно проявлять свою волю в соглашениях между собою в делах, касающихся нескольких городов, — то почему-же отказывать в таком-же праве тем группам из которых слагается община? Правительство внутри общин также, не необходимо, как и правительство над общинами.

Но в 1871 году парижский народ, уже свергнувший на своем веку столько правительств, в первый раз, еще делал попытку восстать против самой системы правительства. Он поддался, поэтому, правительственному предрассудку и опять создал себе правительство. Последствия этого известны. Народ послал в ратушу самых преданных детей своих. Но там они очудились в такой же обстановке канцелярской рутины и безконечных споров партий, обсуждающих теорию централизации и децентрализации, суровой Якобинской власти и вольного строительства отделами Парижа (arrendissements). сильной центральной власти и федерализма. Верное чутьё подсказывало им, что они должны быть с народом, с ним об-

суждать его нужды (как это делалось в 1793—94 годах в самостоятельных *секциях* т. е. отделах или кварталах Парижа и с ним вырабатывать защиту города. Но вместо того, им пришлось разсуждать и спорить между собою,—между журналистами и политическими людьми, стоявшими далеко от народной массы, от тех кто составлял ядро населения Парижа. Лишенные, таким образом, постоянного общения с массами, они лишались источника, откуда могли бы черпать практические решения и оказывались осужденными на безсилие. Обезсиленные своим удалением от очага всех революций—от народа,—они сами обезсиливали народную силу.

Парижская Коммуна возникла в переходный момент,—в такое время когда понятия о социализме и власти переживали глубокое изменение и в социализме столкнулись два течения: старое—централизации и единой центральной власти, и новое течение—течение децентрализации, т. е. строительство жизни не по приказу из центра, а по воле отдельных союзов, профессиональных и других, из которых слагается население большого города. Кроме того, создавшись тотчас после несчастной войны в одном изолированном городе, Коммуна в Париже была окружена прусскими войсками, готовыми придти на помощь войскам Национального Собрания, т. е. буржуазии, сельской и городской; а в остальной Франции население, усталое после войны и поражения, не решалось броситься в перестройку общественной жизни.

В таких условиях, не находя поддержки в других больших городах,—Лионе, Марсели, Сент-Этьене, Руане и т. д., где попытки анархистов провозгласить Коммуну кончились неудачей,—в

таких условиях Парижская Коммуна не могла продержаться.

Но всетаки, благодаря своему чисто-народному происхождению, она открыла новую полосу в истории революций. По своей идее она явилась предшественницей социальной революции на новых началах.

Неслыханныя избиения,—низкия и свирепыя,— которыми буржуазия ознаменовала свою победу над Коммуной; низость, с которой палачи втечение девяти лет мстили заключенным ими в каторге коммунарам—все эти людоедския оргии вырыли между французской буржуазией и пролетариатом такую пропасть, которую заполнить невозможно. В следующую революцию—когда бы она ни пришла—народ будет знать, с кем он имеет дело; он будет знать, что грозит ему, если он не одержит решительной победы; а потому, надо думать, он примет соответственные меры.

Да, мы знаем теперь, что в тот день когда Франция покроется восставшими общинами, народу не следует создавать себе правительство, и ожидать от этого правительства почина в революционных мерах. Народ должен прежде всего сбросить с себя всех живущих на нем поразитов, а затем завладеть, на деле, во имя народа, всем общественным богатством, предоставляя его в общее пользование, на началах анархического коммунизма. Когда же он разрушит так называемую законную собственность, правительство и государство, тогда он сам с‘организуется свободно, сообразно требованиям самой жизни. Разбивши свои оковы и низвергнувши всех идолов, человечество пойдет тогда по пути к лучшему будущему, которое не будет знать ни господ, ни рабов, а преклоняться будет только перед теми благородными мучениками, которые заплатили

своею кровью и своими страданиями за первыя попытки освобождения, осветившия нам путь к завоеванию свободы.

Следующая революция, если в ней будет достаточно внутренней силы, чтобы стать социальной, неизбежно должна будет начаться в латинских странах—Франции, Италии, Испании—с провозглашения независимых Коммун. И если это начало — децентрализации — будет достаточно сильно развито, каждая Коммуна вероятно начнет не с назначения своего, городского правительства, а с организации своих граждан по домам, улицам и кварталам, создавая в каждом квартале или улице свои *секции*,—как это делали французы в больших городах во время Великой Революции, и как это делалось в вольных городах в Средние Века.

III.

Праздники и собрания, устраиваемые 18 марта везде, где только существуют социалистические группы, заслуживают полного внимания с нашей стороны, не только как демонстрации пролетариата, но и как выражение чувств, одушевляющих социалистов всего мира. Подсчет сочувствующих производится таким образом гораздо лучше, чем путем изборательных бюллетений; причем мнения высказываются свободно, помимо каких бы то ни было соображений избирательной тактики.

Собираясь в этот день, рабочие не ограничиваются тем, что восхваляют героизм парижского пролетариата и призывают к мести за майские убийства. Черпая новые силы в воспоминании э героической борьбе Парижа, они, вместе с том, идут и дальше. Они обсуждают уроки Коммуны 1871 года, в виду будущей революции; они ста-

вят вопросы о том,—в чем были ошибки Коммуны не для того, чтобы критиковать ея деятелей, а чтобы показать, как те предразсудки относительно собственности и власти, которые существовали в то время среди рабочих организаций, помешали революционной идее вылупиться из своей оболочки, развиться до зрелости и осветить своими живительными лучами весь мир.

Уроками 1871 года пользуется пролетариат всего мира. Он порывает со старыми предразсудками и заявляет теперь, ясно и просто, чего он хочет от *своей* революции.

Теперь ясно, что следующее восстание общин не будет уже простым движением *коммунистическим* т. е. во имя городской независимости. Те, кто думает что сперва надо организовать независимую городскую общину, а затем уже совершать в ея среде экономические реформы,—те кто так думает, (как это думала значительная часть членов правительства Коммуны в 1871 году), запоздали сравнительно с развитием народной мысли. Общины будущей революции оснуют и упрочат свою независимость именно актами революционно-социалистическими, направленными против частной собственности и эксплоатации труда.

В тот день, когда, в силу назревшего революционного положения, правительства будут снесены народом, и дезорганизация произойдет в лагере буржуазии, которая только и держится, что покровительством государства,—в тот день—а он не далек—восставший народ не будет более ждать, пока какое-нибудь правительство предпишет в своей великой мудрости, экономические реформы. Он сам упразднит частную собственность путем насильственной экспроприации, захватив в свои руки, именем народа, все обще-

ственные богатства, накопленныя трудом предыдущих поколений.

Он не ограничиться экспроприацией обладателей общественного капитала путем указов, которые остались мертвой буквой: он овладеет им немедленно сам и докажет свои права тем, что немедленно же обратит это достояние на общую пользу [1]). Он сам организуется по мастерским чтобы пустить их в ход, сам покинет свои трущобы и поселится в здоровых квартирах буржуазных домов [2]).

Вместе с тем, он вероятно организует немедленно же потребление накопленных в городах богатств и воспользуется ими так, как если бы

---

[1]) О том, *как* восставший большой город мог бы с'организоваться в этом смысле, см. „Завоевание Хлеба“ (тоже „Хлеб и Воля“), где вопрос о практической организации восставшей Коммуны разсмотрен с практической стороны, насколько это возможно, когда приходится говорить не о настоящем, а о будущем.

[2]) Оставляю эту фразу, как она была в первом издании 1833 года. Но прибавлю, что опыт, приобретенный с тех пор, особенно в Англии и Бельгии, показав, что хотя коечто может быть сделано для рабочих квартир путем переделки старых домов, но не в этом направлении лежит решение задачи. Надо будет сейчас же начать постройку небольших домов в 4, 5 или 6 комнат, снабженных всеми удобствами, требуемыми современным просвещением: т. е. много света, упрощенное отопление, садик, ванна, электричество и т. д. и всякия приспособления для вполне гигиенической жизни. Прибавлю, что так как теперь, после войны, в Англии нужно выстроить около двух миллионов таких домов, то уже намечаются способы *удешевления их постройки* (отчасти путем отливки некоторых частей из бетона, нумеровкою частей и т. п. *не вводя, однако, однообразия в архитектуре*), а также целый ряд новых усовершенствований. Но большие ли надо строить дома, или громадное число мелких (*этим ускоряется постройка*) — решат это местные люди. *Строить же новые дома должно быть первым делом всякой социальной революции.* (Прим. 1917 года).

они никогда не были у него отняты буржуазией. Промышленный барон, грабящий рабочего, будет удален; производство же будет продолжаться, избавившись от стеснительных пут, от убивающих его спекуляций, от дезорганизующего хаоса, и видоизменяясь сообразно потребностям момента, под влиянием толчка, данного его развитию освобождением труда. „Никогда еще во Франции не пахали так, как в 1793 году, когда земля была вырвана из рук помещиков",—писал Мишлэ. Никогда еще не работали так, как будут работать тогда, когда труд станет свободным,—когда все, что сработает каждый, будет становиться источником благосостояния для всей общины.

Относительно того, что составляет общественное богатство, немецкими социалистами было сделана попытка установить некоторое различие; социалисты даже разделились, по этому поводу, на два направления. Те, кто называет себя теперь *коллективистами*, заменили коллективизмом старого Интернационала,—бывший ничем иным, как противо-государственным коммунизмом,—каким-то доктринерским коллективизмом, заимствованным у фурьериста сороковых годов, Пекера (Pecqueur). Они пытаются установить различие между капиталом, служащим *для производства*, и богатством, служащим *для удовлетворения жизненных потребностей*. С одной стороны—машины, заводы, сырье, пути сообщения, земля; с другой—жилища, выделанные товары, одежда, съестные припасы. Первые становятся коллективною собственностью; вторые, по мнению представителей этой школы, должны остаться собственностью личной.

Это различие пытались провести Шефле, и, вслед за ним, большинство социал-демократов.

Но здравый смысл народа сильно не поддается на такое тонкое разграничение. Он чувствует, что различие это—воображаемое, и что установить его невозможно. Негодноэв теории, оно исчезает и перед жизненной практикой. Рабочие понимают, что дом, в котором мы живем, уголь и газ, который мы жжем, пища, которую сжигает человеческая машина для поддержания жизни, одежда, которую надевает человек для сохранения своего существования, книга, которую он читает для своего образования, даже удовольствия, которыми он пользуется—составляют неот'емлемую принадлежность его жизни. Они настолько же необходимы для успехов производства и для прогрессивного развития человечества, как и машины, фабрики, сырье и всякие орудия производства. Они понимают, что сохранить частную собственность на эти богатства—значило бы сохранить неравенство, гнет и эксплуатацию; значит заранее парализовать результаты такой экспроприации. Шагая через все препятствия, воздвигнутые на их пути коллективизмом теоретиков, они идут прямо к наиболее простой и наиболее практичной форме—т.-е. к безгосударственному коммунизму.

Действительно, мы безпрестанно видим, что на своих собраниях, рабочие-революционеры определенно заявляют о своем праве на жилые дома, на образование и вообще на все общественное богатство. Они требуют уничтожения частной собственности на главные предметы потребления так же как и на средства производства этих предметов.—„В момент революции мы завладеем *всем* богатством, *всеми* ценностями, накопленными в городах и отдадим их в общее пользование,—так говорят выразители мнений народной массы, и слушатели подтверждают их слова единодушным одобрением.

— „Пусть каждый возьмет из общего достояния то, что ему нужно; мы можем быть уверены, что в наших городах найдется в запасе достаточно пищи, чтобы прокормить всех до того дня, когда производство, перестроенное на началах свободы, снова пойдет в ход. В магазинах наших городов найдется достаточно одежды, чтобы одеть всех,—одежды, кучи которой лежат теперь без употребления, рядом с общей бедностью. Найдется даже достаточно и предметов роскоши, чтобы каждый выбрал себе вещь по вкусу“.

Вот как—судя по тому, что говорится на собраниях—понимает революцию рабочая масса. Она представляет ее себе, как немедленное введение свободного коммунизма и организацию производства на свободных началах. Эти два пункта прочно установлены, и в этом отношении коммуны той революции, глухие подземные раскаты которой уже доходят до нас, не повторят, надеемся ошибок своих предшественников,—тех предшественников, которые, своею благородною кровью расчистили нам путь к будущему.

Но если по этому предмету устанавливается уже, в Латинских странах, некоторое соглашение, то согласие еще не установилось по другому не менее важному вопросу, а именно, вопросу о нужности или ненужности *правительства*.

Среди социалистов существуют два определенных направления, — якобинское и анархическое,—совершенно расходящиеся по этому вопросу.—„Необходимо“, говорят одни, „в первый же день революции составить правительство, которое захватило бы власть. Необходима диктатура пролетариата, выражаемая революционным правительством. Сильное, могущественное, решительное, *оно сделает* революцию посредством за-

конов, которые оно выпустит, и которым заставит повиноваться".

— „Печальное заблуждение!"—возражаем мы.

—„Правительство *не может сделать революции.* Всякое центральное правительство, которое возьмет на себя управлять страною, или даже отдельною коммуною, будет составлено по необходимости из разнохарактерных элементов. Кроме того, консервативное уже по самой сущности своей правительственной природы, оно будет только помехой революции. Оно задержит революцию в тех общинах, которые захотят идти вперед, а вместе с тем оно не сможет вдохнуть революционного духа в общины отсталые.—То же самое произойдет и внутри каждой возставшей общины. Или общинное правительство будет только утверждать в форме указов совершившиеся уже факты и деяния,—и тогда оно будет бесполезным и далеко не безопасным учреждением; или же оно захочет действовать по своему: будет писать законы и вперед расписывать то, что—для того, чтобы быть жизнеспособным,—должно было бы свободно вырабатываться в народной среде. Оно будет прилагать старые теории там, где новые формы общественности должны *вырабатываться* всем обществом, с тою творческою силою, которая родится в общественном организме, когда он разбивает свои оковы и видит перед собою новые, широкие горизонты. Люди, стоящие у власти, задержат эти общественные порывы. И, вместе с

---

[1]) Насколько для создания новой, только еще создающейся организации, требуются именно *местные силы*, именно *коллективный ум местных профессиональных работников во всех областях;* и насколько центральное правительство *не может* заменить их, мы убеждаемся теперь во-очию во всех отраслях хозяйственной жизни, из опыта русской революции *(Прим. 1919-го года).*

тем, они не сделают того, что могли бы сделать, если бы оставались в пароде и вместе с ним вырабатывали новые формы зарождающейся организаци, вместо того, чтобы сидеть в канцеляриях и заниматься бесплодными спорами. Правительство будет в этом помехой и опасностью; оставаясь бессильным, чтобы сделать что-нибудь хорошее, оно сможет наделать очень много дурного. Поэтому, лучше, чтобы его вовсе не было!".

Как-бы ни было естественно и правильно это рассуждение, однако оно наталкивается на вековые предразсудки, созданные и упроченные и университетской, и церковной наукой, и всеми теми, кому выгодно поддерживать поклонения правительству, рядом с поклонением церковным.

Этот предразсудок—последний из ряда; Идолопоклонство, Собственность и Правительство. Но он еще очень живуч, и составляет серьезную опасность для будущей революции. Правда, и он тоже поколеблен.—„Мы устроим свои дела сами, не ожидая правительственных распоряжений, и просто перешагнем через тех, кто, в виде-ли попа, собственника или чиновника, захочет нам навязать свою волю",—так говорит уже часть рабочих, особенно во Франции. Мы можем, поэтому, надеяться, что если анархическая партия будет продолжать энергично бороться с верою в правительственную власть, если она не сойдет с своего пути и не увлечется борьбой за власть, то в течении тех лет, которые отделяют еще нас от революции, правительственный предразсудок настолько поколеблется, что уже не в силах будет увлечь народные массы на ложный путь.

В том, что говорится на рабочих собраниях есть, однако, один печальный пробел, на который мы должны указать. До сих пор ничего, или

почти ничего еще не сделано для деревни. Все ограничилось городами. Для городских рабочих, деревня как будто-бы не существует. Даже те социалисты-ораторы, которые говорят о характере будущей революции, избегают упоминать о деревне и о земле. Они не знают ни крестьянина, ни его желаний, и не решаются говорить от его имени [1]). Нужно ли однако доказывать опасность такого положения? Освобождение пролетариата будет невозможно до тех пор, пока революционное движение не охватит деревень. Восставшие коммуны не смогут продержаться даже года, или нескольких месяцев, если восстание не распространится на деревни. Если революция отменит теперешние налоги, а также перестанет взыскивать оброки за землю, и уничтожит взымавшие их учреждения, то деревня несомненно поймет выгоды революции. Но, во всяком случае, неосторожно было бы расчитывать на распространение революционного порыва из городов в деревни, *не подготовив умы заранее в деревнях.* Нужно теперь же знать, чего хочет крестьянин, как понимает он революцию в деревне, как думает решить запутанный вопрос земельной собственности, или, вернее, землепользования. Нужно заранее познакомить крестьянина с тем, что намеревается сделать городской пролетариат. Нужно сказать крестьянину, что ему нечего бояться со стороны городского рабочего. И нужно, чтобы, с своей стороны, городской рабочий привык уважать крестьянина и идти с ним вместе, согласно, для общего освобождения.

---

[1]) Писано в 1883-м году.—С тех пор кое-что было сделано в России, хотя идеология очень многих социалистов все-таки осталась *городскою,* даже в России, где девять-десятых населения—крестьяне-земледельцы. На западе-же почти ничего не сделано. *(Прим. 1919-го года).*

Но для этого рабочие должны *взять на себя обязанность содействовать пропаганде в деревнях.* Нужно, чтобы в каждом городе была особая организация, нечто в роде отдела Ирландской земельной лиги, для пропаганды в крестьянской среде. Нужно, чтобы эта пропаганда считалась такой же обязательной, как и пропаганда в промышленных центрах.

Первые шаги будут трудны; но будем помнить, что от этого зависит успех революции. Она восторжествует только тогда, когда фабричный и сельский рабочий пойдут рука об руку на завоевание *равенства для всех*, на завоевание *счастья, как для деревенских изб, так и для каменных домов в крупных промышленных центрах.*

XII.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС.

I.

Вопрос громадной важности стоит в настоящее время перед Европой. Это—вопрос земельный,—вопрос о том, какую форму примет в ближайшем будущем владение землею и ее обработка. Кому будет принадлежать земля? Кто и как будет ее обрабатывать?

Никто, конечно, не станет отрицать значения этих вопросов. Никто—если только он внимательно следит за тем, что происходит в Ирландии, Англии, Испании, Италии, в некоторых частях Германии и в России—не станет отрицать и того, что вопрос этот—действительно, именно теперь—стоит перед нами во всей своей важности. В глухих деревнях, в среде презираемого до сих пор земледельческого населения, готовится громадный переворот.

Самым сильным из всех возражений против социализма было до сих пор то, что хотя социальный вопрос действительно глубоко затрагивает городских рабочих, но для деревни он не имеет никакого значения; что, если городские рабочие легко воспринимают мысль об уничтожении частной собственности и горячо стремятся к экспроприации фабрик и заводов, то совер-

шенно иначе стоит дело с крестьянами.—„Крестьяне, говорят нам, относятся к социалистам с недоверием, и если только рабочие потребуют осуществить свои планы, крестьяне быстро заставят их образумиться“.

Действительно, в сороковых и пятидесятых годах девятнадцатого века—по крайней мере в некоторых странах—это возражение могло до некоторой степени казаться справедливым. Известное благосостояние в одних местностях, большая покорность судьбе—в других, приводили к тому, что крестьяне мало проявляли недовольства своей судьбой, или даже совсем не проявляли его.

Но теперь положение уже не то. Сосредоточение части земель в руках более богатых землевладельцев и постоянный рост сельского пролетариата, тяжесть государственных налогов, введение в земледелие крупного машинного производства, конкуренция Америки и Австралии, наконец более живой обмен идей, проникающих теперь даже в самые уединенные поселки—все это привело к тому, что условия земледелия и настроение крестьян сильно изменились за последние тридцать или сорок лет. В настоящее время Европа стоит перед крупным земельным движением, которое скоро охватит всю ее целиком и придаст будущей революции гораздо большее значение, чем она имела бы, если бы ограничилась одними большими городами.

Кто не читал известий, приходивших в начале восьмидесятых годов из Ирландии? Половина страны восстала тогда против помещиков. Крестьяне перестали платить арендную плату; даже те, которые готовы были платить ее, не смели этого делать из страха перед „Аграрной Лигой“ (Земельным Союзом), т.-е. могуществен-

ным тайным обществом, имевшим свои разветвления в деревнях, каравшего каждого, кто изменял его лозунгу: „Отказ от платежа аренды". Помещики больше не смели требовать арендной платы, и в 1880 году в английских газетах открыто признавали, что если бы помещики захотели взыскать все то, что им должны были крестьяне, то им пришлось бы выставить армию в сто тысяч полицейских, что, конечно, вызвало бы восстание. Если какой-нибудь помещик выгонял неплатившего ему крестьянина, то для того требовалось не менее сотни полицейских, потому что приходилось бороться с сопротивлением, пассивным или вооруженным, нескольких сот соседних крестьян. Если даже удавалось выжить неплательщика, то помещик все равно не мог найти другого крестьянина, который решился бы занять освобожденную ферму [1]).

Наконец, если он и находил такого, то новому фермеру скоро приходилось сбежать, потому что скот его убивали, хлеб жгли, а самого его нередко приговаривали к смерти члены Земельной Лиги, или какое-нибудь другое ирландское тайное общество. Для самих помещиков положение становилось нестерпимым; в некоторых окру-

---

[1]) В Ирландии и в Англии земли помещиков поделены на фермы, от 20 до 200 десятин, причем на каждой ферме имеется изба и сельско-хозяйственные постройки. В Ирландии фермы—большею частью небольшие, и на земле имеется только маленькая избенка, сложенная часто из дикого камня, или из дерна. Арендная же плата везде очень высока, и фермеры очень бедны. Движение в Ирландии стало так сильно в восьмидесятых годах, и столько было поразительных по своей смелости аграрных (земельных) убийств, что министерство Гладстона провело закон, совершавший целую революцию в английских законах о собственности. В случае жалобы фермера, арендную плату определял мировой судья. *(Прим. 1919-го года).*

гах цены на землю понизились на две трети; в других, помещики оставались собственниками только по имени: они не смели жить в своих поместьях, иначе как под охраной отряда полицейских помещавшихся в железных будках у ворот барской усадьбы. Земля оставалась без обработки; и в течение 1879 года площадь обработанной земли сократилась на 33.000 десятин, потеря для землевладельцев на цене хлеба, по словам „Financial Reformer"—была не меньше ста миллионов рублей.

Положение было тогда настолько серьезно, что Гладстон, прежде чем принять министерство, формально обязался перед ирландскими представителями в Парламенте внести законопроект, в силу которого земли теперешних собственников должны быть экспроприированы в видах общественной пользы, с тем, чтобы обратить их в собственность всего ирландского народа, и чтобы продавать их крестьянам, на выкуп ежегодными взносами, в течении 25 лет. Но само собою разумеется, что такой закон не был принят английским парламентом, потому что он нанес бы, вместе с тем, смертельный удар принципу земельной собственности в самой Англии [1]).

Нельзя, поэтому, предвидеть, чтобы столкновение между крестьянами и землевладельцами разрешилось мирным путем. Возможно, конечно, что общее восстание крестьян будет предотвра-

[1]) Гладстону так и не удалось провести этого закона. Ему удалось только провести закон, по которому мировые судьи, в случае жалобы крестьянина, могли понижать по своей воле арендную плату. Консерваторы провели в 1903 году закон об обязательной продаже помещичьих земель крестьянам, но назначили такие цены (от 25-и до 35 раз годовую аренду), которые совершенно разорят ирландских крестьян. *(Прим. 1919-го года).*

щено, как оно было предотвращено в 1846 году; но так как положение не только не улучшается, но скорее даже ухудшается, то можно сказать, что недалек день, когда у ирландского народа лопнет терпение, после стольких страданий и стольких неисполненных обещаний. Пусть только настанет удобный случай—какое-нибудь временное расстройство государственной власти в Англии — и ирландские крестьяне, возбуждаемые тайными обществами и поддерживаемые мелкой деревенской буржуазией (которой очень хотелось бы разыграть в свою пользу новый 1793 год), выйдут, наконец, из своих лачуг и сделают то, что им советуют теперь их агитаторы. Они будут поджигать помещичьи усадьбы, собирать в свои амбары помещичий хлеб и, прогнав помещичьих слуг и уничтожив межевые знаки, начнут завладевать землею, которую они обрабатывали столько лет на пользу господ.

Если мы перенесемся на другой конец Европы,—в Испанию, мы найдем там подобное-же положение. С одной стороны,—например, в Андалузии и в Валенсии, где земельная собственность сосредоточилась в немногих руках, голодные крестьяне, соединяясь в Союзы, уже ведут войну с помещиками. Темной ночью уничтожаются стада собственника, сжигаются сразу на протяжении целых сотен десятин саженые леса; горят амбары; а тот, кто донесет начальству на виновников, и алькальд, который посмеет преследовать их, падают от ножей лиги. В Валенсии не прекращаются стачки мелких фермеров, отказывающихся платить аренду, и горе тому, кто изменит этому взаимному обязательству! В прокламациях, развешиваемых ночью на деревьях, сильная тайная

организация постоянно напоминает своим членам, что если они изменят общему делу, им грозит жестокое наказание: уничтожение их хлеба и скота, а часто и смерть.

В местностях, где собственность более раздроблена, испанское государство само берет на себя задачу вызывать недовольство. Оно угнетает мелкого собственника всевозможными налогами, национальными, провинциальными, муниципальными, обыкновенными и экстренными, так что мелкие фермы, конфискованные государством и продаваемые с торгов (причем покупателей не находится), насчитываются десятками тысяч. Во многих провинциях население деревень совершенно раззорено; голод заставляет толпы крестьян собираться и восставать против налогов.

То же положение и в Италии. Во многих провинциях земледелец совершенно раззорен. Доведенный государством до нищеты, мелкий собственник перестает платить налоги и государство неумолимо конфискует его клочек земли. За один год была отобрана таким образом земля у 6.644 мелких собственников. Нет ничего удивительного, если в этих местностях бунты не прекращаются. То какой-нибудь фанатик, проповедующий религиозный коммунизм, поведет за собою тысячи крестьян, и рассеять толпу этих сектантов могут только солдатские пули; то целая деревня захватывает сообща необработанные земли какого-нибудь помещика и начинает обрабатывать их для себя; то, наконец, толпы голодных крестьян являются к сельской ратуше и, под угрозой восстания, требуют хлеба и работы.

Пусть нам не говорят, что это—единичные случаи! Разве восстания французских крестьян до мая 1789 года были более всеобщими? Менее многочисленные и менее сознательные вначале,

они оказались тем не менее почвой, на которой выросла впоследствии революция больших городов!

Наконец, на восточной окраине Европы, в России, земельный вопрос принимает форму, во многих отношениях напоминающую нам положение Франции до 1789 года. Крепостное право там уничтожено, и каждая земельная община владеет землею; но эти земли по большей части так плохи и так недостаточны по количеству жителей; выкуп, который община платит помещику, так непропорционально велик, сравнительно с ценностью земли; а подати, которыми государство облагает крестьян, так тяжелы, что в настоящее время, по крайней мере три-четверти крестьянского населения находятся в страшной нужде. Хлеба не хватает, и достаточно одного неурожая, чтобы голод стал опустошать громадные пространства.

Но крестьянин уже перестал безропотно переносить свое положение. Новые идеи и стремление к лучшему будущему зарождаются в деревнях, которые уже связаны с крупными центрами сетью железных дорог. Крестьянин ждет со дня на день, что какое-нибудь событие уничтожит выкуп и поземельный налог и отдаст в его руки *всю* землю, которую он считает принадлежащею ему по праву. Если-бы какой-нибудь Артур Юнг проехал теперь по России, как он проехал по Франции накануне 1789 года, он услыхал бы те же самые пожелания, те же самые слова надежды, которые он отметил в своем „Путешествии". В некоторых губерниях глухое брожение проявляется в форме прямой войны с помещиками, и стоит только каким-нибудь политическим событиям дезорганизовать власть и разжечь страсти, чтобы деревенские бедняки, может быть с помощью и поддерж-

кой мелкой сельской буржуазией, развивающейся с удивительной быстротою, начали ряд земельных бунтов. Затем, когда, хотя и без всякого пред‘установленного плана и без всякой предварительной организации, эти бунты распространятся повсюду, перекрещиваясь друг с другом, изводя войско и правительство, затягиваясь на целые годы, они смогут положить начало и придать большую силу гигантской революции, со всеми ее последствиями для целой Европы [1]).

Но если аграрный вопрос ставится в этих странах в таких грандиозных формах; если старая Европа окажется в один прекрасный день охваченной, как огненным кольцом, этими крестьянскими бунтами; если в названных странах произойдет в широких размерах экспроприация помещиков,—то не отзовется-ли это и на центре Европы, на так-называемых цивилизованных государствах? Сомнения в этом быть не может. Когда мы, в ближайшей главе, рассмотрим положение аграрного вопроса в Англии, во Франции, в Германии, в Швейцарии, когда мы изучим влияние нового фактора, уже вызывающего тревогу в Англии: введение машинного производства хлеба, наподобие американского и австралийского; когда, наконец, мы бросим взгляд на новые идеи, проникающие в умы крестьянского населения тех стран, которые считают себя оплотом цивилизации,—мы увидим, что аграрный вопрос ставится, хотя и в различных формах, во

[1]) Писано в восьмидесятых годах 19-го века. С тех пор, крестьянское восстание 1906 года (ценные данныя о его характере и распространении даны в журнале Вольного Экономического Общества) и, наконец, революция 1917—1919 г. вполне подтвердили эти слова *(Прим. 1919 года)*.

всей Европе, в Англии как и в России, во Франции как и в Италии. Мы увидим, что теперешнее положение становится нестерпимым и долго продолжаться не может, что недалек день, когда общество должно будет преобразоваться в самых своих основаниях и уступить место новому порядку вещей: такому, при котором, вследствие глубоких изменений в формах собственности и земледелия, земледелец уже не будет больше, как теперь, парием общества; что он, на ряду с другими, займет свое место на пиру жизни и умственного развития; и деревня, перестав быть убежищем невежества, сделается очагом, который будет разливать вокруг себя жизнь и благосостояние.

II.

В предыдущей главе мы видели, в каком плачевном, вернее ужасном, положении находится земледелец—крестьянин в Ирландии, в Испании, в Италии и в России. Про эти страны сомнения быть не может: аграрное восстание стоит в них на очереди. Но и в тех странах, которые считают себя особенно цивилизованными, как Англия, Германия, Франция и даже Швейцария, положение земледельческого населения также становится все более и более невыносимым.

Вот, например, Англия. Двести лет тому назад земледелец, обрабатывавший принадлежащий ему кусок земли, еще пользовался там некоторым благосостоянием. Теперь, это — страна крупных помещиков, владеющих баснословными богатствами, и сельского пролетариата, доведенного до нищеты.

Четыре-пятых всей годной для обработки земли, т. е. 22 миллиона гектаров, составляют собственность кучки крупных владельцев в 2.340

человек; 370 лордов владеют третью Англии; какой нибудь маркиз может проехать больше ста верст, не выезжая из своих владений, а один граф оказывается собственником целой провинции. В то же время все остальные владельцы, т. е. около полу-миллиона семей должны довольствоваться меньше чем одною третью десятины на каждую—т. е., в сущности домом и маленьким садиком.

Две—тысячи — триста сорок семей получают баснословные доходы, от 40.000 до четырех миллионов золотых рублей в год; маркиз Вестминстерский и герцог Беджордский получают за принадлежающие им земли по 10,000 рублей в день, т. е. больше 400 рублей в час—больше, чем рабочий зарабатывает в год; и в то же самое время сотни—тысяч семей земледельцев зарабатывают, ценою тяжелого труда всего от 120 и до 400 рублей в год [1])!

Земледелец, т. е. тот, благодаря кому земля производит, считает себя счастливым если, проработав 14 или 16 часов в день, получит от 4-х до 8-ми рублей в неделю, т. е. ровно столько, чтобы не умереть с голоду.

Непозволительные богатства и безумные расходы—доля тунеядца. Вечная нужда—доля земледельца.

Разные составители книг наверное скажут вам, что благодаря этому сосредоточению собственности в немногих руках Англия сделалась

---

[1]) Теперь, их заработки несколько повысились; но в течение восьмидесятых годов 9 шиллингов (т. е. 4 р. 50 к.) в неделю было обычным заработком рабочего на фермах, Он редко доходил до 12-и шиллингов (6 рублей), и теперь, при теперешней дороговизне, редко превосходит 20 шилл.. т. е. 10 рублей *(Прим. 1919 года)*.

в короткое время страной самой усиленной, самой производительной обработки земли. Крупные лорды, не имея возможности обрабатывать землю сами, отдают ее, довольно большими участками, в аренду фермерам, а эти фермеры, скажут вам, превратили свои фермы в образцы рационального земледелия.

Это было верно несколько времени тому назад, в середине 19-го века; но теперь это уже не так.

Во-первых, неизмеримые обширнейшие площади земли остаются совершенно необработанными, или же превращаются в парки, чтобы помещик мог осенью охотиться там со своими гостями; на этих землях могли бы кормиться тысячи людей. Но собственнику до этого нет никакого дела: ему доставляет удовольствие иметь парк в несколько десятков квадратных верст, и он отнимает эту землю у земледелия [1]).

Рядом с этим громадные пространства, которые когда то обрабатывались, теперь превращены в обширные луга для разведения рогатото скота и овец. Тысячи и тысячи земледельцев были „устранены“, т. е. прогнаны помещиками и их поля, кормившие населения, превращены в луга, которые служать теперь для того, чтобы разводить быков, т. е. добывать мясо — пищу богатых. Площадь засеянной земли постоянно уменьшается. В 1866-м в 1869-м году в Англии были засеяны пшеницей 1.460.000 десятин; теперь ею засеяно всего 1.100.000 десятин. Пятнадцать

---

[1]) За последние время — такие парки стали сдаваться богатым буржуа, чтобы они—«точно как лорды»—могли приглашать своих знакомых на охотничьи партии. (*Прим. 1919 года*).

лет тому назад с каждого гектара собиралось там 26 гектолитров; теперь собирается всего 22 [2]).

Даже фермеры, обрабатывающие от 50 до 100 и больше десятин, даже эти мелкие буржуа, мечтающие стать в свою очередь помещиками и вести спокойную жизнь насчет чужого труда, даже они теперь раззоряются. Изнемогая под тяжестью аренды, которую заставляет их платить жадность помещиков, они не могут больше улучшать свою культуру и бороться с американской и австралийской конкурренцией, так что газеты полны об'явлений о продаже этих ферм с торгов.

Итак, вот каково положение: громандное большинство народа изгнано их сел и скучено в больших городах и мануфактурных центрах, где бедняки ведут ожесточенную конкурренцию д руг с другом и сбивают цены за свой труд. Земля находится в руках горсти помещиков, получающрх баснословные доходы и тратящих их, как попало — на безумную, непроизводительную роскошь. Посредники, т. е. фермеры, стремятся сделаться мелкими помещиками; но они раззоряются, благодаря непомерной арендной плате и готовы идти рука об руку с народом, чтобы отобрать землю у крупных собственников. И это ненормальное положение земельной собственности отзывается на всей жизни страны.

---

[1]) Писано в 1880 году. С тех пор, площадь засеваемой в Англии земли все сокращалась и дошла в 1907-м году всего до 601.010 десятин (705,200 в 1911 г.); но за то уменьшены яровые посевы. *Вся же* площадь под хлебами уменьшилась с 1874 года на 925,000 десятин, т. е. почти на одну-шестую часть. Подробнее об этом читатель найдет в книге Поля, Фабрики и Мастерские, изд. 1918-го года. (*Прим 1919 г.*).

Что-же удивительного в том, что „Национализация земли“ становится теперь лозунгом, об‘единяющим всех недовольных? Еще в 1869 году, сильная *Лига Земли и Труда* требовала, чтобы все земли крупных помещиков были конфискованы всем народом, и теперь эта мысль с каждым днем завоевывает себе новых и новых последователей. *Лига сельских рабочих*, насчитывающая 150.000 членов, в начале ставила себе единственной целью поднятие заработной платы путем стачек, а теперь она же требует отнятия земель у помещиков.

Наконец, ирландская *Земельная Лига* начинает распространять свое влияние на Шотландию Уэльс, и Англию, и везде встречает сочувствие. А нам известно, каковы приемы этой Лиги. Она начала с того, что об‘явила, что арендная плата крупным собственникам отныне, по решению Лиги, понижается на одну четверть. Всевозможными мелкими мерами, а в случае нужд и силою, она мешает выселять фермера, который не захочет платить больше трех-четвертей арендной платы, и запугивает тех, кто из трусости вздумает платить всю сумму. Затем, когда силы ее возросли, она заявила что помещику больше ничего платить не следует, и начала вооружать крестьян для исполнения этого решения. Придет время— и она сделает то, что сделали французские крестьяне от 1789 до 1793 года: мечом и огнем она принудит помещиков отказаться от своих прав на земли.

Какая же новая форма собственности получится в исходе революции в Англии? Трудно предсказать это теперь, потому что размеры влияния революции будут зависеть от продолжительности революционного периода, а в особенности от силы сопротивления, какое встретят револю-

ционные идеи со стороны аристократии и буржуазии. Одно несомненно: это то, что Англия идет понемногу к уничтожению частной *собственности* на землю; сопротивление-же, которое эта мысль встречает со стороны владеющих землею, едва-ли даст этому перевороту совершиться мирным путем, чтобы заставить подчиниться своей воле, английский народ вероятно прибегнет к силе.

III.

Франция.—Мои деревенские читатели французы, вероятно от души посмеются, когда прочтут то, что пишут об них в великолепных книгах, издаваемых господами депутатами и политико-экономами в больших городах. В этих книгах говорится, что почти все французские крестьяне богаты и довольны своею судьбою, что у них достаточно земли, и скота, что земля приносит им большие доходы; что они легко платят налоги, к тому же довольно незначительные; и что арендные цены не особенно высоки; что они каждый год делают сбережения и не перестают обогащаться.

Я думаю, что крестьяне скажут, что те, кто держит эти речи—просто глупые люди, и они будут правы.

Разберем в самом деле, из кого состоят двадцать-три или двадцать-четыре миллиона сельского населения, и посмотрим, сколько в числе их таких, которые довольны своею судьбою и не желают никаких изменений.

Во-первых, имеется восемь тысяч крупных земледельцев (с семьями, это составит приблизительно 40.000 человек), владеющих, особенно в Пикардии, в Нормандии и в Анжу, имениями.

приносящими им от десяти до двухсот тысяч франков в год, и даже больше.

Этим, конечно, жаловаться не на что. Они проводят несколько летних месяцев в своих имениях, получают там доход, заработанный тяжелым трудом наемных рабочих, фермеров, или половников; а затем уезжают растрачивать эти деньги в города. Там они пируют с женщинами, которым бросают деньги пригоршнями, и тратят в один день в своих дворцах столько, что на это могла бы прожить полгода целая крестьянская семья. Да, им конечно, плакаться нечего; если они и жалуются на что нибудь, то только на то, что крестьянин становится с каждым днем все менее и менее сговорчивым, и отказывается работать за-даром.

Об этих людях мы говорить не будем. С ними будет разговор во время революции.

Ростовщики, продавцы скота, скупщики и продавцы земель, все эти коршуны, налетающие на деревню, пришедшие когда то из города с котомкой за плечами, а теперь возвращающиеся туда в качестве помещиков и банкиров; нотариусы и адвокаты, создающие процессы; инженеры и тучи различных чиновников, черпающие не считая, из государственных общинных сумм, если только какая-нибудь община вздумает, под давлением заинтересованных лиц, войти в долги, чтобы украсить деревню около дома господина мэра,—словом, все эти паразиты, смотрящие на деревню как на богатую страну дикарей, созданную для эксплуатации,—все они не имеют никаких оснований жаловаться. Если с ними заговорить о том, что следует изменить что бы то ни было в деревнях, они конечно будут противиться всеми

силами. Все, что нужно этим грабителям, это—чтобы существовали крестьяне, раззоряющиеся на векселях, фермеры, беднеющие от процессов и вообще, чтобы имелись деревенские жители, которые позволяли бы окружающим паукам высасывать из себя кровь. Все, что нужно чиновникам, это—чтобы были общины, живущие по указке мэра, и государство, расходующее общественные деньги: они сумеют ими попользоваться. Если французский крестьянин будет окончательно раззорен, эти люди переселятся в Венгрию, в Турцию, если нужно в Китай, чтобы там продолжать то же самое. Ростовщичество не имеет родины.

Эти люди, конечно, ни на что не жалуются.—Но сколько их? Пятьсот тысяч? Может быть, миллион, считая их вместе с семьями? Этого более чем достаточно, чтобы в несколько лет раззорить наши деревни; но слишком мало для того, чтобы сопротивляться крестьянину, когда он пойдет против них с вилами.

Затем идут собственники, имеющие от 50 до 200 десятин. Большинство из них, конечно, не знает, что именно угнетает их, и если с ними заговорить о какой-нибудь перемене, они прежде всего испугаются, как бы не потерять того, что имеют. Если они бывают по временам в стесненном положении, то всегда надеются на какую-нибудь удачу в будущем. То, может быть, подвернется какая-нибудь выгодная спекуляция, или найдется, помимо занятия земледелием, еще какая-нибудь доходная должность; а не то—кончит жизнь самоубийством какой-нибудь богатый родственник—и благосостояние опять вернется. Вообще, лишения им неизвестны, и труд—тоже. Они не занимаются обработкою земли: для этого у них есть батраки, которым платят 250 или 300 рублей за труд, стоящий тысячу.

Эти люди будут—мы в этом нисколько не сомневаемся—врагами революции; они уже и теперь враги

свободы, опора неравенства, столпы эксплуатации. Они, правда, образуют собою довольно значительное ядро— 200.000 собственников, а вместе с семьями около 800.000 человек—и представляют в деревнях настоящую силу. Государство придает им большое значение, а их достаточность доставляет им в деревнях влияние, которым они охотно пользуются. Но —что представят они собою в виду, в случае народной революции? Сопротивляться ей они, конечно, будут не в силах, а потому они благоразумно спрячутся по домам и будут ждать, пока пройдет буря.

Крестьяне, имеющие от 10 до 50 десятин, уже значительно более многочисленны. Они одни составляют около 250.000 собственников; т. е., вместе с семьями, 1.200.000 человек. Они владеют почти четвертью всей пахотной земли Франции.

Это ядро составляет в деревнях значительную силу, и по своему влиянию, и по своей энергии. В то время, как собственники предыдущего разряда часто живут в городах, эти обрабатывают свою землю сами; они до сих пор остаются крестьянами. Вот на их дух косности—консерватизма—и рассчитывают реакционеры.

Было, правда, время—в первой половине XIX века— когда этот разряд крестьян пользовался некоторым довольством: тогда было совершенно естественно, что этот класс, возникший благодаря Великой Революции и стремившийся прежде всего сохранить то, что она ему дала, упорно отказывался от всяких перемен, из боязни потерять приобретенное. Но за последнее время условия сильно изменились. В некоторых частях Франции (на юго-западе, например) крестьяне этого разряда до сих пор еще живут в сравнительном довольстве, но в других местах повсюду они уже жалуются на свое положение. Делать сбережения стало для них невозможным; расширять свои владения, постоянно дробящиеся благо-

даря разделам между наследниками, становится все труднее. Не находят они больше и клочков земли для снятия в аренду на таких выгодных условиях, как раньше: арендная плата страшно повысилась.

Владея маленькими участками земли, расположенными в разных местах, они не могут получать с земли столько, сколько нужно, чтобы покрыть все расходы, лежащие на земледельце. Хлеб дает мало, доход от разведения скота тоже мал.

Государство угнетает их налогами, не щадят их и муниципальные управления: телега, лошадь, молотилка, удобрение—все обложено налогами; „добавочные сантимы" превращаются во франки, и список налогов оказывается таким же длинным, как при покойной королевской власти. Крестьянин снова стал вьючным животным государства.

Ростовщики раззоряют их, векселя гнетут; отдача земли под залог убивает крестьянина, а городской фабрикант эксплуатирует, заставляя платить за каждый инструмент втрое, вчетверо больше, чем он стоит. Им еще кажется, что они—собственники своего клочка земли, но в сущности, они—только доверенные арендаторы: их труд идет на то, чтобы обогащать ростовщика, кормить чиновника, доставлять шелковые платья и экипажи жене фабриканта, и вообще облегчать жизнь всем городским тунеядцам.

Неужели вы думаете, что крестьяне этого не понимают?—Напрасно! Они отлично понимают все и, как только почувствуют себя силою, не упустят случая стряхнуть с себя паразитов, живущих на их счет.

Но все это составляет только десятую долю сельского населения. А остальное?

Остальное, это—около 4 миллионов семей (т. е. около 18.000.000 человек), владеющих кусками земли в пять, в три, часто в одну десятину, или даже в де-

сятую долю десятины, а очень часто не имеющих и ровно ничего. Из этого числа, 8 миллионов человек с величайшим трудом сводят концы с концами, обрабатывая две или три десятины. Каждый год им приходится высылать в город десятки тысяч своих сыновей и дочерей, чтобы с трудом зарабатывать там свой хлеб. Семь миллионов владеют ничтожными клочками зѐмли—т. е. домом с маленьким садиком, или же не имеют ровно ничего и обеспечивают себе существование—несомненно очень тяжелое—работая в качестве наемников. Наконец, еще миллион представляет собою живущих в проголодь, изо дня в день, питающихся сухим хлебом, или картофелем... когда он есть. Таков главный состав населения французских деревень [1]).

---

[1]) В виду очень большей разницы в цифрах, касающихся распределения собственности во Франции, мы приводим несколько выдержек из статьи Эжена Симона, напечатанной в 1885 году в одном из пропагандистских номеров „Радикальной Республики".

— Если не считать—писал он—площади, находящейся под постройками и садами, которая занимает миллион десятин и принадлежит восьми миллионам собственников, то земледельческая территория Франции оказывается принадлежащей наперекор установившемуся мнению и шаблонным фразам, гораздо меньшему числу лиц, чем обыкновенно думают. По словам Самгэ—председателя общества топографии участков (Societé de topographie parcellaire), согласившегося сделать для нас эти вычисления, до сих пор насколько нам известно не сделанные, на 8.547.285 собственников, которых насчитывает Франция, 4.392.500 платят меньше 5 франков налога, который при этом часто нельзя бывает взыскать. Все вместе взятые, они получают только 5 процентов общего земельного дохода Франции. О них не стоит даже говорить. — За ними следуют 2.993.450 собственников, платящих от 5 до 30 франков, т. е. в среднем 13 франков, и получающих, в общей сумме, 22½ процента земельного дохода. Это—такая мелкая собственность, что владеющие ею часто могут назваться, вместе с тем, и пролетариями. — Третья категория заключает в себе 1.095.850 собственни.

Вся эта масса совершенно не принимается в рассчет политико-экономами. Но для нас она—все. Именно она составляет деревню; все остальное — придатки, паразитные грибы, наросшие на старом дубе.

ков, платящих уже от 30 до 300 франков и получающих 47 процентов общего дохода. Это составляет на каждого, в среднем, 1730 франков.

Наконец, в последнюю четвертую категорию входят 65.525 землевладельцев, платящих 300 и больше франков налога и пользующихся 25 процентами общего поземельного дохода, т. е. имеющих, в среднем, 15.700 франков дохода на каждого. Это—крупные собственники. А так как земли, составляющие крупную собственность, как-то леса, пустоши, пастбища и т. д., приносят гораздо меньше дохода, чем другие, то мы можем сказать, что эти 65.525 собственников, хотя они и получают всего четверть общего дохода, владеют в сущности больше, чем половиной всей земельной площади. Тот же вывод можно сделать и из крайне интересной статьи о международной статистике, написанной Тубо (Toubeau) в 1873 году и напечатанной в „Revue positive", за июль—август 1882 года. По его рассчету, около 40 миллионов десятин находятся в руках крупных и средних собственников, земледелием не занимающихся. Из остающихся 10 миллионов, 2 миллиона распределяются между большими фермами по 200 гектаров в среднем на каждую, и обрабатываются самими владельцами; а 4 миллиона составляют достояние крестьянского населения приблизительно в два миллиона человек...—Но особенно заметна раздробленность на земельных участках в пять, в две и даже в одну десятину; здесь она усиливается, развивается и принимает почти ужасающие размеры. Участки земли обращаются в какие-то клочки и отрывки, которые трудно, если не окончательно невозможно, обрабатывать и которые скорее раззоряют, чем обогащают тех, кто ими владеет. От этих клочков отрываются каждый год, вследствие продажи с молотка, от пятнадцати до семнадцати тысяч десятин, при чем суммы, получаемой от этой продажи, не хватает на покрытие расходов по продаже. „В сущности, из наших 50 миллионов гектаров не больше семи миллионов— писал Тубо—(считая 10.000 больших ферм в 200 гектаров каждая и те клочки земли, о которых я только что гово-

И вот об этих-то крестьянах говорят, что они богаты, вполне довольны своею судьбою, не стремятся ни к каким переменам—что они отвернутся от социалистов.

Заметим, во-первых, что когда мы обращались к крестьянам и высказывали им свои мысли вполне откровенно, понятным для них языком, они никогда не отворачивались от нас. Правда, мы не приглашали их назначить нас на место депутата в Палате, или даже хотя

рил) принадлежат тем, кто обрабатывает их непосредственно. Обо всем же остальном можно сказать, что это—собственность тунеядцев, живущих доходами с капитала и вообще посторонних земледелию.—Гибельное для земледелия, это положение не менее гибельно и для самого населения: из 7—8 миллионов работников, живущих в наших деревнях (за вычетом 11 миллионов детей и неспособных к труду), всего 1.754.944 человека обрабатывают сами свои земли и обрабатывают только их, т. е. получают доход, позволяющий им жить, не работая, на чужой земле.—Все же остальные фермеры, половники или поденщики, даже если у них и есть какие-нибудь свои клочки, могут быть названы пролетариями. Их средства к существованию зависят от каприза или от жадности господина, живущего доходами со своих капиталов: и им остается на выбор: или эмигрировать, или подчиняться его воле.

„Трудно себе представить худшее и более гибельное положение дел.

„Больше сорока миллионов гектаров находятся—еще и еще раз повторяю—в руках людей, чуждых земледелию".—„Из этого следует", заключал Тубо, „что значительная доля этой площади, или целиком, или отчасти, остается без обработки.—У крупных собственников есть другие источники доходов помимо их имений, и, не будучи вынужденными их эксплуатировать, они пользуются своим правом оставлять их впусте. (Изд.).

Это весьма ценное примечание было вставлено таким знатоком земледельческой Франции, как Элизе Реклю, когда он выпустил первое издание этой книги в бытность мою в тюрьме.

бы в сельские сторожа; мы не развивали им пространных теорий якобы „научного“ социализма; не говорили мы и о том, чтобы они посылали своих сыновей в Париж, вращаться в обществе адвокатов, заседающих в Палате. Еще менее того советовали мы им передать свой клочек земли в руки государства, которое будет раздавать землю кому ему вздумается, по прихоти целой армии чиновников. Если бы мы говорили подобные глупости, крестьяне конечно отвернулись бы от нас—и были бы совершенно правы.

Но когда мы об‘ясняли им,—что такое, по нашему мнению, революция, они всегда соглашались с нами и говорили, что думают совершенно также.

Говорили же мы им,—и будем говорить вот что:

„Когда-то земля принадлежала общинам, члены которых сами, собственными руками обрабатывали ее. Но затем, путем разного рода мошеннических проделок, ею завладели посторонние, путем силы, законов, обмана, спекуляции и ростовщичества. Все эти земли, принадлежащие теперь господину такому-то или госпоже такой-то, были когда-то землями общинными. Теперь, они нужны крестьянину для обработки, для того, чтобы он мог кормиться со своей семьей. Между тем, богач сам не обрабатывает этих земель, а злоупотребляет своей собственностью, чтобы доставлять себе барские удовольствия. Нужно, поэтому, чтобы крестьяне, организовавшись в общины, взяли эти земли обратно и предоставили их тем, кто хочет сам их обрабатывать.

„Залог земли—громадная несправедливость. Никто, из-за того только, что он дал вам взаймы денег, не имеет права присвоить себе землю, вся ценность которой зависит от труда ваших отцов, расчистивших леса, построивших деревни, проложивших дороги, осушивших болота. Если эта земля производит что-нибудь теперь,

то только благодаря вашему труду. Поэтому, когда организуется всеобщий союз крестьян, он сочтет своею обязанностью сжечь все закладные и навеки уничтожить это возмутительное учреждение.

„Налоги, давящие вас, поглощаются шайками чиновников, не только бесполезных, но явно вредных. Поэтому, уничтожьте их. Провозгласите свою полную независимость и заявите, что вы сами с'умеете устроить свои дела лучше, чем все парижские франты, вместе взятые.

„Вам нужна дорога?—Пусть же жители соседних общин сами сговорятся между собою; и тогда они проведут дорогу лучше, чем господин министр путей сообщения, или кто-нибудь из его продажных чиновников. Хотите иметь железную дорогу?—Заинтересованные в этом общины целой области сделают это во всяком случае лучше, чем предприниматели, наживающие миллионы и строящие плохие дороги.—Нужны вам школы?—Вы их устроите сами и лучше, чем приезжие господа из Парижа. Государству нечего в это вмешиваться: и школы, и дороги, и каналы будут лучше устроены, и с меньшими издержками, вами самими.

„Придется ли вам защищаться от чужеземного нашествия?—Умейте прежде всего защищаться сами и не доверяйте этого дела генералам, которые, может быть, изменят вам. Знайте, что армиям никогда не удавалось остановить неприятельского нашествия, если сам народ, сами крестьяне не хотели сохранить свою независимость. В таком случае народ всегда одерживал победу над самыми могучими армиями.

„Наконец, нужны вам орудия или машины?—Сговоритесь с рабочими из городов—и они пошлют вам их в обмен на ваши продукты, причем оценят их во столько, во сколько они обходятся им самим, не прибегая к посредничеству фабриканта, который обогащается тем, что обкрадывает и рабочего, выделывающего плуг или косилку, и крестьянина, покупающего их.

„Не бойтесь силы правительств. Они только кажутся

такими грозными; на деле же они рушатся от первых же ударов восставшего народа. Уже не раз видали мы, как правительства падали в несколько часов, и мы можем предвидеть, что через несколько лет в Европе вспыхнут революции, которые поколеблят власть правительств. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы свергнуть свое правительство, но главное—чтобы сделать свою революцию,—т. е. прогнать крупных помещиков и провозгласить их землю общим достоянием; разбить ростовщиков, уничтожить закладные и провозгласить свою полную независимость. В это время городские рабочие сделают то же самое в городах. Затем, организуйтесь на началах свободной федерации общин и областей. Но только берегитесь одного: не давайте свести революцию на-нет разным людям, которые явятся к вам в качестве благодетелей крестьянина: делайте все сами, не ожидая ничего ни от кого".

Вот что мы говорили крестьянам. И единственное возражение, которое они нам делали, касалось не сущности наших мыслей, а только возможности их осуществить.

— „Отлично", говорили нам крестьяне: „все это было бы очень хорошо, если бы только крестьяне могли сговориться между собою!"

Так будем же работать для того, чтобы они могли сговориться! Будем распространять наши мысли; будем сеять полными пригоршнями писания, излагающие их; будем заботиться об установлении еще не существующих пока связей между деревнями; и, когда придет день Революции, будем биться с ними вместе и за них!

А день этот гораздо ближе, чем обыкновенно думают.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ ПРАВЛЕНИЯ.

I.

Когда мы рассматриваем человеческие общества, в их основных чертах, оставляя в стороне все второстепенные и временные явления, мы видим, что их политический строй является всегда выражением существующего в них экономического строя. Политическое устройство не меняется по капризу законодателей; оно может, правда, переменить кличку, оказаться сегодня в форме монархии, завтра—в форме республики, причем соответственных внутренних изменений—может не произойти. Оно слагается по образцу экономического строя и приспособляется к нему и всегда оно является выражением его и вместе с тем его опорой и признаком.

Если политический строй какой-нибудь страны запаздывает в своем развитии сравнительно с происходящими в ней экономическими изменениями, он падает и заменяется другим, преобразовываясь так, чтобы подходить к новым экономическим порядкам. Но если, с другой стороны, случится во время революции, что политический строй пойдет дальше экономического, он остается мертвой буквой, формулой, написаной в хартиях, но не имеющей действительного приложения.

Возьмите, например, „Декларацию Прав Человека“. Какова бы не была ее роль в истории, теперь она—не более как исторический документ, и прекрасные слова: Свобода, Равенство и Братство, останутся

мечтою, или будут лживыми словами, начертанными на стенах церквей и тюрем, до тех пор, пока свобода и равенство не лягут в основу экономических отношений. Точно также всеобщее избирательное право немыслимо в обществе, основанном на крепостном праве, как деспотизм невозможен в обществе, основу которого составляет так называемая свобода сделок, или, вернее, свобода эксплуатации.

Рабочий класс Западной Европы отлично понял это. Он знает, или угадывает, что общества не перестанут задыхаться в тисках существующих политических учреждений, пока не будет свергнут теперешний капиталистический строй. Он знает, что, какими бы красивыми названиями не были украшены политические учреждения, они все равно—ничто иное, как возведенные в систему продажность и право сильного, как подавление всякой свободы и всякого прогресса. Он знает, что единственное средство разорвать эти цепи, это—построить экономические отношения на ином основании: на начале коллективной, общей собственности. Он знает, наконец, что для того, чтобы произвести глубокую и *прочную* политическую революцию, нужно произвести революцию *экономическую*.

Но именно благодаря этой тесной связи между строем политическим и строем экономическим, революция в способах производства и распределения продуктов не может, очевидно, произойти, если одновременно с ней не произойдет глубокого изменения в учреждениях, называемых политическими. Уничтожение частной собственности и вытекающей из нее эксплоатации, установление коллективистского или коммунистического строя было бы невозможно при сохранении наших парламентов, или наших монархов. Новый экономический строй требует и нового политического строя. Эта истина настолько теперь понимается всеми, что умственная работа, происходящая в наше время в народных массах, касается нераздельно обеих этих сторон поставленной задачи. Мысль об эко-

номическом будущем сопровождается мыслью о будущем политическом, и рядом со словами коллективизм и коммунизм, мы слышим слова: народное государство, или же свободная коммуна, анархия; государственный коммунизм или же анархический коммунизм и коллективистская коммуна.

Существует одно общее правило: „Если вы хотите учиться успешно, отбросьте прежде всего массу внушенных вам предрассудков!“ Эти слова, которыми один знаменитый астроном начал свои лекции, одинаково приложимы ко всем отраслям человеческих знаний, а к общественным наукам еще в большей степени, чем к естественным, потому что здесь мы с первых же шагов встречаемся с множеством предрассудков, унаследованных от прошлого. С первых же шагов нам приходится отделаться от множества совершенно ложных идей, распространяемых для того, чтобы лучше обманывать народ,— от ряда софизмов, т. е. хитроумных суждений, старательно построенных с целью извращения народного ума. Чтобы с уверенностью идти вперед, нам приходится проделать здесь целую предварительную работу.

Из всех предрассудков этого рода, один, в особенности, заслуживает внимания: он не только лежит в основе всех наших теперешних политических учреждений, но мы находим следы его почти во всех теориях общественной жизни, выдвигаемых сторонниками общественных реформ. Это—предрассудок, в силу которого мы верим в представительный образ правления, в управление народов их уполномоченными.

В конце восемнадцатого века французский народ уничтожил монархию, и последний из самодержавных

королей искупил на эшафоте свои преступления и преступления своих предков.

Казалось, что именно в это время,—когда, благодаря почину и решительности личностей и групп, а также дезорганизации и слабости центрального правительства, было совершено все то, что революция дала хорошего, великого и прочного,—народ не захочет вновь надеть на себя ярмо новой центральной власти, основанной в сущности на тех же началах, что и старая, но только еще более сильной, потому что она свободна от недостатков старого, свергнутого правительства.

Оказалось, однако, далеко не то. Государственные предрассудки и иллюзия свободы и благосостояния, которые якобы обеспечивала английская конституция, установленная в 1688 году, привели к тому, что представители французского народа поспешили выработать себе конституцию, а впоследствии явился целый ряд конституций. В них многократно—в 1793, 1795, 1815, 1848 и 1852-х годах, и т. д.—менялись и разнообразились подробности; но всегда в основании оставалось одно и то же: народом должны были управлять—не он сам, а так или иначе избранные им представители.

Была ли то монархия, или республика—все равно, не народ должен был управлять сам собою, а его представители, его доверенные, более или менее удачно или неудачно выбранные. Мало того. У каждой деревни, у каждого города, у каждой области есть свои особенные потребности, свои особенности жизни, выработанные их прошлым. Но все это должно идти на смарку. Всякое мелкое дело, все хозяйственные дела каждой деревни и каждого города будет решать не сельский сход, как прежде, не жители города, а чиновники государства и представители государственных палат. Таким образом, народ провозглашал свою верховную власть; но тотчас же спешил отказаться от нее. Он выбирал с грехом пополам, депутатов, за которыми,—полагалось—он будет или не будет присматривать, а они, депутаты, возьмут

на себя заведывание всеми бесконечно разнообразными и переплетающимися друг с другом интересами, всеми сложными человеческими отношениями, на всем протяжении страны.

Так поступила Англия после своей революции 1639—1648 года. Так поступила Франция после своей революции 1789—1793 года. И, вслед за ними, то же самое проделали все другие страны Европы. Одна за другой они свергали свои самодержавные монархии и вступали на путь парламентаризма. Даже восточные деспотии движутся по тому же направлению: Болгария, Турция, Сербия пробуют установить у себя конституционный строй; даже в России пытаются сбросить иго правящей кучки придворных и заменить его более мягким правлением собрания представителей, т. е. Государственной Думы, пишущей законы для полутораста миллионов разношерстного населения Российской Империи[1]).

---

[1]) Конечно, всякий раз, когда различные страны, одна за другой, свергали иго самодержавной монархии и ограничивали власть короля или царя, они делали громадный шаг вперед. Народ, которого голос до тех пор заглушался сворою чиновников, толпившихся вокруг престола, впервые имел возможность выставить с в о и требования. Тем более делался шаг вперед, когда народы прогоняли своих королей и провозглашали Республику. Всякий раз, во всякой стране, когда совершался такой переворот, быстро начинало развиваться в народе самосознание, сознание своих прав и своих интересов. Но по мере того, как освобождение от самоволия королей и царей распространяется волной с Запада на Восток, — из Англии и Франции на германские государства, и в этих странах вводится конституционное правление, т. е. народное представительство,—все ярче и ярче выступают громадные, коренные, неисправимые недостатки конституционного строя.

С одной стороны, все настоятельнее выступает необходимость признания н е з а в и с и м о с т и о б л а с т е й—необходимость федерации, как в Соединенных Штатах или Швейцарии, вместо централизованного государства. В Англии, все настоятельнее требуют полной

Хуже всего то, что открывая новые пути, Франция сама впадала в старые ошибки. Когда разочарованный печальным опытом конституционной монархии, народ в один прекрасный день, в феврале 1848 года,—свергнул ее, он тотчас же поспешил избрать новое Собрание, с другим названием которому поручил управлять собою... и которое предало его первому встречному разбойнику,—Наполеону III-му.

Двадцать лет спустя, в 1871 году французский народ опять впал в ту же самую ошибку. Когда Париж, 18 марта 1871 года, об'явил себя свободным и из него бежали и войска и власти, народ не попытался испробовать новую форму жизни, которая облегчила бы установление нового экономическвго строя и которой образец он уже имел во время Великой Революции. Он не вручил жизнь города в руки Секций, т. е. Отделов города (их тогда было сорок восемь), в которых сосредоточилась революционная жизнь города—от них шел тогда почин экономических революционных мер. Народ ликовал, когда слово „Империя“ заменилось словом „Республика“, а это последнее—словом „Коммуна“; но он поспешил опять-таки в этой коммуне ввести ту же централизацию при помощи представительного правления. Он заразил новую идею заплесневелым насле-

---

автономии Ирландия, Шотландия и Уэльс; а сама сила того, что называют Британской Империей, состоит в том, что она—не Империя, а Союз Англии с независимыми, в сущности, Канадой, Австралией, Южной Африкой и т, д. Германская Империя разлагается. Разложение Российской Империи на целый ряд независимых единиц, об'единенных федерациею, как показызает опыт,—точно также неизбежно; и тоже самое уже произошло в Австрии и Турецкой Империи и неизбежно произойдет в ближайшем будущем в Испании и Италии. А с другой стороны становится ясно, что и этого мало: что в каждой части федерации и в каждой коммуне также необходимо самоуправление людей, как в целом федеративном союзе (Прим. 1919 года).

дием прошлого. Он отказался от своего собственного почина в революции и передал его в руки собрания людей, выбранных более или менее случайно, на-спех. Им он поручил то переустройство человеческих отношений, которое одно могло бы придать Коммуне силу и жизненность.

Конституции, периодически разрываемые во Франции, улетают как сухие листья, которые осенний ветер уносит в реку! Но тем не менее, люди опять-таки возвращаются к первым своим увлечениям, и не успеют они разорвать свою шестнадцатую конституцию (их было шестнадцать с 1789 года), как уже спешат создать семнадцатую!

Даже теоретики-реформаторы, смелые в экономической области, требующие полного переустройства существующих форм хозяйственной жизни,—люди, собирающиеся сверху до низу перевернуть производство и обмен и уничтожить капиталистический строй—робеют, едва дойдут до перестройки политической. Как только речь зайдет об их политическом идеале, они робеют, не смеют коснуться системы представительства и стараются, в форме „Рабочего государства“ или „Свободной коммуны“, сохранить во что бы то ни стало управление представителями. Целый народ, целая раса еще упорно стоят за эту систему.

К счастью, однако, некоторый свет начинает проливаться на этот вопрос. Представительное правление существует не только в странах, о которых мы еще недавно почти ничего не знали. Оно испробовано уже в широких размерах в Западной Европе, во всех видах, во всевозможных формах, от ограниченной монархии до революционной коммуны. И вот, теперь начинают замечать, что, хотя оно и возбудило в начале столько надежд, оно сделалось однако повсюду простым орудием интриг и личного обогащения, или же, в лучшем случае,

помехой народному почину и дальнейшему развитию народов. Начинают замечать, что обожание парламентаризма не большего стоит, чем обожание „фамильного превосходства“ и царственных особ. Мало того: начинают понимать, что недостатки представительного правления не зависят исключительно от общественного неравенства; что даже в среде, где все люди имели бы одинаковое право на капитал и на труд, оно привело бы к таким же печальным результатам. И нетрудно предвидеть день, когда это учреждение, возникшее по удачному выражению Дж. Ст. Милля, из стремления защититься от клюва и когтей хищника—короля, уступит место политической организации, вытекающей из действительных потребностей человечества и из того взгляда, что лучшее средство быть свободным, это—не быть представленным никем и ни в каком случае не передавать все свои дела в руки Провидения, или же избранных лиц, а устраивать свои дела самому.

К такому же выводу придет, мы надеемся, и читатель, когда вдумается во внутренние недостатки представительного правления, присущие самой этой системе, каково бы ни было приданное ей название, и каковы бы ни были размеры человеческих групп, в среде которых она прилагается.

II.

„Наши современные нравы обеспечивают нам безопасность от преклонения перед самодержавной монархией“, писал в 1828 году Огюстен Тьерри, „но есть другое преклонение, которого мы должны опасаться: это—увлечение законным порядком и представительным образом правления“ [1]). Почти то же самое говорил Бен-

[1]) „Lettres sur l'histoire de France“, письмо XXV.

там. Но в то время их предупреждения остались незамеченными. Тогда еще верили в парламентаризм, и замечаниям немногих критиков противупоставляли такой, с первого взгляда основательный аргумент: „Парламентский режим еще не показал, что он может дать; судить о нем нельзя до тех пор, пока в основу его не будет положено всеобщее избирательное право“.

С тех пор всеобщее избирательное право вошло в наши нравы. Буржуазия долго боролась с ним; но наконец поняла, что оно нисколько не подорвет ее господство, и согласилась принять его. В Соединенных Штатах всеобщее избирательное право практикуется во вполне свободных условиях, вот уже около века; развивается оно и во Франции, в Швейцарии, в Германии и даже в Италии. Но самая представительная система не изменилась: она осталась тем же, чем была во времена Тьерри и Бентама. Всеобщее избирательное право не улучшило ее, а только сделало ее недостатки более очевидными. Вот почему в настоящее время парламентскую систему критикуют не только революционеры, как Прудон, но и люди такие умеренные, как Дж. С. Милль [1]) или Спенсэр [2]); даже и они кричат: „Берегись парламентаризма!“ Широкая публика имела уже возможность оценить эту систему; и в настоящее время можно было бы, опираясь на общеизвестные и всеми признанные факты, написать целые томы о ее недостатках, в полной уверенности, что это найдет себе отклик в массе читателей. Представительное правление уже было подвергнуто суду—и осуждено.

Его сторонники—а добросовестных, если и недальновидных сторонников его существует не мало—указы-

---

[1]) Свобода и представительное правление.

[2]) Введение в изучение социологии Основания социологии; различные очерки (Essays).

вают нам на услуги, якобы оказанные этим учреждением. По их словам выходит, что именно представительному образу правления мы обязаны той политической свободой, которой пользуемся теперь и которая была неизвестна при покойной самодержавной монархии. Но рассуждать таким образом—значит принимать причину за последствие или вернее, одно из двух одновременных последствий—за причину.

В действительности же, не представительный образ правления дал, или хотя бы гарантировал, нам те немногие вольности, которые мы завоевали втечение последнего столетия. Их, точно также, как и самое представительство народа, вырвало у правительства широкое либеральное умственное движение, вытекшее из Революции; и тот же дух свободы, дух протеста с'умел отстоять их от беспрестанных посягательств—как правительств, так и самих парламентов. Само по себе, представительное правление еще не дает действительной свободы и отлично уживается с деспотизмом. Свободу приходится вырывать у него, точно также, как и у самодержавных монархов; и, раз она вырвана, ее приходится защищать и от парламента, как когда-то приходилось защищать от монарха: день за днем, шаг за шагом, ни на минуту не складывая оружия. Удается же это только тогда, когда в стране существует класс, обеспеченный, ревниво охраняющий свою свободу и всегда готовый защищать ее от малейшего посягательства, с помощью вне-парламентской уличной агитации, от малейшего посягательства. Там, где такой класс отсутствует, где нет единства в самозащите,—там политической свободы не будет, все равно будет ли при этом существовать народное представительство или нет. Самая Палата становится тогда переднею монарха. Доказательство — балканские парламенты, турецкий, австрийский.

Обыкновенно ссылаются на английскую свободу, причем ее очень часто необдуманно связывают с Парламен-

том. Но при этом забывается, какими, *чисто революционными* путями были вырваны у этого самого Парламента каждая из этих свобод. Свобода печати, критика законодательства, свобода собраний и союзов— все это было вырвано у Парламента силой, путем агитации, грозившей превратиться в восстание. Только противуполагая трэд-юнионы и стачки парламентским указам и казням 1813 года, только разрушая фабрики, английские рабочие, меньше чем пятьдесят лет тому назад, получили право союзов и стачек. Не так давно, только напавши с железными пиками, вырванными из решетки Гайд-Парка, на полицию, преграждавшую доступ народной манифестации в свой парк, лондонский народ защитил против конституционного правительства свое право устраивать манифестации на улицах и в парках столицы. Не парламентскими состязаниями, а внепарламентской борьбой—тем, что она выставляет стотысячную толпу, ревущую и кричащую перед домами аристократии и министров, защищает свои вольности английская буржуазия. Что касается парламента, то он, как всякая власть, постоянно, стремится попрать политические права страны и нередко уничтожает их одним почерком пера, не хуже всякого монарха, если только не видит перед собою массы, готовой восстать. Что сталось, например, с неприкосновенностью жилища и тайной частной переписки, как только буржуазия предпочла отказаться от них, ради того, чтобы правительство оказало ей хотя бы призрачную защиту против революционеров.

Приписывать парламентам то, чем мы обязаны *общему* прогрессу; воображать, что достаточно конституции, чтобы получить свободу –значит грешить против самых элементарных правил исторического суждения.

Вопрос, впрочем, не в этом. Речь идет не о том, имеет ли представительный образ правления преимуще-

ство сравнительно с царством лакеев, эксплуатирующих в свою пользу фантазии неограниченного властителя. Если он утвердился в Европе, он, очевидно, более соответствовал стадии капиталистической эксплуатации—той стадии, которую мы пережили в девятнадцатом веке и которая теперь близится к концу. Он, несомненно, обеспечивал большую безопасность для промышленных и торговых предпринимателей, которым он передавал власть, выпавшую из рук аристократии.

Но ведь и монархия, рядом с громадными недостатками, представляла, быть может, некоторые преимущества сравнительно с царством феодальных владельцев. Она тоже была необходимым продуктом своего времени. Но следовало ли из этого, что мы навеки должны были оставаться под властью монарха или его лакеев?

Нам, людям конца девятнадцатого века, нужно знать одно: как ни велики были заслуги представительного правления, чтобы ограничить самоволие королей и царей с их ставленниками и прислужниками, и как полезно оно ни было, чтобы пробудить общественную мысль и интерес к общественным делам в образованной части общества,—не видим ли мы теперь, что недостатки представительной системы так велики, что терпеть их мы уже не можем, как прежде мы не могли терпеть недостатки самодержавной власти. Вопрос в том,—не ставит ли она, для нашего времени, таких же стеснительных преград дальнейшему общественному развитию, какие ставила в прошлом веке монархия? Достаточно ли будет, наконец, простой починки и поправки представительства для той новой стадии экономического развития, наступление которой мы предвидим теперь?

Вот вопросы, которыми мы должны заняться, вместо того, чтобы рассуждать до бесконечности об полезной исторической роли политического режима буржуазии.

Но раз вопрос поставлен в такой форме, ответ совершенно ясен.

— Представительная система,—которая есть ничто иное, как компромисс со старым порядком,—сохранивши за правительством все полномочия неограниченной власти, подчинив его, с грехом пополам, более или менее предполагаемому, и во всяком случае лишь перемежающемуся контролю народа—эта система отжила свой век. В настоящее время она уже помеха прогрессу. Ее недостатки не зависят от личностей, стоящих у власти: они связаны с самой системой и коренятся так глубоко, что никакие видоизменения в этой системе не могут сделать из нее политический строй, соответствующий потребностям времени. Представительная система явилась, как организованное господство буржуазии, и она исчезнет вместе с нею. Для нового грядущего хозяйственного порядка нужно найти новую форму политической организации, основанную на совершенно ином принципе, чем представительство. Этого требует сама логика вещей.

Прежде всего, представительный образ правления страдает всеми недостатками, свойственными вообще всякому правительству. Он не только не ослабляет их, но делает еще более заметными и прибавляет к ним новые.

Одно из самых глубоких суждений Руссо о правительствах вообще приложимо к избранному правительству в такой же мере, как ко всем остальным. Чтобы отказаться от своих прав в пользу какого-нибудь избранного собрания, нужно, действительно, чтобы оно состояло из ангелов, из сверхчеловеческих существ. Да и то у этих эфирных созданий быстро выросли бы когти и рога, как только у них явилась бы возможность управлять человеческим стадом.

Ничем, в этом отношении, не отличаясь от какого-нибудь деспота, правительство представительного режима—будет ли оно называться Парламентом, Конвентом, Советом Коммуны или присвоит себе какое-нибудь дру-

кое название, будет ли оно назначено префектами какого-нибудь Бонапарта, или вполне свободно избрано восставшим городом—правительство всегда будет стараться расширить свои законодательные права. Постоянно стремясь усиливать свою власть, оно будет вмешиваться во все, убивать смелый почин личностей и групп и заменять их творчество неподвижным законом. Его естественное, неизбежное стремление—взять личность в свои руки, с самого детства, вести ее от одного закона к другому, от угрозы к наказанию,—от колыбели до гроба, не выпуская эту добычу из-под своей высокой опеки. Был ли когда-либо случай, чтобы какое-нибудь избранное собрание об'явило себя некомпетентным в каком-нибудь вопросе—неспособным его решить? Чем оно революционнее, тем охотнее оно захватывает все то, в чем совершенно не компетентно. Обставлять законами все проявления человеческой деятельности, вмешиваться во все мелочи жизни „подданных"—такова самая сущность государства и правительства.

Создать правительство—конституционное, или неконституционное—значит создать такую силу, которая неизбежно будет стараться овладеть всем, подводить под свои уставы всю общественную жизнь, не признавая никакого другого предела, кроме того, какой можем от времени до времени поставить ему мы, агитацией или восстанием. Парламентское правительство—оно уже это доказало—не составляет исключения из этого общего правила.

— „Назначение государства, говорят нам для нашего вящего ослепления, — „защищать слабого от сильного, бедного от богатого, классы трудящиеся от классов привиллегированных". Мы знаем, как правительства исполняют эту миссию! они понимают ее шиворот на выворот. Верное своему происхождению, пра-

вительство всегда было защитником привиллегий против тех, кто старался освободиться от них. Представительное правление, в частности, организовало, при соучастии народа, защиту всех привиллегий торговой и промышленной буржуазии, с одной стороны против аристократии, а с другой — против эксплоатируемых классов: скромную и вежливую защиту по отношению к одним, жестокую — по отношению к другим.

Вот почему даже самый ничтожный закон об охране труда не может, как бы безобиден он не был, быть вырван у парламента иначе как путем революционной агитации. Стоит только вспомнить, какая понадобилась борьба, какую пришлось вести агитацию, чтобы получить от английских парламентов, от швейцарского Федерального Совета, от французских палат кое-какие ничтожные законы об ограничении рабочих часов. Первые законы этого рода проведенные в Англии, были вырваны у парламента тем, что под машины на фабриках подкладывали бочки пороха.

А сколько рабочих было сослано в Австралию за эту агитацию?

В странах, где аристократия еще не свергнута революцией, аристократы и буржуа, впрочем, отлично уживаются друг с другом. — „Ты признаешь за мною право издавать законы, а я буду охранять твой закон“, говорит сеньеру буржуа, и, действительно, охраняет его, пока не почувствует, что ему самому грозит опасность.

Чтобы заставить английский Парламент обеспечить фермеру пользование теми улучшениями, которые он произвел в снятом им участке земли, понадобилась сорокалетняя агитация, от времени до времени зажигавшая целые пожары в деревнях. Что касается знаменитого „аграрного закона“ для Ирландии, то он был проведен — по собственному сознанию Гладстона—только после того, как восстание охватило всю страну, — после того, как население решительно отказалось платить арендную плату и стало отвечать на изгнание фер-

меров бойкотом, поджогами и убийствами лордов. Только тогда провела буржуазия этот жалкий закон, якобы защищающий оголодавшую страну от раззоряющих ее лордов.

Но если речь идет о защите интересов капиталиста от опасности восстания, или хотя бы только агитации--о, тогда представительное правительство, орган господства капитала, становится свирепым. Оно тогда наносит удары еще с большей уверенностью, с большей трусливостью, чем любой деспот. Германский закон против социалистов не лучше отмены Нантского Эдикта, ставившей всех протестантов вне закона, и ни Екатерина II после пугачевского бунта, ни Людовик XVI после голодных бунтов не обнаруживали такой жестокости, как „Национальные Собрания“ 1848 и 1871 года, члены которых кричали: „Бейте волков, волчиц и волчат!“ и единогласно — за исключением одного голоса— выражали опьяневшим от крови солдатам свое одобрение за убийства.

Анонимный зверь с шестьюстами голов с‘умел превзойти Людовиков XI и XVI.

И так будет всегда пока будет существовать власть основанная на представительстве — все равно, будет ли она правильно избрана, или зародится при зареве восстания.

Страна, находящаяся под пятой самодержавия, конечно должна употребить все усилия, чтобы свергнуть эту язву; но, свергая ее, она уже должна стремиться не к той буржуазной конституции, которую установила в 1789 году французская а в 1688 году английская буржуазия. *Тогда*, даже эта Конституция была громадным шагом вперед. Мы-же, в двадцатом веке, должны идти гораздо дальше. Перед нами стоят новые задачи, и парламентом на английский или французский манер мы уже не должны увлекаться. Эту форму правления

уже пережили и Англия и Франция. Они ищут новых форм общественной жизни.

Одно из двух: Или в народе, в городе, водворится экономическое равенство и свободные, равные граждане уже не будут отказываться от своих прав в пользу немногих, а постараются найти новый способ организации, который даст им возможность самим управлять своими делами, или же будет продолжать существовать меньшинство, господствующее над массами в экономическом отношении, — какое-нибудь четвертое сословие, составленное из привиллегированных буржуа и перебежчиков от рабочих, — и тогда горе массам. Правительство, избранное этим меньшинством будет действовать соответственно: оно будет писать законы ради сохранения своих привиллегий, а против непокорных оно прибегнет к силе и избиениям.

Разобрать здесь все недостатки представительства — невозможно. Для этого пришлось бы написать целые томы. Даже если ограничиться самыми существенными недостатками, всетаки придется выйти из рамки этих глав. Есть однако один из этих недосгатков, на котором необходимо остановиться.

Замечательная черта! Представительная система имела целью помешать единоличному управлению; она должна была передать власть в руки не одного человека, а целаго класса. А между тем она всегда вела к восстановлению единоличного правления, всегда стремилась подчинить себя одному человеку.

Причина этой странности очень проста. Когда в руки правительства были переданы все те тысячи полномочий, которыми оно облечено теперь, когда ему было поручено ведение всех дел, касающихся страны, и дан бюджет в несколько миллиардов, — возможно ли было поручить ведение всех этих бесчисленных дел беспорядочной парламентской толпе? — Необходимо было на-

значить исполнительную власть — министерство, которая была бы обеспечена ради этого почти монархическими, полномочиями. В самом деле, какой жалкой кажется власть какого-нибудь Людовика XIV, хвалившегося тем, что „он — государство“, по сравнению с конституционным министерством нашего времени!

Правда, Палата может свергнуть министерство. — Но зачем? — Чтобы поставить на его место другое, которое будет облечено такою же властью и которое придется вновь свергнуть через неделю, если Палата захочет быть последовательной? Она предпочитает, поэтому, сохранять его, пока общественное мнение не запротестует слишком громко: тогда оно прогоняет это министерство и призывает то, которое свергла два года тому назад. Таким образом на весах поочередно перевешивают друг-друга Гладстон — Биконсфильда, Биконсфильд — Гладстона, что в сущности не меняет дела, так как страна все равно управляется маленькою группой людей — „кабинетом!“

Но если парламенту попадется человек ловкий, и способный обеспечить ему „порядок“, т. е. эксплоатацию внутри и рынки вне страны, — тогда он подчиняется всем его капризам и наделяет его все более и более широкими полномочиями. Как бы бесцеремонно он ни обращался с конституцией, как бы позорно не было его правление — лишь бы внешность была соблюдена — парламент терпит все и если и придирается к каким нибудь мелочам, то во всем, что сколько-нибудь важно, предоставляет ему полную свободу действий. Живой пример этому — Бисмарк; а для предыдущих поколений такими примерами были Гизо, Питт, Пальмерстон.

Это вполне понятно: *всякое правительство стремится стать единоличным;* таково его первоначальное происхождение, такова его сущность.

Будет ли парламент избран с цензовыми ограничениями, или посредством всеобщего голосования, будут ли депутаты избираться исключительно рабочими и из среды

рабочих, парламент всегда будет искать человека, которому можно было бы передать заботу об управлении и подчиниться. И пока мы будем поручать небольшой группе людей заведовать всеми делами — экономическими, политическими, военными, финансовыми, промышленными и т. д. как это делаем теперь, и т. д., — это небольшая группа *будет стремиться неминуемо, как отряд солдат в походе, подчиниться единому главе.*

Так бывает в мирное время. Но пусть только начнется внешняя война, или пусть внутри страны вспыхнет война гражданская,—и тогда любой честолюбец, любой ловкий авантюрист, который захватит в свои руки тысяче-колесную машину, именуемую администрацией, сможет навязать народу свою власть. Парламент так же мало будет в состоянии помешать этому закону, как любые, взятые наугад 500 или 600 человек; наоборот, он только затормозит сопротивление.

Оба авантюриста, носившие имя Бонапарта, не были простой случайностью. Они явились неизбежным последствием сосредоточенной власти. Что касается способности парламентских говорилен сопротивляться государственным переворотам, то Франция отлично знает ей цену. Кто хотя бы в наше время спас Францию от роялистских попыток Мак-Магона? Им помешали—теперь это стало известным,—не палата, а вне-парламентские боевые комитеты.

Нам, может быть, укажут на пример Англии, но пусть и Англия не очень гордится тем, что сохранила неприкосновенными свои парламентские учреждения втечение всего XIX-го века! Правда, ей до сих пор, за это столетие, удавалось избежать между-классовой войны, но все указывает на то, что и ей не миновать ее; при этом не трудно предвидеть, что парламент не выйдет целым из этой борьбы, а так или иначе погибнет, смотря по ходу революции, и уступит место чему-то совершенно новому.

Если мы хотим, в момент будущей революции открыть настежь двери для реакции и даже, может быть, для монархии, то нам стоит только поручить наши дела какому-нибудь представительному правительству или какому-нибудь министерству, облеченному такими полномочиями, какими оно обладает теперь. Реакционная диктатура, сначала слегка окрашенная в красный цвет, затем понемногу синеющая, по мере того, как будет чувствовать свое положение более прочным, не заставит себя долго ждать. В ее распоряжении будут все орудия власти; она найдет их вполне готовыми.

Но, может быть, представительный порядок, источник всяких зол, оказывает, по крайней мере, некоторые услуги в том смысле, что он дает возможность мирного прогрессивного развития общества? Может быть, он содействовал также децентрализации власти, которая в настоящее время представляет насущную потребность? Может быть, представительное правление умело помешать войнам? Может быть, оно умеет приспособляться к требованиям времени и во время упразднять, во избежание гражданской войны, то или иное учреждение, отживающее свой век? Наконец, может быть оно сколько-нибудь обеспечивает прогресс, возможность дальнейших улучшений?

Какой горькой иронией звучат эти вопросы! Вся история нашего века отвечает на них отрицательно.

Верные монархической традиции и ее современной форме,—якобинству, парламенты сосредоточили всю власть в руках правительства. Крайнее развитие чиновничества становится отличительною чертою представительного правления. С самого начала 19-го века в политике все говорят о децентрализации и автономии; а между тем власть централизуют все больше и больше, а автономии убивают последние остатки. Даже Швейцария испытывает влияние этого течения, ему же подчиняется и Англия. Если бы не сопротивление промышленных

предпринимателей и торговцев, нам скоро пришлось бы для того, чтобы зарезать быка где-нибудь в захолустье, испрашивать разрешение в Париже. Все подпадает мало-по-малу под власть правительства. Ему не хватает только заведывания всею промышленностью и торговлею; да и то социал-демократы, ослепленные предрассудками сильной власти, уже мечтают о дне, когда они смогут управлять из берлинского парламента всей работой на фабриках и потреблением по всему протяжению Германской империи!

Предохранил ли нас от войн этот якобы миролюбивый представительный режим? Никогда еще люди так не истребляли друг друга, как при нем! Буржуазии нужно господство на рынках, а это господство завоевывается только насчет других,—ядрами и картечью. Адвокатам и журналистам нужна военная слава, а нет более опасных вояк, как те, кто воюет не выходя из своей комнаты.

Но, может быть, парламенты умеют приспособляться к требованиям времени? умеют преобразовывать умирающие учреждения во что-нибудь живучее?—Но нет: также, как во времена Конвента народу приходилось, с оружием в руках вырывать у него даже простое признание совершившихся фактов, так и теперь, для того, чтобы вызвать у „представителей народа" малейшую реформу приходится поднимать чуть не восстание.

Что касается предполагаемого постепенного улучшения парламентов, то никогда еще они не падали так низко, как теперь. Как всякое падающее учреждение они становятся все хуже и хуже. Во времена Луи Филиппа уже говорили о парламентской испорченности; но попробуйте заговорить о ней теперь с немногими честными людьми, по недоразумению попавшими в это болото; и они скажут вам, что им тошно от парламента! Тем, кто видел его вблизи, парламентаризм не внушает никакого уважения.

Наконец, может быть, можно усовершенствовать

представительное правление? Может быть, новый элемент, элемент рабочий, вольет в него новую кровь? Но если рассмотреть самый состав представительных собраний и разобрать как они ведут свою работу, мы увидим, что мечтать об этом также наивно, как надеяться на то, что женив короля на крестьянке, мы получим поколение хороших королей!

III.

Если мы хоть на минуту призадумаемся над тем, как вербуются и как работают представительные собрания, мы перестанем удивляться их недостаткам.

Стоит ли изображать здесь известную всем нам отвратительную картину выборов? Везде—в буржуазной Англии и в демократической Швейцарии, во Франции и в Соединенных Штатах, в Германии и в Аргентинской республике—разыгрывается одна и та же печальная комедия.

Стоит ли рассказывать о том, как избирательные агенты и комитеты „подготовляют“, „устраивают“ и „обставляют“ выборы (у них на это целый воровской язык!); как они раздают направо и налево обещания—политические на собраниях и личные в частных разговорах,—как они втираются в семьи, льстят матери и ребенку, ласкают, если нужно, страдающую астмой собаку или кошку „избирателя“? Как они ходят по разным кафе или кабакам, уговаривают избирателей, а наименее разговорчивых улавливают тем, что заводят между собою мнимые споры—точно шулера, которые стремятся заманить вас играть в „три карты, одна дама“? Как, после долгого ожидания, кандидат появляется, наконец, среди „дорогих избирателей“, с благосклонной улыбкой на устах, с скромным взглядом и вкрадчивым голосом,—точно старая мегера, хозяйка лондонских меблированных

комнат, которая хочет заманить жильца сладкой улыбкой и ангельским взглядом? Стоит ли перечислять лживые програмы—одинаково лживые, будь они оппортюнистские или социал-революционные—которым сам кандидат, если он сколько-нибудь умен и знает палату, также мало верит, как составитель календаря с предсказаниями, но которые он защищает так горячо, таким громовым голосом, такими прочувствованными речами, как странствующий, ярмарочный зубной лекарь? Не даром же народная комедия, рядом с Бертраном и Робертом Макэром, т. е. с простыми мошенниками, превращенными ею в Тартюфов и банковских плутов, изображает, кроме того, „народного представителя“ в погоне за голосами избирателей и—носовыми платками.

Стоит ли перечислять здесь расходы по выборам? Все газеты рассказывают нам о них. Стоит ли приводить перечень расходов какого-нибудь избирательного агента, среди которых фигурируют расходы на „бараньи ноги“, фланелевые фуфайки и бутылки с лекарством, посланные заботливым кандидатом „дорогим детям“ своих избирателей? Стоит ли, наконец, напоминать о расходах на печеные яблока и тухлые яйца, с целью „смутить противную партию“,—расходах, которые также отягощают бюджеты кандидатов в Соединенных Штатах, как у нас в Европе расходы на клеветнические воззвания и на „маневры последнего часа“ перед выборами.

А правительственное вмешательство в выборы? „Места“, раздаваемые им своим пособникам, его лоскутки материи, носящие название орденов, права, раздаваемые им на содержание табачных лавок? его обещания покровительства рулеткам и игорным домам, его бесстыдная пресса, его шпионы, его судьи и агенты...

Нет, довольно! Не будем больше копаться в этой грязи. Поставим только один вопрос: есть ли хоть одна, самая низкая, самая гнусная человеческая страсть, которая бы не эксплуатировалась во время выборов? Обман, клевета, низость, лицемерие, ложь—все, что только

есть грязного в глубине человека-зверя,—вот что разнуздывается во всей стране во время избирательного периода.

Так оно есть, и так оно будет, до тех пор, пока будут существовать выборы с целью избрания себе господ. Пусть перед вами будут только рабочие, только люди равные между собою, и пусть они в один прекрасный день вздумают избрать из своей среды управителей,—и получится то же самое! Подарков может быть раздавать не будут; но будут расточать льстивые лживые слова; и гнилые яблоки останутся попрежнему. Да можно ли ждать лучшего, когда люди торгуют священнейшими своими правами?

Чего, в самом деле, требуют от избирателей?— Чтобы они указали человека, которому можно было бы дать право издавать законы относительно всего, что только у них есть самого святого: их гражданских прав, их детей, их труда! Что же удивительного в том, что эти царские права оспаривают друг у друга две или три тысячи проходимцев! Речь идет о том, чтобы найти человека, или нескольких человек, которым можно было бы предоставить право брать наших детей в двадцать один год—или в девятнадцать, если господа депутаты найдут нужным; запирать их на три года—а не то и на десять—в разлагающую атмосферу казармы; вести их на убой в войне, которую они затеят, но которую потом поневоле придется вести стране. Затем, выбранные депутаты могут закрывать и открывать университеты, могут заставлять родителей посылать своих детей в школы, или же, наоборот, запретить это. Подобно самодержавному королю, депутаты могут благоприятствовать какой-нибудь отрасли промышленности или же, напротив, убить ее; они могут принести северную часть страны в жертву южной, или наоборот, могут присоединить к стране новую область, или, наоборот,

уступить какую-нибудь провинцию другому государству. Они будут располагать приблизительно тремя тысячами миллионов в год, вырванными у рабочего народа. У них будет, кроме того, царское право назначать исполнительную власть, т. е. такую власть, которая, пока она находится в согласии с Палатой, является большим деспотом и тираном, чем покойная власть короля. Действительно, Людовик XVI и Петр I имели в своем распоряжении каких-нибудь несколько десятков тысяч чиновников; теперешние же владыки имеют их сотни тысяч и если король мог ограбить государственную казну на каких-нибудь несколько мешков золота, то теперешнему конституционному министру, в роде Бисмарка, одна какая-нибудь биржевая операция, „честным образом" доставляет миллионы.

Что же удивительного в том, что страсти разгораются, когда речь идет о выборе властителей, облеченных такими полномочиями! Когда в Испании недавно с торгов продавали трон, никто не удивлялся тому, что авантюристы сбегались со всех сторон. А потому, до тех пор, пока продажа власти, равной прежней царской, будет продолжаться, все останется по старому; выборы останутся ярмаркой тщеславия и человеческой совести.

Впрочем, если мы даже сократим немного власть депутатов, или же раздробим ее, сделав из каждой коммуны государство в миниатюре, то и так все останется попрежнему.

Назначение и посылка доверенных на совещание понятно тогда, когда сто, двести и даже тысяча человек, ежедневно сталкивающихся между собою на работе за общим делом, и потому знающих друг друга и знающих дело, — обсудив какой нибудь вопрос, приходят к какому нибудь заключению и выбирают доверенного, чтобы столковаться с другими такими же доверенными по этому частному вопросу. Избрание происходит

тогда вполне сознательно; и каждый знает, что он может поручить своему уполномоченному. Мало того: этот уполномоченный только изложит другим доверенным соображения, которые заставили пославших его придти к тому или иному заключению. Не имея права навязывать что бы то ни было, он постарается найти почву для соглашения и вернется домой с прямым *предложением, которое уполномочившие его могут принять или отвергнуть.*

Так собственно и возникла мысль о с'ездах доверенных. Когда вольные города, о которых говорилось в десятой главе, посылали своих доверенных в другой город, или на с'езд доверенных от нескольких городов, им не давали иных полномочий. Также поступают теперь на своих международных конгрессах метеорологи и статистики, делегаты железнодорожных компаний и почтовых управлений разных стран, и доверенные английских профессиональных союзов.

Между тем, что теперь требуется от избирателей?— Чтобы десять, двадцать тысяч (а при голосовании по спискам и сто тысяч) человек, не знающих друг друга, никогда друг друга не видавших, никогда не встречавшихся ни на каком общем деле, сошлись на избрании одного человека. Притом, избранный ими получит широчайшие полномочия, — не для того, чтобы изложить какое-нибудь определенное дело, или защищать то или иное решение, принятое по определенному вопросу. Нет! он должен уметь делать все, высказываться по любому вопросу — торговому, астрономическому, военному, финансовому, гигиеническому и т. д., — и его решение будет законом. Первоначальный характер избрания делегатов совершенно исказился; оно стало нелепостью.

Такого всеведущего существа, какого ищут теперь, не существует. Но вот, например, порядочный человек, отвечающий известным требованиям честности и здравого смысла, с некоторым образованием. Что-же, — будет он избран? Конечно, нет. Из его избирателей

едва, может быть, наберется двадцать, сто человек, знающих его достоинство. Он никогда не пользовался рекламой, чтобы составить себе репутацию, он презирает те приемы, которыми обыкновенно пользуются, чтобы заставить говорить о себе, и за него едва-ли будет подано больше 200 голосов. Его даже не поставят в число кандидатов, а выберут какого-нибудь адвоката, или журналиста, краснобая или писаку, который внесет в парламент нрав адвокатского или газетного мира и увеличит своей персоной стадо, голосующее — одни за министерство, другие за оппозицию. Или, может быть, выбор падет на какого-нибудь купца, которому в торговых интересах хочется получить звание депутата, и который не остановится, ради получения известности, перед расходом в сотню тысяч франков. Там же, где царят вполне якобы „демократические“ права, как в Соединенных Штатах, где легко создаются комитеты, составляющие противовес влиянию богатства, там сплошь да рядом выбирают самого худшего из всех, профессионального политика, — отвратительное существо, ставшее теперь язвой великой республики, человека, сделавшего из политики род промышленности и пускающего в ход все приемы крупной промышленности: рекламу, трескучие статьи, подкуп.

Меняйте избирательную систему сколько хотите, заменяйте избрание по округам избранием по спискам, устраивайте двухстепенные выборы как в Швейцарии (я имею в виду предварительные собрания), вносите какие хотите перемены, обставляйте выборы какими хотите условиями равенства, кроите и перекраивайте избирательные коллегии — внутренние недостатки системы все равно останутся. Тот, кто получит больше половины голосов всегда будет (за очень редкими исключениями, у партий преследуемых) ничтожеством, — человеком без убеждений, с'умевшим понравиться всем.

Вот почему — это заметил еще Милль и позднее Спенсэр — состав парламентов бывает всегда так

плох. Уровень Палаты, говорит Спенсэр в своем *Введении*, всегда ниже среднего уровня страны, не только в нравственном, но и в умственном отношении. Умное население всегда *умаляется* в лице своих представителей. Если бы оно задалось целью иметь своими представителями дураков, оно сделало бы именно такой выбор. Что касается неподкупности депутатов, то мы знаем, чего она стоит. Почитайте только, что говорят о ней бывшие министры, имевшие случай узнать и оценить ее.

Жаль, что не существует специальных поездов для избирателей, которые захотели бы посмотреть, как работает их Палата. Они быстро прониклись бы презрением к ней. Древние напаивали рабов, чтобы внушить своим детям отвращение к пьянству. Парижане! ходите в Палату смотреть на своих представителей — и вы получите отвращение к представительной системе.

Такому сборищу ничтожеств народ передает все свои права, за исключением права свергать их от времени до времени и заменять другими. А так как новое собрание, составляемое по той же системе и снабженное теми же полномочиями, оказывается таким же неудачным, как и прежнее, то большинство народа теряет, в конце концов, всякий интерес к этой комедии и ограничивается незначительными изменениями, выбирая нескольких новых кандидатов, которые сумеют навязаться избирателям.

Но если самые выборы уже страдают конституционной, неизлечимой болезнью, то что-же сказать об исполнении своих обязанностей выбранным Собранием? Подумайте минуту — и вы сами увидите, какую невозможную задачу вы перед ним ставите.

Ваш представитель должен иметь определенное мнение и голосовать по целому ряду бесконечно разнообраз-

ных вопросов, возникающих в громадной государственной машине.

Он должен будет голосовать по вопросу о налоге на собак и о реформе университетского образования, никогда не бывши в университете и не зная, что такое деревенская собака. Он должен будет высказываться о преимуществах ружья системы Гра и о месте, где устроить государственные конные заводы. Он будет подавать голос по вопросу о филоксере, о гуано, о табаке, о низшем образовании, об оздоровлении городов, о Кохинхине и Гвиане, о печных трубах и о переменах в Парижской обсерватории. Никогда не видавши солдат, иначе как на смотрах, он будет решать о вооружении полков; никогда не видав ни одного араба, он будет переделывать вековые мусульманские земельные законы у бедуинов в Алжирии. Он будет подавать голос за кивер или за кепи, смотря по тому, что больше нравится его супруге. Он будет поощрять сахарное производство в ущерб земледелию, и губить виноделие в уверенности, что помогает ему; будет голосовать за насаждение лесов, против пастбищ, и за пастбища против лесов. Он убьет такой-то канал ради такой-то железнодорожной линии, не зная даже хорошенько в какой части Франции они оба находятся. Он будет прибавлять новые статьи к уголовному уложению, которого никогда не читал. Всеведущий и всемогущий протей, вечно меняющий свой вид, — сегодня военный, завтра свинопас, потом банкир, академик, чистильщик сточных труб, врач, астроном, аптекарь, кожевник или торговец галантерейным товаром, — смотря по вопросам, стоящим на очереди — он будет все решать без колебаний по знаку главы своей партии. Привыкнув, как адвокат, как журналист или как оратор публичных собраний, говорить о вещах, которых он не знает, он и теперь будет подавать голос по всем этим вопросам, с тою только разницею, что в газете его статьи служили для развлечения греющегося у огня швейцара; что его

адвокатские речи только мешали спать судьям и присяжным, а в Палате его мнение сделается законом для сотен тысяч человек.

А так как у него нет физиологической возможности составить себе мнение обо всех бесчисленных вопросах в которых от его голосования зависит утверждение или провал законов, то, пока министры будет читать доклад с многочисленными цифрами, выведенными ради этого случая его секретарем, депутат будет сплетничать с соседом, проводить время в буфете, или писать письмо с целью подогреть доверие своих „дорогих избирателей". Когда же придет момент голосования, он выскажется за или против доклада, смотря по тому, какой знак подаст глава его партии.

Вот почему вопрос о корме для свиней, или о походном багаже солдат является и для министерства и для оппозиции не более как вопросом парламентской борьбы. Они не спрашивают себя о том, нужно ли свиньям удобрение и не нагружены ли солдаты и без того, как верблюды в пустыне; единственное что их интересует, это — послужит-ли голосование в утвердительном смысле на пользу их партии? — Парламентские битвы происходят на счет солдат, земледельцев, промышленного рабочего — в интересах министерства или оппозиции.

Бедный Прудон! Воображаю его разочарование, когда он вступил Палату и с детской наивностью вздумал изучать все вопросы, ставившиеся на очередь. Он приносил на трибуну цифры — но никто его не слушал. Вопросы решались гораздо раньше заседания, на основании простого соображения: полезно это, или вредно для нашей партии? Подсчет голосов давно уже сделан, раньше голосования; подчинившиеся утвердительному решению давно отмечены, и часто их уже поблагодарили; не подчинившиеся изучены и тщательно сосчитаны. Речи произносятся для вида: их слушают только в том случае, если они отличаются художествен-

ными достоинствами или могут вызвать скандал. Наивные люди воображают, что „Руместан“ [1]) увлек Палату своим красноречием; на деле Руместан рассчитывает с друзьями, после заседания, как ему выполнить обещания данные для того, чтобы устроить голосование в свою пользу. Его красноречие было не более, как музыкальная пьеса, сочиненная и исполненная для удовольствия публики, чтобы трескучими фразами подогреть свою популярность.

„Парламентские речи иногда заставляли меня изменить мое мнение: но никогда — изменить мое голосование: оно решалось партией“ — говорил мне один очень видный, пожилой член парламента.

Выиграть победу при голосовании; но кто-же устраивает эти победы? Кто, в Палате дает перевес голосов той или другой партии? Кто свергает или выдвигает министерство? кто навязывает стране реакционную политику и рискованные внешние предприятия? Кто решает спор между министерством и оппозицией?

— Те, кому в 1793 году дали удачное прозвище „болотных жаб“ — люди не имеющие *никаких* убеждений, всегда сидящие между двух стульев, всегда колеблющиеся между двумя главными партиями Палаты.

Именно эта группа — человек пятьдесят, без всяких убеждений, флюгером поворачивающихся от либералов к консерваторам и обратно, людей легко поддающихся на всякие обещания, на перспективу мест, на лесть, легко охватываемые паникой, — именно эта группа ничтожеств решает подавая свои голоса за или против. Они проводят законы, или оставляют их под сукном. Они поддерживают или свергают министерства и изменяют

[1]) Нума Руместан“, герой одного романа Зола, где выведен южанин, попавший в премьер-министры.

направление политики. — Пятьдесят индифферентных людей управляющих страною — вот к чему сводится прежде всего парламентский строй.

И это неизбежно, каков бы ни был состав парламента; пусть он будет полон звезд первой величины и честнейших людей — решение будет все равно зависеть... от „болотных жаб“! Ничто не может изменить этого, пока управлять будет большинство голосов.

Мы указали вкратце органические недостатки представительных собраний; нам бы следовало теперь остановиться на их деятельности. Мы должны были бы показать как все они, начиная с Конвента и кончая Советом Коммуны 1871 года, от английского Парламента до сербской Скупщины, являются ничтожествами; как самыми лучшими их законами оказываются—по выражению Бокля те, которые отменяют законы предыдущие, и как такие отмены должны были завоевываться упорною агитациею, или же революционными путями. Эту историю следовало бы написать; но это вывело бы нас из рамок нашего очерка [1]).

Всякий, кто сумеет отвлечься от предрассудков нашего воспитания и подумать немного, найдет, впрочем, и сам достаточно примеров в истории представительных учреждений наших дней. Он увидит, что каков бы не был состав избранных,—будь они рабочие или буржуа, будь даже широко открыт доступ в парламент социалистам и даже революционерам, парламентский строй все равно сохранит все недостатки представительных собраний вообще. Эти недостатки зависят не от личностей, а от самого учреждения.

[1]) В новой книге Спенсера „Личность против Государства“ читатель найдет главу, озаглавленную „Грехи законодателей“, посвященную этому вопросу (Изд.).

Мечта о Рабочем Государстве, управляемом избранным собранием—самая опасная мечта из всех тех, какие нам внушает наше воспитание, построенное на принципе власти.

Как нельзя иметь хорошего монарха—ни в лице Риензи, ни в лице русского самодержца,—так точно нельзя иметь и хорошего парламента. Будущее социализма лежит совсем в ином направлении: в политической области, как и в экономической, социализм укажет человечеству новые пути.

IV.

Если мы взглянем на историю представительной системы, на ее происхождение,—на то, как искажалось это учреждение по мере развития государства, мы увидим особенно ясно, что его время прошло, его роль сыграна, и оно должно уже уступить место новому виду политической организации.

Не будем заходить слишком далеко; возьмем двенадцатый век и освобождение городских общин.

В среде феодального общества происходило тогда крупное освободительное движение. Города освобождались от своих феодальных владельцев. Жители городов давали клятву защищать друг друга и устраивались самостоятельно под защитой своих городских стен; они организовали производство и обмен, промышленность и торговлю и они создали в своих городах продержавшиеся втечение трех или четырех веков убежища свободному труду, искусствам, наукам и освободительным идеям, и положили основание цивилизации, которой мы так гордимся теперь.

Далеко не будучи чисто-римского происхождения, как говорят французские исследователи Рейнуар и Леба (а за ними Гизо и отчасти Огюстен Тьерри) и немецкие

Эйхгорн, Гаупп и Савиньи,—не происходя также и исключительно из учреждений германских, как утверждает школа „германистов“,—средневековые городские коммуны были естественным продуктом жизни Средних Веков и растущего значения городов, как центров торговли и промышленности. Вот почему мы находим в эти времена, т. е. в XI, XII веке и XIII веке,—и в Италии, и во Фландрии, и в Галлии, и в Германии, и в Скандинавском мире, и в мире Славянском, где римского влияния не существовало, а германское было совершенно ничтожно,—находим вольные города, которые наполняют своей бурной жизнью три столетия, раньше чем вошли в состав современных государств.

Вольные города—т. е. союзы городской буржуазии, вооружившиеся для внешней защиты и организовавшиеся внутри независимо, как от своих светских и духовных владельцев, так и от короля,—скоро стали цветущими центрами, под защитой своих городских стен и башень. Многие из них, правда, стремились, в свою очередь, господствовать над деревней, вместо прежних феодальных владельцев; но другие города стремились, наоборот, ослабить окрестных помещиков, освободив от них крестьян; а рядом с этим свободный дух горожан распространялся от них и на сельских жителей:—„Nus somes homes cum il sunt“.—„Мы такие же люди как и они“—скоро начинали петь крестьяне, делая первые шаги к уничтожению крепостного права.

Об‘явив себя „открытыми убежищами для трудовой жизни“, освободившиеся города слагались, как лиги, или об‘единения независимых корпораций, т. е. профессиональных союзов. У каждой корпорации был свой суд, свое управление и свое ополчение, или милиция. Каждая корпорация свободно распоряжалась своими делами, не только в том, что касалось ее ремесла или ее торговли, но и во всем том, что впоследствии государство захватило в свои руки: т. е. в народном образовании, в санитарных мерах, в спорах о нарушении установленных

обычаев, в уголовных и гражданских делах и в военной защите города. Будучи, таким образом, организациями не только промышленными и торговыми, но и политическими, корпорации об‘единяются между собою на вече. Вечевой колокол созывал в важных случаях все население города, чтобы обсудить дела, касавшиеся всего города, сговориться насчет какого-нибудь обширного общего предприятия, требующего содействия всех граждан, или же разрешить какой-нибудь спор между двумя корпорациями.

В вольном городе — особенно в начале—еще не было и следов представительного правления. Улица, „конец“, т. е. квартал, вся корпорация, весь город в целом принимают те или другие решения в делах, касавшихся улицы, „конца“, корпорации или всего города, но не по решениям большинства. Их веча обсуждали вопрос до тех пор, пока одна сторона не согласится добровольно принять, хотя бы для пробы, предложение, за которое стояла большая часть граждан.

Достигалось ли при этом согласие?—Ответом служит нам все то, что создали эти города, чему мы не перестаем удивляться и в чем мы не можем их превзойти до сих пор. Все, что вторая половина Средних Веков оставила нам прекрасного,—было делом этих городов. Все их соборы—гигантские памятники, в камне которых запечатлелась история и духовная жизнь городских общин,—были делом корпораций, работавших над ним с чувством благоговения, из любви к самому искусству зодчества и к своему городу: муниципальных сумм очевидно не хватило бы, чтобы оплатить расходы по постройке соборов и ратуш в Реймсе, Руане и множестве небольших городов, соперничавших между собою в стремлении лучше украсить свой собор, свою ратушу, башни своих стен и дома каждой корпорации.

Освободившимся городским общинам мы обязаны возрождением искусства с тринадцатого по шестнадцатый век. Купеческим корпорациям—часто всем жителям го-

рода, вносившим свою долю в дело снаряжения каравана или морской экспедиции—мы обязаны развитием торговли, вскоре приведшим к созданию Ганзейской лиги и к морским открытиям в Африке, открытию пути в Индию и Китай и наконец открытию Америки. Промышленным корпорациям, бессмысленно очерненным впоследствии невежественными и эгоистическими промышленниками, мы обязаны почти всеми существующими прикладными искусствами и научными открытиями [1]).

Но средневековая городская коммуна все-таки должна была погибнуть. Два врага одновременно осаждали ее: внутренний и внешний.

Торговля, войны и эгоистическое господство над деревней вели к развитию неравенства среди членов общины, раззоряя одних, обогащая других. Втечение некоторого времени, корпорации задерживали развитие пролетариата в городах, но скоро они пали в неравной борьбе. Торговля, поддерживаемая грабежами соседей и постоянные войны, которыми так богата история того времени, обогащали одних и заставляли беднеть других; а нарождающаяся буржуазия, вместе с дворянством, старалась посеять раздоры и увеличивать неравенство состояний. Город разделился на богачей и бедняков, на „белых“ и „черных“; в его среде появилась борьба классов, а с нею вместе—и государство.

По мере того, как бедняки беднели и, благодаря ростовщичеству, все более и более попадали под власть богатых, в городе все более утверждалось муниципальное представительство, управление уполномоченными, вместо прямого самоуправления. Городская община превращалась в представительное государство, с муниципальной кассой,

---

[1]) Смотри мою Взаимную Помощь, как деятельная сила развития,—главы о средневековых городах.

с наемной милицией, с вооруженными кондотьерами, т. е. начальниками наемных военных шаек, с общественными службами, с оравой чиновников.

Тогда, ставши сама государством в маленьком виде, средневековая коммуна неизбежно должна была сделаться добычей более крупного государства, создававшегося в это время под щитом королевской или великокняжеской власти. Ослабевши от внутренних причин, средневековый вольный город роковым образом был поглощен королем, императором, царем. Так пали в России Великий Новгород и Псков, с их пригородами, и целый ряд независимых городов в северной, средней, западной и южной Руси.

Пока города процветали, о-бок с ними, у их же ворот создавались централизованные государства.

Рождались они вдали от шумного веча, вдали от вольного городского духа, жившего в независимых городах. Нарождавшаяся королевская или царская власть утверждалась в городах новых, вроде Парижа, Мадрида, Вестминстера или Москвы, бывших тогда еще собраниями нескольких деревень. До того времени будущий король был таким же главой дружины, как и другие герцоги, графы или князья,—т. е. начальником, власть которого едва распространялась на шайку предводительствуемых им головорезов и разбойников, и который с трудом взимал подати с деревень и городов, покупавших у него мир своими платежами. В городах, гордых своею независимостью, такие князья и графы чувствовали себя бессильными. Как только они пытались выйти из своей роли защитников городских укреплений и пробовали стать владыками города или просто переставали соблюдать заключенный ими с городом договор, вече прогоняло их. Поэтому, те из них, кто мечтал стать истинным владельцем, поселялись в каком-нибудь городе, только еще нарождающемся еще незнакомом с вечевым строем.

Там, обогащаясь трудом соседних крепостных крестьян и не встречая противодействия со стороны буйной народной толпы, будущий владыка—король или великий князь, пуская в ход и деньги, и обман, оружие и интриги, начинает ту медленную работу собирания земли и централизации власти, которой так сильно способствовали и которую,—скажу больше—делали даже необходимой постоянные нашествия того времени народов, двигавшихся толпами из Азии в Европу и из восточной Европы в западную (мавры, гунны, монголы, турки, угры и др.).

Городские общины, уже вырождавшиеся, уже образовавшие внутри своих стен маленькие государства, стали целью таких стремлений „собирателей земли и основателей будущих государств[1]). Им нужно было только вовлечь эти города, мало-по-малу в свои владения, присвоить себе их органы городского управления, заставить их служить делу возвышения монархической власти. Это и предпринимали основатели монархий,—при содействии Церкви,—сначала очень осторожно, а затем все более и более грубо, по мере того, как они чувствовали, что их силы возрастают.

Писанное право родилось, или вернее, разработано было, в вольных городах и оно послужило основой для законов государства. Впоследствии, церковное право и римское право, сохранявшееся в документах и книгах, уцелевших от древней Римской империи, и изучавшееся теперь духовными и светскими законниками, послужило, чтобы создать и утвердить государственное право и освятить королевскую власть. Теория императорской власти была выкопана из римских глоссариев и стала распространяться в интересах короля. С своей стороны, Церковь тоже поспешила дать этой власти свое благословение. Потерпев неудачу в своей попытки создать всемирную империю под властью папы, Церковь стано-

---

[1]) См. мою брошюру „Государство и его роль в истории“. (Прим. 1919 г.).

вилась теперь пособницей тех, через чье посредство она надеялась со временем приобрести господство над миром.

В продолжении пяти столетий королевская власть вела эту медленную собирательную работу. Сперва она восстановляла крепостных крестьян и городские общины против дворян владельцев, а потом подавляла и крестьян, и города, с помощью тех же феодальных баронов, бояр и князей, ставших ее верными слугами. Начинал зарождавшийся король с того, что заискивал перед городами; и в то же время он выжидал минуты, когда внутренние раздоры в вольном городе отопрут ему городские ворота, когда она сможет завладеть городской казной и занять своими солдатами городские стены и башни. Но и тут король действовал осторожно: порабощая города, он все-таки признавал за ними известные привилегии — до тех пор, пока мог их уничтожить безнаказанно.

Как всякий военноначальник, которому солдаты повинуются постолько, посколько он доставляет им добычу, король всегда был окружен Советом из подчиненных ему начальников. Они составляли в четырнадцатом и в пятнадцатом веке его Совет Дворянства. К нему присоединялся затем Совет Духовенства. А по мере того, как королю удавалось завладевать городскими общинами, он начинал призывать по временам к своему Двору — особенно в трудные минуты, — представителей из „своих верных городов“, чтобы вымогать у них денежную поддержку.

Так возникли на западе Парламенты, а в России Земские Соборы. Заметим, однако, что власть этих представительных учреждений, как и власть самого короля, была довольно ограниченной. Все, что от них требовалось, это — денежное пособие для той или другой войны, да и то, когда делегаты решали выдать это пособие, еще нужно было, чтобы их решение было утверждено и

выполнено самими городами. Что же касается внутреннего управления городских общин, то пока королевская власть в него не вмешивалась.—„Такой-то город согласен оказать вам такую-то денежную помощь, для того, чтобы дать отпор нападению такого-то неприятеля. Он соглашается, чтобы в него был введен ваш гарнизон, чтобы служить опорой против врага“—таковы, вплоть до шестнадцатого и семнадцатого века были полномочия, какими снабжались представители городов, ехавшие присутствовать в Генеральных Штатах, когда их созывал король. Так далеко они были тогда от неограниченных полномочий, включающих все на свете, которые мы даем теперь нашим депутатам в парламентах.

Но главная, коренная ошибка тем не менее уже была сделана. Опираясь на борьбу между богатыми и бедными, королевская власть уже упрочилась, под предлогом национальной защиты.

Вскоре, видя как расточаются их денежные взносы при дворах королей, представители городов пытались положить этому предел. Они требовали, чтобы королевская власть признала их распорядителями народной казны, и в Англии им этого удалось добиться, при поддержке аристократии. Во Франции, после разгрома при Пуатье, городам почти удалось завоевать такие же права; но восстание, поднятое Этьеном Марселем, в четырнадцатом веке, с целью освободить города-коммуны от королевской власти, было задушено, вместе с крестьянской войной, начатой в то же время, и королевская власть вышла из борьбы с новыми силами, которые и удержала вплоть до Великой революции 1789—1793 года.

С того времени все содействовало ее укреплению, все вело к сосредоточению власти в руках короля. Денежные пособия обращены были в постоянные налоги, и буржуазия принесла, к услугам короля, свою привычку к порядку и свои административные способности.

Паденне общин, одна за другою исчезавших перед королем; слабость крестьян, закрепощаемых все более и более, если не лично, то экономически; теории римского права, извлеченные юристами из пыли монастырских библиотек и теперь служившие для укрепления королевской власти; постоянные войны—постоянный источник власти,—все содействует усилению короля. Унаследовав организацию городских общин, короли и их советники пользовались ею, чтобы все более и более вмешиваться в жизнь своих подданных, и Людовик XIV мог, наконец, воскликнуть однажды: „Государство, это—я!“

Только в семнадцатом веке началось падение и измельчание королевской власти, переходящей в руки любимцев и куртизанок. При Людовике XVI-м в начале его царствования, окружавшие короля попытались освежить и возродить ее при помощи либеральных мер; но очень скоро она пала окончательно под тяжестью своих преступлений.

Что сделала Великая Революция, когда королевская власть пала под ее топором?

Революция стала возможной вследствие распада, дезорганизации центральной власти, которая в продолжение четырех лет, с 1789 по 1793 г., была совершенно бессильна и могла только регистровать совершавшиеся факты. В эти четыре года деревни и города, отказываясь платить налоги и повиноваться центральной власти, выступали совершенно самостоятельно и ломали старый строй.

Но могла бы буржуазия, все время продолжавшая быть деятельною силою, примириться с таким положением? Она ясно видела, что, уничтожив привилегии дворянства, народ примется и за привилегии городской и сельской буржуазии; а потому эта буржуазия постаралась обуздать народ и с‘умела это сделать.

Ради этого, она выступила горячей защитницей представительного правления; и втечение четырех лет она, со свойственной ей энергией и организаторским ду-

хом, внушала эту идею народу. Ее идеалом был идеал Этьена Марселя: король в теории был бы облечен широкой властью, но на деле он был бы сведен к нулю парламентом, составленным, разумеется, из представителей буржуазии.

Всемогущество буржуазии под прикрытием монархии,—такова была ее цель. Когда народ навязывал ей республику, она принимала ее неохотно, и постаралась, как можно скорее от нее избавиться.

Пойти против центральной власти, отнять у нее ее широкие права, децентрализовать, раздробить ее, т. е. усиливать права народа на местах,—значило бы предоставить народу *самому устраивать свои дела*; значило бы помогать созданию действительно-народной революции. Вот почему буржуазия старалась, наоборот, *усилить центральное правительство*, предоставить ему такую власть, о которой король не смел даже мечтать, сосредоточить в руках центральной власти *все*, подчинить ей *все* во всей Франции—а затем, при помощи Национального Собрания захватить всю эту громадную власть в свои руки.

И до сих пор, этот якобинский идеал составляет идеал буржуазии всех европейских народов. Представительное правление—его орудие[1]).

Но может ли якобинский идеал быть принят нами? Могут ли рабочие—социалисты мечтать о повторении в той же форме буржуазной революции? Могут-ли они содействовать, в свою очередь, усилению центрального правительства, передавая в его руки всю экономическую жизнь и поручая палате представить ей распоряжаться

---

[1]) Во всем этом историческом очерке я имел в виду историю Франции, потому что в ней, ярче чем где либо выражены различные ступени развития политических учреждений. То-же самое произошло, однако, и в Англии, после ее революции 1639—1648 года; и тоже происходит в Испании, Италии, Бельгии и Германии и начало происходить в России.

всеми их делами, политическими, экономическими и общественными? Может ли то, что когда то явилось как компромисс, как сделка между королевской властью и буржуазией, стать идеалом рабочего социализма?

Конечно, нет!

Для нового экономического склада жизни необходимо найти новый склад политический. Такая глубокая революция, как та, о которой мечтают все социалисты, не может уложиться в политических рамках прошлого. Новое общество основанное на равенстве состояний и на коллективном владении орудиями труда, не может ужиться, даже хотя бы только неделю, с представительным правлением, или с каким бы то ни было из тех видоизменений, которыми еще надеятся наэлектризовать этот труп.

Парламентский строй отжил свой век. Его исчезновение теперь так же неизбежно, как было когда то неизбежно его появление. Он соответствовал переходу власти в руки буржуазии. При его помощи буржуазия господствует вот уже более столетия, и он должен будет исчезнуть с окончанием ее владычества. Мы же, если мы стремимся к социальной революции, должны *найти такой новый вид политической организации*, который соответствовал бы новой организации экономической.

Такая организация, от простого к сложному, уже намечается. Общество должно будет сложиться из групп, свободно возникающих повсеместно для удовлетворения всех бесчисленных потребностей личностей в обществе.

Современные общества уже идут в этом направлении. Повсюду свободная группировка, свободная федерация стремятся занять место пассивного подчинения. Свободные группы насчитываются уже десятками миллионов, и каждый день возникают все новые и новые. Они охватывают все отрасли человеческой деятельности: наука, искусство, промышленность, торговля, взаимопомощь, даже защита территории и страхование против

воровства и судов—ничто не ускользает от них; их область все расширяется, и в конце концов они охватят все то, что было раньше достоянием короля и парламента.

Будущее принадлежит свободной группировке заинтересованных лиц, а не правительственной централизации,—свободе, а не власти.

Но прежде чем говорить о той организации, которая явится результатом свободной группировки, нам предстоит разрушить много политических предрассудков, которыми мы еще заражены. Этим мы и займемся в следующих главах.

XIV.

ЗАКОН И ВЛАСТЬ.

I.

— „Когда невежество царит в обществе, и беспорядок — в умах, тогда законы плодятся. Люди всего ждут от законодательства, а так как всякий новый закон приносит с собой разочарование, то *они привыкают требовать от законодательства того, что могло бы придти лишь от них самих:* от *их* образования, *их* нравов“. — Любопытно, что написал эти строки не революционер какой-нибудь, и даже не реформатор, а известный французский законовед, Даллоз, издавший под именем „Репертория законодательства“ (Repertoire de la jurisprudence), превосходный сборник — энциклопедию французских законов. Хотя и написанные составителем и защитником законов, эти строки тем не менее совершенно верно изображают ненормальное состояние наших обществ.

В современных государствах, выпустить новый закон считается лекарством от всех зол. Вместо того, чтобы самим изменять то, что плохо, люди все время просят нового закона. Если дорога между двумя деревнями станет непроходимой, западно европейские крестьяне, вместо того, чтобы исправить ее, болтают промеж себ я, что надо бы издать новый закон насчет проселочны х дорог. — Деревенский урядник пользуясь

всеобщим холопством, оскорбит-ли кого-нибудь, — „Надо бы закон такой, чтоб велел урядникам быть повежливей!“ говорит оскорбленный. — Земледелие и торговля приходят-ли в упадок? — „Необходимы охранительные пошлины“, говорят в один голос и крестьяне, и помещики, и прасолы. И наконец, если фабрикант уменьшает плату рабочим, или удлиняет их рабочий день, — „Нужно законом их обуздать!“ восклицают ораторы, метящие в депутаты, — вместо того, чтобы сказать рабочим, что против хозяйской жадности есть другое средство: отобрать у них то, что они нажили, грабя поколения рабочих. Словом, на все нужен закон. Закон о проселочных дорогах, закон для мод, закон против бешеных собак, закон о добродетелях, закон для обуздания пороков, — законы против всех зол, происходящих от беспечности и трусости людской!

Все мы до того испорчены нашим воспитанием, которое с ранних лет убивает в нас бунтовский дух и развивает повиновение властям; все мы так развращены нашею жизнью из под палки закона, который все предвидит и все узаконяет: наше рождение, наше образование, наше развитие, нашу любовь, дружбу и т. д., — что если так будет продолжаться, то человек скоро утратит всякую способность рассуждать и всякую личную предприимчивость. Наши общества, повидимому, совсем потеряли веру в то, что можно жить иначе, чем под руководством законов, придуманных Палатою, или Думою, и прилагаемых сотнями тысяч чиновников. Даже тогда, когда люди освобождаются от этого ярма, они сейчас же спешат вновь надеть его. „Первый год Свободы“, провозглашенный Великою Французскою Революциею, не продолжался более одного дня. На другой же день общество уже само шло под ярмо нового закона и власти.

В самом деле, вот уже тысячи лет, как наши правители твердят на все голоса: — „Уважение к закону,

повиновение власти!“ Отец и мать воспитывают детей в этих мыслях. Школа подтверждает уроки родителей и доказывает необходимость повиновения, давая детям обрывки науки, ловко подобранные с этой целью. Из повиновения закону школа делает религию. Бога и начальство она сливает в одно божество и требует обоим одинакового повиновения. Герой истории, сочиненной услужливыми писателями,—тот, кто повиновался закону, кто защищал его против бунтовщиков.

Потом, когда юноша вступит в общественную жизнь, общество и литература, подобно капле, долбящей камень, продолжают всечасно поддерживать в нем тоже почитание власти. Большая часть ученых сочинений по истории, политике, экономике полны уважения к закону; даже естественными науками пользуются в том же направлении; в эти науки, построенные на наблюдении природы, вводят язык, заимствованный у богословия и у законников, и таким путем сбивают с толку рассудок, приучая нас почтительно относиться к писанному закону.

Газеты работают в том же направлении. В них не найдется ни одной статьи, которая не учила бы повиновению закону,—даже тогда, когда тут же, на третьей странице, каждый день даются факты, показывающие, как нелепы законы, как их топчут в грязь сами их оффициальные защитники. Холопство перед законом так привыкли представлять добродетелью, что я сомневаюсь, найдется ли хоть один революционер, который в молодости не начал бы с защиты законов против того, что называется „злоупотреблениями“,—т. е. против неизбежных последствий самих же законов.

Искусство тоже плетется вслед за оффициальной наукой. Герой ваятеля, живописца и музыканта защищает закон своим щитом и, с воспаленными глазами и раздутыми ноздрями, готов разить мечом того, кто посмеет тронуть закон. Закону воздвигают храмы, ему назначают первосвященников, которых сами революционеры не смеют тронуть; и если революция сметает какое-ни-

будь старое установление, она тотчас же, новым законом, освящает свое дело.

Сборище правил, оставленных нам в наследство временами рабства, крепостного права, феодализма и королевской власти, именуемое теперь „законом", заступило место каменных истуканов, которым в былое время приносили в жертву людей, и которых даже боялся коснуться воспитанный в рабстве человек, из страха быть убитым их громами.

Замечательно, что такое обоготворение закона стало особенно развиваться с тех пор, как ко власти пришла буржуазия во время Великой французской революции. При старом королевском режиме мало говорили о законах—разве только вслед за Монтескье, Руссо и Вольтером, чтобы противопоставлять их королевским причудам, которым люди подчинялись под страхом тюрьмы и виселицы. Но во время революции и после нее, адвокаты, метившие в правительство и попавшие в него, употребили все усилия, чтобы утвердить веру в закон, на которой они могли бы построить свою власть. Буржуазия сразу поддержала их, видя в них свой якорь спасения против народной волны; духовенство дало им благословение, чтобы спасти свой корабль от ярости бунтовавших народных волн; и наконец народ принял новое положение, созданное для него законом, видя в нем некоторое улучшение против насилия и своеволия прежних времен.

Нужно мысленно перенестись в восемнадцатый век, чтобы вполне понять это отношение народа. Нужно сердцем перестрадать его страдания от насилий, совершавшихся над ним всемогущим дворянством, чтобы почувствовать какое волшебное действие должны были оказать на крестьянина слова, впервые произнесенные во время революции:—„Равенство перед законом! Подчинение закону, без различия сословного происхождения к

богатства!“ Человек, до тех пор не имевший никаких прав, с которым обращались хуже, чем с животным, человек, который не мог найти никакой расправы против дворянина, кроме, разве, личной мести, вдруг слышит, что в своих личных правах он равен дворянину! Что, каков бы ни был закон, он одинаково грозил и барину, и его бывшему рабу; что закон провозглашал равенство богатого и бедного перед судом!

Теперь мы знаем, что в таком обещании не было всей правды; равенства экономического,—„равенства на деле“, как тогда говорили,—закон не устанавливал. Но для того времени это уже было громадным шагом вперед,—это было первое признание правды. Вот почему, когда спасители буржуазии—Робеспьер и его товарищи-якобинцы, основываясь на писаниях философов буржуазии, Руссо и Вольтера, провозгласили „повиновение закону, равному для всех“,—народ с радостью принял эту сделку, тем более, что его революционный порыв уже истощался под напором врага, все более и более прочно организованного. Народ подставил свою шею под ярмо закона, видя в этом спасение от своеволия придворных и помещиков.

С тех пор буржуазия неустанно выставляла тот же лозунг:—„равенство перед законом“. Вместе с представительным правлением „он“ составляет сущность буржуазной философии девятнадцатого века. Она развивала его в своих школах; на нем она построила свою науку и искусство; она всюду совала его, как английская ханжа, которая везде рассовывает свои духовные брошюрки. И буржуазия так хорошо вела свою линию, что теперь, с новым пробуждением народного недовольства, люди, стремящиеся к свободе, не начинают сами перестраивать общество, а просят своих новых владык осчастливить их, изменяя законы, проведенные прежними владыками.

При всем том, за последние сто слишком лет кое-что все-таки изменилось. Теперь, везде уже появляются бунтовщики, не желающие повиноваться закону, не осведомившись о его происхождении, о степени его теперешней полезности и о причинах, почему его окружают таким почтением,—почему ему повинуются? В надвигающемся перевороте действительно намечается „революция“, а не просто „бунт“,—уже потому, что мятежные умы начиняют подвергать критике все доселе свято почитавшиеся „основы“ общества и, прежде всего,—божество нашего времени,—закон.

Нарождающиеся теперь революционеры желают знать истинное происхождение закона; и они находят в его основе либо божество,—плод страхов дикаря,—такое же глупое, злое и мелочное существо, как сами жрецы, которые прикрывались сверхестественным происхождением закона; либо насилие, т. е. завоевание народов огнем и мечом. Мы начинаем изучать основной характер закона и находим, что его отличительная черта всегда была неизменность, застой, окаменение,—в то время, как человечество всегда стремится к непрерывному развитию. Мы спрашиваем также,—чем и как поддерживается закон? и мы находим на всем протяжении истории то жестокости византийского предания, то ужасы инквизиции, то средневековые пытки, то кнут палача, цепи и топор, состоящие на службе у закона; или же подземные тюрьмы, страдания заключенных и их близких, их слезы, их проклятия... И теперь мы видим все тот же топор, ту же веревку, те же массовые расстрелы, те же тюрьмы, и в них—заключенных, доведенных заключением до состояния зверя, посаженного в клетку, с окончательно убитым в нем нравственным чувством. А над всем этим восседает судья, лишенный чувств, составляющих лучшую сторону человеческой природы,—существо, обратившееся в маньяка, в полупомешанного, живущего в мире своих видений и условных понятий, способный со смаком предписывать смертную

казнь, или пожизненное заключение; причем этот маньяк злой, даже без возбуждения,—не сознает, как низко пал он, даже по сравнению с теми самыми, над кем он произносит приговоры.

Но кто-же они, наши законодатели?

— В законодательных Палатах, законы проводят люди, большею частью не знающие даже азбуки того, о чем пишутся законы, а потому руководящиеся, главным образом, партийными соображениями. Сегодня они проведут закон об оздоровлении городов, не имея ни малейшего понятия об общественной гигиене; завтра они утвердят военный устав, — сами никогда не бравши в руки ружья, — или-же они об'явят ряд законов о народном обучении, когда сами не знают, как дать образование своим собственным детям! Так законодательствуют они вкривь и вкось, одного только не забывая — штрафа и тюрьмы тому, кто не исполнит их велений, хотя те, которых они велят наказывать, может быть, в сто раз честнее их самих!

Наконец, кого и что находим мы на службе у закона? — Тюремщика, в котором воспитали человека, понемногу утратившего всякое человеческое чувство; жандарма, обращенного в собаку ищейку; шпиона, т. е. негодяя, лишенного всякого чувства человеческого достоинства; и наконец донос, т. е. подлость, награждаемую как добродетель, и подкуп, возведенный в систему... Словом, — все худшие стороны человеческой природы поощряются, лелеются и воспитываются ради торжества закона!

Вот почему, видя и зная все это, мы не повторяем, как попугаи, „Уважение к закону!“ а кричим: „Презрение к нему и его аттрибутам!“ Вместо трусливого „повиновения законам“, мы говорим: — „Бунт против всех законов! Взвесьте зло, делающееся во имя каждого закона, и то добро, которое он мог дать людям, взвесьте

их, и вы увидите, что мы правы. — Вы поймете, что надо искать чего то другого!“

II.

Закон — продукт сравнительно новый, так как громадные массы человечества прожили многие тысячи лет, не имея еще никакого писанного закона, ни даже законов высеченных условными знаками в камне при входе в храмы. В то время взаимные отношения между людьми управлялись *обычаями*, *привычками*, *нравами*, окруженными почетом вследствие долгой практики. Эти привычки приобретались людьми с раннего детства, точно также как с детства научались люди добывать себе пропитание рыбной ловлей, охотой, разведением скота, или земледелием.

Все человеческие общества прошли через эту ступень, и по сию пору значительная часть людей живет без писанных законов. Множество племен имеют нравы и обычаи — т. е. „обычное право“, как говорят законники, — установившиеся привычки общественной жизни. И этого достаточно, чтобы поддерживать хорошие отношения между членами рода, племени, или сельской общины. Тоже самое еще держится в значительной мере даже среди цивилизованных, „благоустроенных“ народов. Достаточно выйти из наших больших городов, чтобы убедиться, что взаимные отношения крестьян держатся не писанным правительственным законом, а издавна установившимися обычаями. Русские, итальянские, испанские крестьяне и даже значительная часть французских и английских живет еще, не имея почти никакого дела с писанным законом. Он вмешивается в их жизнь только для того, чтобы определять их отношения к государству; что-же до их взаимных отношений — иногда

очень сложных — они устраиваются на основании обычая. В древности так жило все человечество.

Если всматриваться в нравы и обычаи первобытных народов, то в них заключаются два определенных течения.

Так как люди живут не в одиночку, то у них вырабатываются привычки, полезные для сохранения общественного быта и для размножения породы. Без чувств общественности, без практики взаимной поддержки (солидарности), жизнь обществами была бы невозможна. Не закон вводит эти нравы и привычки; они препятствуют всякому законодательству. Точно также не религия ввела их в жизнь: привычки, делающие общежитие возможным, препятствуют религии: они существуют у всех живущих обществами. Они вырабатываются силою вещей, как то, что мы называем у животных инстинктами, и вырабатываются путем *развития*, (эволюции), того, что *полезно и даже необходимо*, так как они облегчают борьбу за существование среди враждебных сил природы. Дикари-людоеды отказываются в конце-концов от людоедства, потому, что, заведя какую-нибудь обработку земли, или же насадив деревьев для своего пропитания, они скоро находят, что им выгоднее кормиться таким образом, чем жить в проголодь и раз в год наесться, убив какого-нибудь уже умирающего старика[1]). Мы знаем также из лучших описаний жизнь дикарей, что среди племен, совершенно независимых и не имеющих ни законов, ни начальников (как, например эскимосы), члены того же рода не наносят друг другу ударов при каждой ссоре, потому что привычки жизни обществами выработали в них некоторые чувства братства и взаимности. В слу-

---

[1]) О людоедстве и о „дикарях“ вообще, см. мою книгу Взаимная **Помощь**.

час ссоры они обращаются к третьему лицу, или к своему миру, или роду, вместо того, чтобы разрешить ее ударами ножа. Привычки гостеприимства, уважение к человеческой жизни, чувства взаимности, сострадание к слабым и доходящая до самопожертвования храбрость, которую практикуют сперва для защиты детей, или своего друга, а потом и для защиты своего рода, — все эти качества развивались в людях гораздо раньше всякого законодательства; и развивались они независимо от религий, — совершенно также, как те же качества развиваются у всех общительных животных. Они не *прирождены* человеку (как это утверждают духовенство и мыслители метафизики), а развиваются *в силу самой общественной жизни.*

Но рядом с такими нравами, необходимыми для существования обществ и для сохранения человечества, развиваются в человеческих обществах и другие желания, другие страсти, а следовательно и другие привычки, другие обычаи. Желание преобладать и навязывать другим свою волю; желание захватить то, что вырастили или нажили люди соседнего племени; желание покорить себе других людей, чтобы воспользоваться всякими благами, не работая, в то время, как рабы производят все необходимое и доставляют хозяину всякие удовольствия и наслаждения; наконец, желание горных племен присвоять себе то, что наживают хлебопашцы в равнинах,— эти себялюбивые стремления составляют другое течение нарождающихся нравов и обычаев. К тому же, шаман или жрец — пользующийся страхами толпы и усиливающий их, тогда как сам он от них избавился, а с другой стороны — воин, который устраивает набег на соседний род, чтобы вернуться домой с добычей и рабами — оба они, рука об руку, стараются привить первобытным обществам вожделения и привычки, помогающие им обоим утверждать свое преобладание. Поль-

зуясь людской ленью, страхами и косностью, они успевают понемногу ввести в жизнь привычки, на которых они могут укреплять свою власть.

Ради этого, они пользуются, прежде всего, духом людской косности, рутины, т. е. привычки поступать так, как уже раньше поступали; она сильно развита у детей, у дикарей, и у всех животных, и ею пользуются так называемые „руководители народов". Человек, особенно человек суеверный, всегда боится сделать что нибудь не так, как оно делалось раньше: все старинное пользуется у него особым уважением,—„Так делывали наши деды и отцы; жили они не худо—вот вас выростили; ну, и вы также живите!"—так говорят старики молодежи, когда она пытается что нибудь изменить в жизни. Неизвестное будущее страшит стариков, и они предпочитают держаться старины, хотя эта старина, в сущности, представляла нищету, гнет, рабство. Можно даже сказать, что чем несчастнее человек, тем более боится он перемен, из страха чего нибудь худшего. Нужно, чтобы в его мрачную хижину проник хотя луч надежды; нужно, чтоб ему улыбнулось хоть маленькое улучшение его быта, чтобы, он осмелился критиковать свой обычный образ жизни и пожелал перемены.

Пока не зародилась надежда на лучшее, человек живет по старому. Большинство дикарей так боится перемены, что они скорее дадут себя убить, чем нарушить обычаи и заветы своих предков. Их учили, что души предков, блуждающие по ночам, обидятся за всякое изменение ихнего склада жизни; что всякое нарушение старого навлечет всякие беды на весь род,—и они верят этому. Но—что говорить о дикарях! Сейчас, среди нас, сколько из наших отцов, и сколько среди нас политических деятелей, экономистов и даже людей, считающих себя революционерами, поступают точно также как дикари; т. е. цепляются и держатся за прошлое, уже обреченное на вымирание! Сколько общественных деятелей все время ищут „прецедента"—т. е. чего ни-

будь что уже было,—чтобы внести ту или другую перемену! Сколько ярых революционеров знают одно: подражать тому, что уже было в прежних революциях!

Этот дух *предания*, *рутины*, родящийся из суеверия, умственной лени и умственной трусости, всегда составлял истинную силу всех поработителей народов; и в первобытных обществах им широко пользовались жрецы и военоначальники, чтобы охранять обычаи, особенно выгодные для них самих.

Пока источниками неравенства среди людей были только естественные различия в способностях и силах, и еще не было внешних причин, чтобы усиливать и удесятерять их путем накопления богатств и сосредоточения власти в немногих семьях,—привязанности к старине достаточно было, чтобы установить власть нескольких человек над всеми остальными в роде, или племени. Достаточно было—ловко использовать эту привязанность. Еще не чувствовалось надобности в сложном аппарате судов и целого Свода законов и наказаний.

Но когда общества начали разростаться, и в них все резче обозначалось разделение на два враждебных лагеря,—из которых один стремился закрепить свою власть, а другой уже пытался освободиться от нее,—тогда начались столкновения, началась борьба. Тот, кто в данную минуту оказывался победителем, стремился закрепить свою победу, сделать ее несомненной, неоспоримой, священной в глазах побежденных. И тогда являлся „Закон", освященный жрецом, или первосвященником, и на защиту его выступали топор и секира воина. Прежде всего, Закон, конечно, заботился о том чтобы сделать незыблемыми, неоспоримыми те нравы и обычаи, которые были выгодны для правящего меньшинства. Военная же Власть бралась обеспечить повиновение народа,—тем более что воин видел в этом свою выгоду: он переставал быть представителем грубой силы

и становился *защитником священного закона.*

Но, если бы Закон содержал только правила, полезные для власть имущих, он не мог бы утвердиться; ему скоро перестали бы повиноваться. И вот законодатель умело соединил в том же сборнике, в тех же „скрижалях закона“ оба рода нравов и обычаев, имевшихся в обществе: правила взаимности, сложившиеся, чтобы обеспечить общественную жизнь, и такие правила, которые способствовали утверждению в обществе первенства и власти. Нравы, необходимые для жизни общества искусно были смешаны в законодательстве с правилами, введенными в свою пользу самими законодателями; и от толпы требовалось одинаковое уважение к тем и другим.—„Не убивай!“ говорил закон, и тут же прибавлял:—„Приноси жертвы богам и плати жрецу десятину!“—„Не воруй!“ и вслед за тем:—„Неплатящему налога королю — отрубить руку!“ и т. д.

Таков везде был закон, и этот двойной характерть он сохранил до сих пор. Желая закрепить свою власть и устанавливая обычаи, полезные для них самих, законодатели искусно смешивали нужные *им* законы с обычаями, полезными *для жизни общества,* (в сущности, не нуждавшимися в защите закона, так как их и без того уважали).

Таким образом создавалось то, что бытовые обычаи, ставшие *законом*, так сказать, окаменевали. Являлось препятствие их естественному развитию по мере развития человеческого разума и его изобретений; налагалась узда на дальнейшее развитие. Но вместе с тем, твердо укоренялась власть духовных руководителей и светских правителей.

Вот почему закон, рожденный из насилия и обмана, и развивавшийся под покровом Власти, имеет также мало прав на наше уважение, как и частный Капитал. Он рожден из суеверия и насилия; он установлен был на пользу жреца, завоевателя и богатого эксплоататора; и его придется уничтожить вполне тогда, когда народ

захочет порвать свои цепи. Тогда понятие о справедливости, присущее человеку в его общественной жизни, найдет себе новое выражение[1]).

III.

Мы видели, как закон возникал из установившихся нравов и обычаев, и как, с самого начала, он представлял смесь, где с одной стороны подтверждались полезные и необходимые привычки общительной жизни, а с другой—устанавливались новые порядки, подтверждавшие народные суеверия и узаконявшие права сильного. Такое двойственное происхождение законодательства определило дальнейшее его развитие у народов, среди которых все более и более развивалась общественная жизнь. Но в то время, как ядро общительных нравов и обычаев очень медленно расширялось, другая составная часть законов, установленная на пользу правящих классов, быстро росла и растет по сию пору. Только время от времени правители позволяли вырвать у себя какой-нибудь закон, защищавший, или повидимому охранявший права неимущих. Но и тогда новый закон только отменял или слегка смягчал предшествовавший закон, установленный на пользу правящего сословия.—„Лучшие законы“, справедливо писал Бокль, „были те, которые отменяли предыдущие“. Но—сколько усилий приходилось употребить, и сколько пролить крови, раньше, чем удавалось добиться отмены каждого установления, имевшего целью держать народ в цепях! Во Франции, чтобы от-

[1]) Мысли, вкратце развитые в этой главе, были потом развиты в подробностях в ряде последующих работ. „*Взаимная Помощь*“, „*Государство и его роль в истории*“, „*Мщение, именуемое Справедливостью*“, „*Справедливость и Нравственность*“, а также развиваются в большой, еще неоконченной работе об Основах Нравственного (Этике). (*Прим. 1919 года*).

менить пережитки крепостного права и феодальных повинностей и сломить силу придворной знати, понадобилось четыре года революции и двадцать лет последующих войн. Чтобы добиться отмены любого скверного закона, перешедшего к нам из старых времен, приходится бороться десятки лет,—и то, большею частью такие пережитки исчезают лишь путем под‘ема революционных сил.

Со времени Роберта Оуэна и Фурье, т. е. с двадцатых годов 19-го века, социалисты многократно указывали на историю зарождения Капитала. Они рассказали, как он зарождался путем войн и грабежа, из рабства и из крепостного права, из плутовства и из современной эксплоатации рабочих. Они показали, как он выкармливался кровью рабочих, и как понемногу он завоевал весь мир. Это сделано. Но теперь социалистам предстоит рассказать ту же историю относительно зарождения и развития Закона. Народный ум, опережая, как всегда, кабинетных ученых, уже распознает суть этой истории и намечает ее основные черты. Нужно только обстоятельно ее разработать.

Будучи создан для того, чтобы обеспечить некоторым людям плоды грабежа, захвата и эксплоатации, Закон, в общих чертах развивался также, как и Капитал: эти братья близнецы шли рука-об-руку, кормясь оба нищетой и страданиями человечества. Их история была одна и та же во всех странах Европы. Разница была только в мелких подробностях, так что, зная развитие закона во Франции, в Германии, или в России, значит знать основные черты его развития у других европейских народов.

В зачатке, Закон происходил из народного договора. На Майском или на Мартовском сходе собирался весь народ и постановлял основы народного договора. Майское Поле, т. е. Всенародное Вече некоторых более первобытных республик (кантонов) Швейцарии до сих пор собирается,

как в былые времена, хотя его уже несколько исказило вторжение буржуазной цивилизации и стремление к централизации власти. Конечно, и тогда договор уже не был вполне добровольным: сильный и богатый уже тогда могли навязывать отчасти свою волю. Но тогда они, по крайней мере, встречали сопротивление в народных массах, которые по временам давали им почувствовать всю силу. Такое же Вече собиралось во всех вольных городах.

Но, по мере того, как Церковь и феодальный помещик начали приобретать власть над крестьянами и горожанами, право законодательства стало ускользать из рук народа, и переходило в руки немногих. Церковь расширяла свои права; благодаря сокровищам, скоплявшимся в ее руках из приношений верующих, она могла вмешиваться все более и более в частную жизнь тех, чьи души она спасала от дьявола; и мало-по-малу у нее оказались крепостные, обязанные на нее работать; создавался новый вид рабства, против которого в былое время восставали христиане. Церковь взымала налог со всех и понемногу расширяла право собственного суда в своей пастве. Пользуясь и этим правом она все умножала число наказуемых ею проступков и преступлений. В то же время она богатела, по мере умножения законов, так как пени и судебные пошлины шли в ее сундуки. Законы, таким образом, уже переставали быть защитниками народных интересов: „их скорее можно было признать за произведение Собора религиозных фанатиков, чем законодателей“—пишет упомянутый выше историк французского права.

В то же время и светский землевладелец расширял свои права над крестьянами, а также мещанами и ремесленниками зарождавшихся городов; и он также становился их владетелем, судьею и законодателем. В десятом веке, в числе документов, имеющих общественное значение, мы находим преимущественно договоры, в которых перечисляются обязательства барщины и подати крепостных и вассалов землевладельца. Законодатели

того времени—не что иное, как кучка разбойников, организующихся для разбоя среди населения, которое становится все более и более мирным, по мере того, как оно переходит от охоты и скотоводства к земледелию. И эта кучка разбойников и законодателей только эксплоатирует в свою пользу понятие о справедливости, присущее всем народам. Вместе с тем, они становятся судьями,—вместо мира,—и из этого делают себе источник дохода; а их приговоры становятся примерами („прецедентами“) для дальнейшего закрепления их владычества.

Позднее, эти приговоры, собранные законниками и приведенные ими в порядок, послужили основою наших теперешних Сводов Законов.—И нам твердят теперь, что мы должны повиноваться этим наследиям попов и помещиков!

Первая революция во Франции,—т. е. восстание коммун в тринадцатом веке,—смогла уничтожить только часть этих законов. Действительно хартии освобождавшихся городов были большею частью только сделкою, компромиссом, между прежним законодательством помещиков, епископов и светских владельцев,—и новыми отношениями, сложившимися в восставших коммунах (городах и селах) между горожанами (или крестьянами) и помещиками. А между тем,—какая разница между этими законами и нашими теперешними! Коммуна не считает себя вправе запирать навеки в тюрьмы, или гильотинировать своих граждан из-за государственных соображений: она ограничивается тем, что выгоняет из своих стен гражданина, вступавшего в заговор с врагами своей коммуны, и разрушает его дом. Для большинства „проступков и преступлений“ она довольствуется денежным штрафом; мы находим даже, в коммунах двенадцатого века совершенно справедливое,—но теперь уже забытое постановление, что вся коммуна отвечает за злодеяния каж-

дого из своих членов. Общества того времени считали, что всякое преступление есть случайность, или несчастье (так думают до сих пор русские крестьяне); они не допускали мести, проповедуемой Ветхим Заветом, а потому понимали, что в сущности вина за каждое преступление лежит на всем обществе. Нужно было все влияние Византийской Церкви, вносившей на запад утонченную жестокость восточных деспотов, чтобы внести в нравы Галлов и Германцев смертную казнь и ужасные пытки, которым подвергали всех заподозренных в преступлениях. Нужно было также все влияние Римского права,—продукта гнили императорского Рима,—чтобы привить понятия о неограниченной собственности на землю, пришедшие на смену первоначальным понятиям сельской общины.

Известно, что вольные коммуны двенадцатого века не могли удержаться: в шестнадцатом веке они стали добычею королевской власти[1]). И, по мере того, как королевская власть приобретала все больше и больше силы, право давать законы переходило постепенно в руки кучки придворных прихвостней. Король обращался за советом к народу только тогда, когда он выпрашивал у него новые поборы деньгами и людьми. „Генеральные Штаты“, т. е. „Земские Соборы“, созываемые раз в двести лет—и то больше в годы полного военного разгрома, а также „Чрезвычайные Советы“, или же „С‘езды Лучших Людей“, где министры короля едва выслушивали „жалобные просьбы“ его подданых,—только в экстренных случаях становились законодателями. При обычном же течении дел, законы писались Церковью и министрами короля. Впоследствии же, когда власть была еще более сосредоточена, и король мог сказать: „Государство, это—я!“ законы стали писаться в тайных „Советах ко-

---

[1]) Подробнее об этом см. в моей книге Взаимная Помощь и в брошюре Государство и его роль в истории.

роля", где по фантазии полоумного владыки, или по капризу министра сочинялись законы, которым подданные должны были повиноваться под страхом смертной казни, или, в лучшем случае, заточения. Все прежние обычаи, которыми обеспечивалась хоть некоторая защита в судах, отменялись: народ становился крепостным рабом королевской власти и небольшой кучки окружавших короля придворных. И тогда введены были самые ужасные казни: колесованье, четвертованье, „сдиранье шкуры", а до суда—самые злобные, утонченные пытки, выдумываемые полупомешанными монахами и развратниками. Вот в чем состоял тогда „прогресс" „просвещенных самодержцев", пока во Франции не грянули громы Великой Революции [1]).

Великой Революции в конце 18-го века, и никому другому, принадлежит честь разрушения безобразной законодательной постройки, выстроенной феодализмом и королевской властью.

Но, разрушив или, по крайней мере, расшатав это прогнившее здание, Революция передала буржуазии право писать законы для всего государства, для всей его жизни. Буржуазия же, в свою очередь, начала накоплять новые законы, чтобы держать в своих руках—и надолго удержать—управление народом. Ее парламенты неустанно пишут теперь законы, и горы таких бумаг растут с поразительной быстротою. Но—что представляют, в сущности, все эти законы?

Большая часть их имеет одну только цель: охранять частную собственность, т. е. богатства, накопляемые путем эксплоатации человека человеком; затем—открывать капиталу все новые возможности и утверждать законом новые формы эксплоатации путем железных дорог, теле-

---

[1]) Беру политическую историю Франции, так как, в сущности, она повторялась, с отставаньем во времени, на всем материке Европы.

графов, электрического освещения, химической промышленности, выражения мысли в литературе и науке и т. д.

Остальные законы, если не прямо, то косвенно имеют ту же цель, т. е. поддержку правительственной машины, служащей для обеспечения капиталу захвата народного богатства и эксплоатации народного труда. Суд, полиция, армия, народное образование, финансы,—все служит тому же богу: капиталу и чиновнику государства. Все это имеет одну цель: обеспечить и облегчить капиталисту и чиновнику возможность наживаться трудом всех трудящихся. Переберите все законы, написанные за восемьдесят лет в девятнадцатом веке,—и вы не найдете ничего другого: даже уступки требованиям крестьян и рабочих делались прямо с целью прочнее обеспечить эксплоатацию. Охрана личности, которую представляют в учебниках, как главную задачу закона, на деле занимает в нем почти ничтожное место, так как в теперешних обществах нападения на других, вызванные грубостью, или злобою, уже идут на убыль. Нынче редко убивают из чувства мести, а все больше с целью грабежа. И если такого рода насилия против личности вообще идут на убыль, то обязаны мы этим, во всяком случае, не законодательству, а вырабатывающимся среди нас привычкам все большей общительности. Если бы завтра уничтожить все законы, написанные для охраны личности от насилий, и прекратить все такие преследования,—число насилий из личной мести, или вследствие дикости нравов, нисколько не увеличится.

Быть может, нам заметят, что все-таки за последнее пол-столетие проведено было не мало либеральных законов. Но — разберите эти законы, и вы увидите, что большинство их было только отменою законов, полученных нами в наследство от прежних веков. Все либеральные законы, всю программу радикалов можно выразить немногими словами:—отмена законов, ставших невыгодными

для самой буржуазии, и иногда только—возврат к некоторым вольностям коммун двенадцатого века, распространенным на всех граждан. Уничтожение смертной казни, суд присяжных для всех преступлений (суд присяжных, либеральнее теперешнего, существовал уже в двенадцатом веке [1]), право избирать судей, право граждан предавать суду чиновников, уничтожение постоянных армий, право сходок, свободное обучение—все то, что нам представляют, как плод современного либерализма, есть не что иное, как *возврат* к свободам, существовавшим раньше, чем Церковь и король установили свою власть над людьми.

Покровительство эксплоатации,—прямое, путем законов о собственнности, и косвенное, путем поддержки Государства,—вот, следовательно, сущность и суть современных законов и главная забота наших, дорого стоющих законодательных палат. Но—не пора ли нам больше не увлекаться словами и наконец присмотреться к действительности? Не пора ли открыто признать, что закон, который вначале являлся сборником обычаев, полезных для поддержания жизни обществами, стал теперь орудием для поддержки эксплоатации одних людей другими, для утверждения власти эксплоататоров над трудовыми массами?—Цивилизующее значение закона сошло теперь на-нет; осталось одно: охрана эксплоатации.

Вот что мы узнаем из истории развития законов. Есть ли это достаточное основание, чтобы относиться к ним с уважением?—Конечно, нет! Подобно капиталу, закон—продукт разбойничества, и так же мало, как капитал, он имеет прав на уважение. А потому, первым долгом революционеров девятнадцатого века будет сжечь все законы, вместе с грамотами, охраняющими собственность.

[1]) См. *Взаимная Помощь*, гл. IV,

IV.

Если изучать законы, управляющие теперь человечеством, то оказывается, что их можно разделить на три главных разряда: охрана собственности, охрана правительства и охрана личности. И, ближе всматриваясь в содержание каждого из этих разрядов, приходишь к логическому неизбежному выводу: *ненужность и зловредность закона.*

Что касается охраны собственности, у социалистов уже сложилось определенное мнение на этот счет. Законы о собственности написаны не для того, чтобы обеспечить личности, или же обществу, плоды их труда. Напротив того, они писались для того, чтобы отнять у производителя или у общества часть того, что они произвели, и отдать эту часть другим. Например, когда закон обеспечивает права господина такого-то на дом в таком-то городе, ему обеспечивается владение не какой-нибудь избой, которую он себе выстроил (один или с помощью друзей); *такого* права никто у него не оспаривал бы. Но ему обеспечиваются права на дом, который вовсе не представляет плодов труда самого владельца, так как строили его люди, которым был выплачен не весь их труд; а затем всякий дом в городе представляет *общественную ценность*, созданную всем обществом. Действительно, такой же дом в сибирских степях, не имел бы ценности, какую он имеет в большом городе, где есть проведенная вода и газ, и где десятки поколений работали над украшением города, над его университетом, школами, театрами, магазинами, железной дорогой и т. д.

Таким образом, давая права собственности на дом в Париже, Лондоне, Москве и т. п., закон, нарушает всякую справедливость; он дает домовладельцу часть про-

дуктов труда других—часть того, что принадлежит *всем и никому лично*. И именно потому, что такое присвоение несправедливо (все другие формы собственности носят такой же характер), именно поэтому требуется целый арсенал законов и целая армия полицейских и судей, чтобы поддерживать несправедливость, вопреки здравому смыслу и вопреки понятиям о справедливости, свойственным всем людям.

Но половина теперешних законов—все гражданские законы всех стран—имеют целью поддержать именно такое присвоение, такую монополию в пользу немногих, против всех остальных. Три-четверти дел, разбираемых в судах,—не что иное, как споры между монополистами: два грабителя спорят из за дележа добычи. И добрая доля уголовных законов преследует ту же цель, так как они стремятся удержать трудящихся в подчиненном положении относительно предпринимателей.

Законов же, обеспечивающих трудящемуся плоды его собственных трудов, таких законов даже вовсе не имелось, и по сию пору имеется очень мало. Оно так естественно и так вошло в наши нравы и обычаи, что закону об этом нечего и думать[1]). Явное, вооруженное разбойничество уже редко в наш век; редко также, чтобы один рабочий оспаривал у другого плоды его труда; а если случится у них недоразумение, то они обходятся без суда, обращаясь к своим-же товарищам. Отбирает у рабочего часть плодов его труда только помещик, или предприниматель—при помощи закона.

Таким образом установления о собственности, напол-

---

[1]) Любопытно, например, что в России, в Англии, во Франции до 1793 года, и т. д. не было закона, утверждающего право собственности крестьян на их общинные земли. Вследствие этого, законы 18-го века позволили в Англии помещикам отобрать у общин их земли. В России, общинное землевладение было утверждено, если не ошибаюсь, особым законом лишь при освобождении крепостных.

няющие наши своды законов и столь любимые адвокатами, — не преследует иной цели, кроме покровительства монополистам, присвояющим плоды чужого труда; а потому они не имеют права на существование, и революционеры из социалистов намерены не щадить их во время революции. Действительно, мы смело сможем тогда уничтожить *все* законы, касающиеся прав собственности, все акты, устанавливающие их, и архивы, где хранятся эти акты—словом, все то, что касается учреждения, которое представляет такое же пятно в истории цивилизации, как рабство и крепостное право.

То, что сказано о законах, касающихся права собственности, вполне прилагается и ко второму крупному разряду законов, т. е. к законам, поддерживающим и охраняющим правительства.

Тут опять имеется целый арсенал законов, декретов, предписаний, циркуляров и т. п., которыми охраняются различные формы правительства, выбранного и захватного. Мы знаем—анархисты не мало доказывали[1]) относительно всяких форм государственного управления,— что *все* правительства, монархические, конституционные и республиканские, считают своей обязанностью поддерживать—в случае надобности, силою—привилегии правящих классов: аристократии, духовенства и буржуазии. Добрая треть наших законов, т. е. все „основные законы“, законы о налогах, о таможенных пошлинах, об организации министерств, армии, полицию, Церкви и т. д.— а таких законов в каждом государстве набирается тысячи—служат только для того, чтобы содержать, чинить и развивать государственную машину, которая, в свою очередь, служит, главным образом, чтобы защищать имущие классы.

---

[1]) Со времен англичанина Годвина, писавшего в 1793 году.

Разберите каждый из этих законов; приглядитесь, как они прилагаются в жизни изо дня в день, и вы увидите, что из них нет ни одного, который стоило бы сохранить. Начиная с тех, которые выдают во Францию сельскую общину, со связанными руками, попу, местному крупному буржуа и под-префекту, и кончая теперешнею знаменитою Конституциею (девятнадцатою или двадцатою со времени 1789-го года), которая дает Франции Палату из межеумков и биржевиков, подготовляющих диктатуру какого-нибудь авантюриста, а не то и коронованного болвана,—из всех этих законов вы едва-ли выберете такие, что стоило-бы сохранить их. Насчет этого нет сомнения, не только среди анархистов, но и среди буржуа, более или менее революционного склада мысли; и те и другие согласны, что лучшее употребление этих законов было бы большой праздничный костер.

Остается, стало быть, только третий разряд законов,—самый главный, так как относительно их держится наиболее предрассудков: это—законы уголовные для защиты личности, для наказания преступлений и предупреждения их. Действительно, если вообще закон пользуется уважением, то главным образом потому, что этот разряд постановлений считается необходимым для охраны личности. Действительно, эти законы выработались из нравов и обычаев, полезных для жизни человека обществами; ими пользовались все захватчики власти, с самых ранних времен, для утверждения своего авторитета. Власть начальников у первобытных дикарей, власть богатых „семей“ в средневековых городах и власть „королей“ всегда основывалась главным образом, на их судебной власти; и до сих пор, когда говорят о необходимости правительства, главным образом имеют в виду его судебную должность.—„Без правительства, люди перегрызли-бы друг друга“, говорит крестьянин.—„Конечная цель всякого правительства, это—дать двенад-

цать честных присяжных каждому обвиняемому", говорил Беркэ.

И вот, несмотря на все существующие предрассудки, давно пора анархистам открыто заявить, что и этот разряд законов также бесполезен и вреден, как и остальные.

Начать с того, что из так называемых преступлений против личностей две-трети, а может быть и три-четверти вызываются желанием овладеть чужою собственностью. Этот громадный разряд „преступлений и проступков" исчезнет только тогда, когда исчезнет личная собственность.

— Но, скажут нам, всегда найдутся звероподобные люди, которые могут нанести другому удар ножом при малейшей ссоре, или же выместят малую обиду убийством,—если не будет законов и наказаний, чтобы обуздать таких дикарей. Вот что постоянно возражают нам, когда мы высказываем сомнение насчет права наказывать. А между тем есть один неоспоримый факт: строгостью наказаний преступность не уменьшается. Вешайте, четвертуйте, если хотите, убийц,—число их не уменьшится. Наоборот, уничтожите смертную казнь, и число их не увеличится. Умные статистики и законоведы отлично знают, что никогда еще усиление строгости уголовных законов не уменьшало числа покушений на чужую жизнь. А с другой стороны,—случится хороший урожай, подешевеет хлеб, да при этом еще стоит хорошая погода, и число убийств немедленно падает. Действительно, статистикам известно, что число уголовных преступлений убывает и возрастает пропорционально ценам на жизненные припасы и даже преобладанию хорошей или дурной погоды. Из этого конечно не следует, чтобы все убийства были внушены голодом, или пасмурным небом. Но, когда урожай был хороший и жизненные припасы не дороги, люди становясь веселее, менее несчастными и менее озлобленными, менее дают над собою воли тем-

ным страстям и не убивают себе подобных из-за пустяков[1])

Затем известно, что страх наказания обыкновенно не останавливает убийц. Тот, кто идет убивать соседа из мести, или потому что дошел до отчаяния, обыкновенно не рассуждает о последствиях; и нет убийцы, который не рассчитывал бы избежать преследования. Впрочем, пусть каждый сам хорошенько вдумается в преступность и разберет уголовные преступления и их побудительные причины, а также пусть он подумает о том, что представляют, собой наказания: казнь, тюрьма и т. д.; и если он отрешится от предвзятых мыслей, он неизбежно придет к такому заключению:—

„Не говоря об обществе, где каждый будет получать лучшее воспитание, чем теперь, где с молодости будут развиваться все способности, и где возможно будет каждому ими пользоваться,—что дает каждому такие наслаждения, которых он не захочет лишиться, совершая преступление,—не говоря уже о будущем обществе, а беря теперешнее, со всеми жалкими его продуктами, которые мы видим в кабаках больших городов,—в тот день, когда *никакого наказания* не будет налагаться на убийц, число убийств не увеличится ни на одну единицу. Мало того, оно, по всей вероятности уменьшится,—хотя бы только всеми теми случаями, где убийцами становились люди, получившие с молодости тюремное образование“.

Нам все время толкуют о благодеяниях закона и о полезности наказаний. Но попытался ли кто-нибудь подвести баланс между предполагаемыми „благодеяниями

[1]) В Англии замечено было, что настроение Парламента и его большая или меньшая сварливость несомненно зависят от погоды. Сварливость увеличивается при известном ветре.

наказаний“ и их зловредным, развращающим влиянием? Между тем подведите только итоги скверным страстям, возбуждаемым в людях жестокими казнями, особенно когда они совершаются на улицах! Кто же больше всего постарался развить в человеке зверские инстинкты (неизвестные животным: человек—самое жестокое из животных), как не король и не судья, вооруженные законом, которые заставляли на площади рвать человеческое тело на куски, лить кипящую смолу на раны, вырывать руки и ноги, раздроблять кости и распиливать людей на-двое:— все это для того, чтобы охранить свою власть. Подсчитайте только всю испорченность, ежедневно вливаемую в общество *доносами*, которые поощряются судьями и оплачиваются правительствами, под тем предлогом, что так открываются виновники преступлений!

Поживите в тюрьме и там присмотритесь к тому, *чем становится человек*, лишенный свободы и запертый с другими, уже в корень испорченными всею гнусностью, которою пропитаны современные тюрьмы. И *знайте*, что сколько ни реформировали тюрьмы некоторые филантропы, тюрьмы до сих пор, становились все хуже и хуже. Действительно, наши современные „исправительные“ тюрьмы вносят в сто раз более разврата, чем подземелья и башни средних веков. Наконец, подумайте только, какой разврат, какое извращение ума поддерживается в человечестве требованием *повиновения*— этой основы закона,—и наказания, власти, имеющей право наказывать и судить помимо голоса своей совести; какой разврат вносит в общество сама должность палача, тюремщика, доносчика—весь этот штат закона и власти.

Разберите все это, и вы вероятно согласитесь с нами, когда мы говорим, что закон и наказание суть безобразия, которым пора положить конец [1]).

---

[1]) Сошлюсь здесь на мою книгу „В русских и французских тюрьмах“, где даны факты в подтверждение, и на мои брошюры: „Мщение, называемое Справедли-

Надо, впрочем, сказать, что народы, менее испорченные государственным воспитанием, чем мы, понимают, что так называемый „преступник“ в большинстве случаев—именно „несчастный“; что избивая его, надевая на него цепи, или же умерщвляя его, на эшафоте или понемногу в тюрьме, мы ничего не достигаем; что *надо придти ему на помощь*, самым братским обращением, как с равным, и практикою жизни среди хороших, честных людей. И мы надеемся, что в будущей революции раздастся такой крик:—

„В огонь гильотину! давайте ломать тюрьмы и прогоним скверную породу судей и их полицейских и доносчиков. Отнесемся как к больному брату, к тому, кого порыв страсти,—или скверное воспитание толкнуло на злое дело. А главное, отнимем у великих преступников,—плодов буржуазного безделия,—возможность облекать свои преступления в обольстительные формы! И тогда, наверное, число преступлений в нашем обществе заметно уменьшится. Преступность поддерживается, с одной стороны—бездельем, а с другой—Законом и Властью: законами о личной собственности, законами о правительствах, законами о преступлениях и наказаниях, и Властью, которая пишет эти законы и приводит их в исполнение“.

Не надо нам законов, не надо судей! Свобода, Равенство и Круговая порука, проведенные в жизнь,—единственная верная помеха развитию противообщественных наклонностей.

востью“ и „Тюрьмы“, где говорится об общественном вреде, представляемом современными „местами заключения“. (*Прим. 1919 г.).*

XV.

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО,

I.

Все, кто обладает революционным складом ума и темперамента, убеждены в том, что существующие правительства должны быть низвергнуты, дабы свобода, равенство и братство перестали быть пустыми словами и воплотились в живую действительность; и что все формы правления, испробованные до настоящего времени, всегда были ничем иным, как средством для угнетения человека человеком. В сущности говоря, не требуется особой прозорливости, чтобы придти к такому заключению. Пороки и недостатки существующих правительств так ярки, и невозможность внести в них существенные изменения так очевидна, что такой вывод напрашивается каждому здравомыслящему и наблюдательному человеку, Что же касается до низвержения правительств, то всякому известно, что в известные эпохи это совершается с величайшею легкостью. Бывают такие моменты, когда правительства, как карточные домики, рушатся почти сами собой, под напором восставшего народа. Так было в 1848 году и в 1870-м, и мы надеемся увидать подобные же движения в близком будущем.

Для буржуазного революционера, низвергнуть правительство, это—все. Для нас же это лишь начало Социальной Революции. Когда правительственный механизм пришел в полное расстройство и вся армия чиновников,

от мала до велика, впала в замешательство и не знает, в каком направлении ей действовать, так как подчиненные потеряли всякое доверие к своим начальникам, когда защитники капитала разбиты,—тогда перед нами встает великое дело разрушения учреждений, служивших к увековечению экономического и политического рабства. Возможность свободной деятельности добыта—и спрашивается теперь, что же делать революционерам?

Одни только анархисты отвечают на этот вопрос:—„Не нужно правительства, да здравствует безвластие!“ Все же остальные говорят: „Надо создать революционное правительство!“ И разница между различными революционерами—не анархистами будет только в форме, которую они захотят придать своему революционному правительству, избранному всеобщей подачей голосов в государстве или в коммуне; другие же выскажутся за революционную диктатуру.

„Революционное Правительство!“—Вот, два слова, которые плохо согласуются для тех, кто сознает, что должна означать Социальная Революция, и что означает какое бы то ни было правительство. Они противоречат друг другу; одно уничтожает другое. В самом деле, по существу своему, всякое правительство должно быть реакционным по отношению к революции и клониться к деспотизму. Оно может принимать какие-угодно формы, но уж никак не революционную, потому что революция есть синоним „беспорядка“, переворота, низвержения в несколько дней вековых учреждений, ломки, и при том насильственной, установленных форм собственности, уничтожение каст, быстрой перемены в общепринятых взглядах на нравственность, или вернее на лицемерие, замещающее нравственность,—словом, синоним освобождения личности и непосредственной ее деятельности. Революция есть нечто, прямо противоположное самой

идее правительства,—отрицание его, потому что правительство есть поддержание „установленного порядка", консерватизм, т. е. стремление к сохранению существующих учреждений, безусловно враждебное личному почину и личной деятельности.

А между тем, мы слышим постоянные разговоры об этой диковинке, точно „революционное правительство" было бы самой обыкновенной вещью, также хорошо известной каждому, как власть королевская, императорская или папская.

Что буржуазные революционеры проповедуют подобное противоречие,—совершенно понятно. Мы прекрасно знаем, что они юнимают под словом Революция. Во Франции, они стремятся просто на просто к тому или другому видоизменению буржуазной республики; для них, революция—ничто иное, как захват так называемыми республиканцами выгодных, доходных мест, которые еще находятся в руках бонапартистов или монархистов. В лучшем случае, это—отделение Церкви от Государства, т. е. замена законного брака между этими двумя учреждениями незаконным сожительством и захват церковных имуществ в пользу Государства, в особенности доходов, получаемых церковными администраторами этих имуществ; или, еще—„*референдум*", или какая-нибудь подобная хитроумная выдумка...

Но когда революционеры-социалисты увлекаются мыслью о революционном правительстве, мы должны допустить одно из двух: или они пропитаны до мозга костей буржуазными предрассудками, бессознательно почерпнутыми ими из литературы и в особенности из истории, написанной буржуазными историками для поучения буржуазии и, будучи проникнуты духом подчинения—этого продукта целых веков рабства—они не могут воображать себя свободными людьми. Или же они совсем не желают революции, хотя и твердят это слово, и вполне удовлетворятся кое-какими изменениями в существующих учреждениях, лишь бы самим им добраться до

власти; что же до народа, то его можно будет потом чем-нибудь успокоить. Такие „революционеры“ только ропщут против предержащих властей, но с тем, чтобы самим занять их место; а потому с ними мы не будем спорить и займемся только теми, которые вполне искренно ошибаются.

Начнем с первой из двух предполагаемых форм „революционного правительства“, — с выборного правительства.

Королевская или какая-нибудь другая власть свергнута; армия защитников капитала обратилась в бегство; повсюду брожение, прения об общественных делах, желание двигаться вперед. Нарождаются новые идеи, необходимость серьезных перемен ясна для всех. Надо действовать, надо безжалостно приступить к разрушению существующего, к расчистке места для новой жизни. — И что же нам предлагают? Созвать народ для выборов, выбрать немедленно правительство и поручить ему то дело, которое каждый из нас должен был бы делать сам, по собственной инициативе.

Так поступил Париж после 18 марта 1871 года. „Никогда не забуду, говорил нам один наш приятель (теперь, могу назвать его: это был Элизе Реклю), того увлечения, с которым была встречена свобода. Я спустился с своей мансарды Латинского квартала и сейчас же попал в обширный клуб под открытым небом, тянувшийся вдоль всех парижских бульваров, от одного конца города до другого. Все обсуждали общественные дела; никто не думал о делах личных; никто не помышлял о купле, о продаже; все, душой и телом стремились к будущему. Даже буржуа, и те, увлеченные всеобщим пылом, радовались появлению нового мира. Если нужно совершить социальную революцию, — совершим ее, — говорили они; пусть все будет общим; мы на все готовы! В ту минуту были на лицо все элементы революции; оста-

валось пустить их в ход. Вернувшись вечером домой, я говорил себе:—как прекрасно человечество! Как плохо знают его! Как клеветали на него!" Затем наступили выборы, а затем члены коммуны занялись решением общественных дел... и всякая преданность делу, всякое рвение потухли мало-по-малу. Каждый занялся своей обычной работой, говоря себе: „Теперь у нас есть честное правительство; пусть оно действует!.. Всем известно, что из этого вышло".

Вместо того, чтобы действовать самим, итти вперед, стремиться смело к новому порядку вещей, народ, полный доверия к своим правителям, полагается на них, чтобы предпринять что-нибудь. Вот вам первое последствие выборной системы, приведшей в Коммуне и в 1848 году к таким печальным результатам. Посмотрим же, что делали наши правители, пользовавшиеся всеобщим доверием.

Никогда выборы не были столь независимыми как в 1871 году. Враги Коммуны сами всегда признавали это. Никогда столь громадная масса избирателей не была проникнута таким желаньем дать власть в руки лучших людей,—людей будущего, революционеров. И действительно все более известные революционеры были выбраны громадным большинством; якобинцы, бланкисты и интернационалисты, т. е. представители всех трех тогдашних революционных фракций сошлись в Совете Коммуны. Выборы не могли дать лучшего правительства.

Мы знаем, к чему все это привело. Собравшись в здании Парижской ратуши, с намерением все делать по заранее установленной предыдущими правительствами форме,—когда то пылкие революционеры, реформаторы, превратились вдруг в людей неспособных, бесплодных. Не смотря на все свое желание и мужество, они не смогли даже организовать оборону Парижа. Теперь, правда, обвиняли в этом отдельных личностей; но вынов-

никами, действительными виновниками, были не отдельные личности, а вся система.

В самом деле, всеобщая подача голосов, если она действует совершенно свободно может дать, в лучшем случае, такое законодательное или учредительное собрание, которое будет представлять из себя нечто *среднее* из всех тех убеждений, которые встречаются в массе избирателей; а масса избирателей, в начале революции, лишь смутно понимает, к чему именно надо стремиться и еще более смутно отдает себе отчет в том, как к этому стремиться.

Вот, если-бы большинство страны, или отдельной общины, могло согласиться, *до* начала движения, относительно того, что нужно будет предпринять в тот день когда правительство будет свергнуто! Если-бы эта мечта кабинетных утопистов могла осуществиться, то не было-бы и кровавых бесплодных революций: раз воля большинства выступала, ясно, определенно, с знанием того, как совершить революцию, остальные подчинялись-бы добровольно. Но в действительности события происходят совершенно иначе. Революция обыкновенно вспыхивает гораздо раньше, чем всеобщее соглашение установилось; и вследствие этого те, которые имеют более или менее ясное представление о том что нужно предпринять на следующей день после революционного взрыва, всегда составляют ничтожное меньшинство. Большинство же народа имеет в это время только общее представление о той цели, к которой желательно стремиться, которой желательно достичь; но оно совершенно не знает, *как* итти к этой цели. Практическое решение найдется только тогда, когда перемены в жизни страны начнут уже совершаться; и оно будет продуктом самой революции, делом самого народа, принимающего участие в движении. Отдельные личности, каким-бы обширным умом они не обладали, совершенно неспособны найти такое решение: и если его не даст *народная жизнь*,

то начавшееся революционное движение окончится ничем [1]).

Далее если выборное учреждение не имеет тех недостатков, которые обыкновенно свойственны представительным правлениям, в нем во всяком случае отражается то настроение большинства, о котором мы сейчас говорили. Несколько отдельных личностей, олицетворяющих революционную идею данной эпохи, стушевываются среди представителей революционных школ прошлого и сторонников существующего порядка вещей. Эти личности, которые в дни революционного под‘ема могли бы быть столь полезными среди народа, распространяя всюду свои идеи, приводя в движение массы, пробуждая их творчество и нанося удары отжившим учреждениям, запираются в залу

---

[1]) Когда я писал эти строки, я еще не знал одного крупного факта из истории Великой Революции. Парижская Коммуна 1871 года была попыткой вернуться к знаменитой Парижской Коммуне 1793 года; но коммунары 1871 года проглядели одно: Коммуна Великой Революции никогда не сыграла бы крупной, сыгранной ею революционной роли, *если бы она сразу не признала автономии своих сорока-восьми* **секций, отделов,** *и не представила им широкой хозяйственной и политической деятельности.*—Секции-же составлял сам народ, и в начале их деятельность была обширная, пока централисты, не обратили их в простые отделы сыска—что и привело к смерти секций и сделало возможной жирондистскую, т. е. буржуазную революцию в июле 1794 г. Историки большею частью централисты по образованию—проглядели роль секций в Революции. Ее понял один Мишлэ, изучавший и понявший роль народа во всей предыдущей истории Франции. Когда я писал эту главу, я тоже не знал роли секций и только угадывал, что что-то в этом роде было возможно. Теперь, мы хорошо знаем роль секций из двух замечательных трудов о них,—Мелье и Брэша (Braesch), двух учеников историографа Великой Революции Олара. См. мою книгу *Великая Французская Революция*, где я разобрал действительную роль секций. Если бы Якобинцы Коммуны 1871 года не взяли верх, то и Коммуна прожила бы дольше, секции выдвинулись бы в нашем веке, как выдвинулись в 1792—1794 годах.

собрания и спорять там без конца с умеренными, стараясь вырвать у них кое-какие уступки. Они стремятся убедить своих противников, упуская из виду то что единственный способ обратить их на путь истинный и сделать сторонниками новой идеи заключается в том, что-бы проводить новые идеи в исполнение. Революционный парламент, обязанный писать законы из центра, тогда как новые формы жизни должны были бы вырабатываться на местах, повторяет все ошибки теперешних буржуазных парламентов; а правительство, вместо того чтобы быть „революционным", становится препятствием для выработки жизненных форм переворота; и для того чтобы перестать топтаться на месте, народу приходится прогонять тех, которых вчера еще он выбирал чут не единогласно.

Но к несчастью, сделать это не так легко. Новое правительство, поспешившее организовать свои административные кадры для распространения своего господства и для установки повиновения, отнюдь не намерено с готовностью уступать свое место. С целью сохранить в своих руках власть, оно цепляется за нее, со всею силою учреждения, для которого не настал еще старческий возраст. Оно противупоставляет силе силу, и чтобы выбить его из его позиции приходится браться за оружие, сделать новое восстание, и изгонять тех, на кого возлагались такие надежды!

В результате получается раздвоение революции. Потеряв драгоценное время на колебания, она будет теперь терять свои силы на борьбу между сторонниками первого правительства и теми которые убедились в необходимости отделиться от него! И все от того, что не была во время понята та мысль, что новая жизнь требует и новых форм: что революции нельзя делать, цепляясь за формы отжившие! Оттого, что люди не поняли несовместимости революции с правительством, не видели, что правительство, в какой-бы форме оно не являлось, всегда представляет

собою *отрицание* революции; что вне безвластия нет революции.

Но тоже самое следует сказать и о другой, еще более хваленой форме „революционного правительства“,— о „революционной диктатуре“.

II.

Опасность, которой подвергается Революция, отдаваясь в распоряжение выборного правительства, до такой степени очевидна, что целая школа революционеров наотрез отказывается от мысли о таком правительстве. Революционеры этой школы прекрасно понимают, что восставший народ не может создать, посредством выборов такого правительства, которое не было бы представителем прошлого и не служило бы тормазом для народных стремлений,—в особенности если дело касается такого колоссального переворота в экономической, политической и нравственной жизни страны, который предвидится в Социальной Революции. Они отказываются от мысли о „легальном“, т. е. „законном“ правительстве, по крайней мере, на время восстания против законности и настаивают на необходимости „революционной диктатуры“.

— „Та партия, говорят они, которая низвергнет правительство, тем самым займет силой, его место. Она захватит власть и вступит на революционный путь. Она примет необходимые меры для того, чтобы упрочить успех восстания; она уничтожит устаревшие учреждения, организует защиту страны от иностранного нашествия. Для тех, кто не захочет признать ее власть— гильотина, для тех, будет ли это народ или буржуазия, кто откажется повиноваться распоряжениям, изданным для упорядочения действий революции—гильотина, та же гильотина!“ Вот как рассуждают наши теперешние Ро-

беспьеры,—те, которые из великой эпопеи прошлого столетия сохранили воспоминание только об эпохе ее упадка, те, которые из всей французской революции изу- али только речи прокуроров республики.

Что касается до нас, анархистов, то наше суждение о диктатуре отдельной личности, или целой партии,—в сущности между той и другой нет никакой разницы,—совершенно определенно. Мы знаем, что социальная революция не может быть руководима одним лицом, или совокупностью нескольких лиц. Мы знаем, что революция и правительство совершенно несовместимы между собою. Правительство, какую бы оно не носило кличку: диктатура, монархия, парламент, непременно должно убить *революцию*. Мы знаем, что вся сила нашей партии в ее основной формуле: „только свободный почин, инициатива народа может создать нечто хорошее и долговечное; всякая же власть фатально стремится к уничтожению этого свободного почина". Вот почему лучшие из нас, если бы когда-нибудь они перестали осуществлять свои идеи посредством народа, а напротив захватили бы в свои руки то могущественное орудие, которое зовется правительством, и которое позволило бы им действовать по своей фантазии, стали бы через неделю величайшим злом". Мы знаем, к чему приводит всякая диктатура, даже людей с прекрасными намерениями; она влечет за собою гибель революции. Мы знаем, одним словом, что идея диктатуры есть ничто иное, как болезненное порождение того обоготворения власти, которое наравне с религиозным поклонением, было всегда опорой рабства.

Но в настоящее время мы обращаемся не к анархистам, а к тем революционерам сторонникам сильной власти, которые, под влиянием предрассудков, посеянных в них их образованием, ошибаются совершенно искренно,—к тем, которые готовы подвергнуть свои убеждения все-

сторонней критике. А потому, будем говорить, становясь на их собственную точку зрения.

Прежде всего обратим внимание на следующее: те, которые проповедуют захват власти, не замечают, что поддерживая этот принцип, они подготовляют почву для тех, которые впоследствии с ними же будут разделываться тем же способом. - А между тем не мешало бы поклонникам Робеспьера припомнить одну его фразу. Робеспьер не отрицал диктатуры в принципе; но однажды, когда Мандар заговорил о ней, он остановил его словами: „*берегись: диктатором будет Бриссо!*“ Да, тот Бриссо, хитрый жирондист, злейший враг стремлений народа к равенству, неумолимый защитник собственности (которую он когда-то называл воровством),—Бриссо, одним словом, который с легким сердцем послал бы на эшафот Эбера (Hébert), Марата и даже самых умеренных из якобинцев!

Между тем, эта фраза была произнесена в 1792 году! В ту эпоху, Франция уже переживала *третий год революции!* Королевская власть почти не существовала; ей оставалось нанести лишь последний удар; феодальный строй уничтожался. И все-таки, даже в эту эпоху свободного течения революционной волны, каким большим шансом сделаться диктатором обладал—враг революции, Бриссо! А что было бы в 1789 году? Тогда, главой исполнительной власти сделался бы Мирабо, тот Мирабо, который готов был продать и потом продал королю свое красноречие. Вот кто выдвинулся бы на первое место, если бы восставший народ не сохранил верховной власти за собой, на острие своих пик [1]), если бы он не прибегнул к могущественному орудию „крестьянских бун-

1) В секциях. Их роль для подготовки восстания 10 августа, изгнавшего короля из дворца, теперь несомненна.

тов“ (la Jacquerie) и не сделал призрачным всякое правительство, учреждавшееся в Париже или провинции.

К сожалению, предрассудок правительства до такой степени ослепляет тех, кто проповедует диктатуру, что они предпочитают подготовить почву для диктатуры какого-нибудь нового Бриссо или Наполеона, скорее чем отказаться от мысли дать снова властелина людям, только что порвавшим свои цепи.

Тайные общества времен Реставрации и Луи Филиппа сильно способствовали поддержанию предрассудка диктатуры. Буржуа-республиканцы того времени, при поддержке рабочих, устраивали целый ряд заговоров для низвержения королевской власти и провозглашения республики. Не отдавая себе отчета в том, что даже для учреждения буржуазной республики, в стране должны были произойти глубокие преобразования, люди эти воображали себе, что посредством обширного заговора им удастся в один прекрасный день свергнуть королевское иго, захватить власть в свои руки, провозгласить республику, и что эта республика продержится. Втечение почти тридцати лет, тайные общества не переставали работать с безграничной преданностью, с настойчивостью, с самоотвержением, с геройским мужеством. Если республика вполне естественно была провозглашена после февральского восстания 1848 года, то этим мы обязаны тайным обществам,—той „пропаганде делом“ (propagande par le fait), которую они вели втечение тридцати лет. Без их благородных усилий, республики не было бы и теперь.

Целью всех этих заговоров было захватить власть в свои руки и учредить республиканскую диктатуру. Но, как и следовало ожидать, им никогда это не удавалось и когда королевская власть была наконец низвергнута,

ее свергли не заговорщики. Они несомненно подготовили для этого почву; они посеяли в массах населения больших городов идею республики; мученики из их среды, павшие за эти годы, сделали из республиканской идеи идеал очень многих; но последний толчек,—тот толчек, который свалил навсегда буржуазного короля, был дан не тайным обществом, а городскими массами.

Результат легко было предвидеть. Партия заговорщиков, которая подготовила падение королевской власти, была отстранена от ступеней, ведущих в Городскую Ратушу, где сформировалось новое правительство. Другие люди, слишком осторожные, чтобы рисковать вступлением в тайное общество, и в то же самое время более популярные и вместе с тем более умеренные, выжидали момента, когда можно будет захватить власть; и в критическую минуту они заняли то место, которое рассчитывали занять заговорщик, в начале уличной борьбы. Власть захватили журналисты, адвокаты и разные красноречивые ораторы, которые составляли себе имя, в то время, как истинные республиканцы ковали оружие, или умирали на каторге. Одни из них, наиболее известные, были выдвинуты толпой; другие протиснулись к кормилу правления сами, и были приняты в сонм правителей страны, потому что имена их не обозначали ничего, кроме желания угодить всем и каждому.

Пусть не говорят нам, что то, что случилось тогда, произошло по недостатку практического смысла у тогдашней партии действия; что другие сумеют лучше воспользоваться событиями... Нет, нет и нет! Партия, подготовляющая переворот, партия, наиболее активная в предшествующий революции период, всегда отстраняется от дела в день переворота, между тем, как власть захватывают разные интриганы и говоруны. Будут ли делаться выборы, или нет, за них высказывается наибольшее число голосов. Их имена у всех на устах—особенно у тех врагов революции, которые предпочитают выдвинуть ничтожество. „Глас народный“ отдает, таким

образом, власть в руки людей, в сущности, враждебных движению, или индифферентных.

Не даром Бланки, который более, чем кто-нибудь другой был живым олицетворением системы заговоров и ради торжества своей идеи провел в тюрьмах сорок лет своей жизни, завещал, умирая, целую политическую программу в четырех словах: „Ни бога, ни властелина! Ni dieu ni maître!“

III

Все революционные организации, зарождавшиеся в двадцатых, тридцатых и сороковых годах девятнадцатого века, среди части французской буржуазии, одушевленной республиканскими стремлениями, думали, что существовавшее тогда правительство могло быть низвергнуто тайными обществами. Мы уже видели, до какой степени мало оправдались их надежды. То же произошло в Италии и в России. Сколько преданности, сколько самотвержения, сколько настойчивости обнаружили тайные республиканские общества так называемой „Молодой Италии“! А между тем вся их колоссальная работа, все жертвы, принесенные итальянской молодежью, жертвы перед которыми бледнеют даже самоотверженные подвиги русской революционной молодежи, все трупы, нагроможденные в казематах австрийских крепостей или под топором и пулями палачей, все это послужило наиболее ловким представителям буржуазии для водворения в Италии об'единенной монархии.

То-же самое приходится сказать о России. Трудно найти в истории другой пример тайной организации, которая с теми малыми средствами, которыми располагала русская молодежь, получила бы те удивительные по своим размерам результаты, которых достиг Исполнительный Комитет, удививший мир своею энергиею и своею

могучею деятельностью. Он пошатнул колосса, казавшегося непоколебимым; он сделал невозможной в России самодержавную власть. И тем не менее, надо быть наивным, чтобы вообразить себе, что Исполнительный Комитет захватит в свои руки власть в тот день, когда корона Александра III-го будет валяться в грязи[1]). Другие—люди осторожные, которые работали для того, чтобы сделаться популярными, пока революционеры делали подкопы, или погибали в тюрьмах и в Сибири,—другие, интриганы, говоруны, адвокаты, литераторы, которые от времени до времени проливают слезы, слезы с величайшей быстротой отираемые, над могилами героев и выдают себя за друзей народа—вот кто займет вакантное место у кормила правления, и вы увидите с какою легкостью они отодвинут на задний план тех „неизвестных“ никому людей, которые подготовили и подготовляют революцию.

Все это неизбежно, и не может происходить иначе, потому что, последний удар правительству никогда не наносится тайными обществами, или даже целыми революционными организациями. Функция, историческая миссия последних, состоит в приготовлении умов к восприятию революции. Когда же умы подготовлены, как только те или другие события дадут к тому повод, правительство подвергается нападению масс, которые оставались вне кружков тайного общества. Так например, 31-го Августа 1870-го года Париж оставался еще глух к призыву Бланки; а четыре дня спустя, 4-го Сентября, народ Парижа уже провозглашал республику. Но инициаторами движения в этот день были уже не бланкисты: теперь действовала миллионная толпа, и трон декабрь-

[1]) Статья эта была написана в первые годы царствования Александра III. Прим. Переводчика.

ского злодея[1]) рухнул под напором этой толпы, той самой толпы, которая сейчас же единогласно выдвинула вперед разных шустрых людей, имена которых жужжали в ушах всех и каждого втечение предыдущих двух лет.

Когда революция готова вспыхнуть, когда освободительное движение чувствуется в воздухе, когда успех становится *несомненным*, тогда откуда то появляются тысячи новых людей, на которых тайная организация не имела никогда ни малейшего прямого влияния. Они появляются, как коршуны на поле битвы, и с тою же целью—поживиться трупами падших героев. Люди эти помогают прикончить умирающее правительство и немедленно затем назначают новых правителей, которых они избирают, уже конечно не из среды искренних и непримиримых конспираторов, а между разными паяцами и фиглярами.

Конспираторы, поддерживающие тот предрассудок, что диктатура необходима и полезна, работают, следовательно, сами того не подозревая, в интересах своих злейших врагов.

Если то, что сейчас было высказано, верно по отношению к политическим революциям, или вернее к восстаниям, то—что-же сказать, когда дело будет касаться той революции, о которой мечтаем мы,—т. е. революции социальной. Дать образоваться какому-бы то ни было правительству и в особенности правительству сильному и способному заставить себе повиноваться, это значит пресечь в корне революционное движение. То добро, которое правительство сможет сделать, будет ничтожно, а зло от него будет громадное.

В самом деле, что понимаем мы под словом Революция? Тут дело идет не о простой замене одних пра-

---

[1]) Государственный переворот, давший урок Людовику Наполеону 2-го Декабря, был совершен его приверженцами 1851-го года, откуда и кличка „декабрьский злодей“.

вителей другими, (как это делается в государственном перевороте), а о захвате народом права на общественные богатства, об уничтожении всякой власти, которая за все время своего существования только и делала, что тормозила развитие человечества. Неужели вы думаете, что подобная колоссальная экономическая революция может совершиться посредством указов и манифестов, исходящих от правительства?! Мы видели, в конце восемнадцатого века, как польский революционный диктатор Костюшко декретом предписал уничтожение крепостного права, что нисколько не помешало крепостному праву в Польше дожить вплоть до 1861-го года![1]) Затем, вспомним, что во время Великой Французской Революции, Конвент 1793-го года, „всемогущий, страшный Конвент“, как говорят его поклонники, постановил разделять между всеми все земли, отнятые от их титулованных владельцев. Но, подобно другим декретам, декрет о разделе земель остался мертвой буквой, потому что, чтобы привести его в исполнение, деревенские пролетарии должны были совершить новую революцию, а революции не делаются по распоряжению начальства[2]). Для того, чтобы захват общественных богатств народом стал совершившимся фактом, необходимо, чтобы народ чувствовал себя свободным, чтобы он стряхнул с себя всякое ярмо, чтобы он отделался от привычки повиноваться, чтобы он дей-

---

[1]) Прокламация от 7 мая 1794 года, получившая силу закона (на бумаге) 30 Мая.—Если бы этот декрет был приведен в действие, то это было-бы уничтожением и крепостного права, т. е. помещичьего суда.

[2]) В сущности, не только не совершился *раздел* земель, — *который не был обязательным*,—но, самый акт *перехода* господских и церковных земель в руки крестьянских общин совершился только там, где крестьяне совершили его *на деле*, т. е. преимущественно в восточной части Франции и северной части Бретани в западной же Франции и, конечно, в Вандее, феодальные имения уцелели. Подробнее об этом в моей книге, *Великая Французская Революция*.

ствовал за свой страх, по собственной воле, не ожидая ни откуда распоряжений. А именно это не преминет пресечь всякая диктатура,—даже такая, которая была бы воодушевлена самыми лучшими намерениями; она помешает развернуться народной инициативе, а сама, со своей стороны, не подвинет революцию ни на шаг.

Если правительство,—будет оно даже идеальным революционным правительством,—не может создать новой силы и быть фактором разрушения всего того, что должно быть снесено, то для дела *перестройки* и *создания нового,* которое должно последовать за ломкой, оно уже совершенно непригодно. Экономические перемены, которые должны явиться результатом Социальной Революции, будут так обширны и так глубоки; отношения между людьми, которые до того основывались на праве собственности и на теории обмена, а теперь должны основаться на совершенно иных началах, будут столь не похожи на прежние, что никакому могущественному уму, никакой группе глубоких мыслителей, не удастся выработать общественные формы, в которые должно будет вылиться будущее общество. Эта выработка новых общественных форм может быть делом лишь совместного труда народных масс. Для удовлетворения бесконечного разнобразия условий и потребностей, которые народятся в день уничтожения частной собственности, необходима гибкость коллективного дела и знание всей страны. Всякая внешняя власть будет только помехой, задержкой органической работы, которая должна совершиться; а следовательно она станет источником раздора и взаимной ненависти.

Пора, давно пора покинуть иллюзию *революционного* правительства, за которую пришлось столько раз и каждый раз так дорого расплачиваться! Пора сказать себе раз навсегда и признать за безусловно верное правило, за аксиому, что *никакое правительство не*

может быть революционным. Нам говорят о Конвенте; но нужно помнить, что те редкие меры революционного характера, которые были приняты Конвентом, представляли из себя лишь законное утверждение совершившихся фактов, того, что уже было совершено самим народом, вне какого-бы то ни было вмешательства правительства, а большею частью не смотря на его вмешательство. Как совершенно верно выразился Виктор Гюго на своем образном языке—Дантон толкал Робеспьера, Марат следил за Дантоном и толкал его вперед, а самого Марата толкал вперед Симурдэн,—это олицетворение клубов „бешеных“ и бунтарей. Как все правительства до и после него, Конвент был для народа лишь грузом, который привешивают к кандалам каторжника.

Факты, которые мы наблюдаем в истории, так красноречивы в этом отношении: невозможность революционного правительства и его вредное влияние так очевидны, что кажется непонятным то упорство, с которым некоторые из социалистов, или по крайней мере из лиц, именующих себя социалистами, поддерживают идею власти. На самом деле, ларчик открывается очень просто. Дело в том, что не смотря на кличку социалистов люди этой школы, государственники, имеют совершенно иное, чем мы, представление о том, какую революцию нам предстоит совершить. Для них, как и для радикалов из буржуазии, Социальная Революция есть дело будущего и думать о ней теперь нет ни малейшей надобности. Мечты их, те мечты, в которых им не хочется сознаться,—гораздо более скромны. Им желательно учредить правительство подобное тому, которое существует в Швейцарии, или в Соединенных Штатах Северной Америки, но такое, правительство, которое сделало-бы кое какие попытки на пути перехода в руки Государства того, что они остроумно называют „общественными функциями“. Одним словом их „социализм“ есть

нечто такое что напоминает одновременно и государственный социализм Бисмарка, и идеалы того портного Андрьюза, который только что сделался президентом Соединенных Штатов. Это соглашение, компромис между социалистическими стремлениями масс и вожделением буржуазии. Им хотелось бы чтобы произошла всеобщая экспроприация, но они не чувствуют в себе силы попытаться совершить ее [1]). А потому откладывают ее на будущие времена. Не начав еще битв, они уже вступают в переговоры с неприятелем.

Для нас, которые прекрасно понимают что близок тот час, когда можно будет нанести буржуазии смертельный удар, что в очень непродолжительном будущем народ будет в состоянии завладеть всеми общественными богатствами и обессилить класс эксплоататоров; для нас не может быть ни сомнений, ни колебаний. Мы предадимся телом и душой водовороту социальной революции, и так как на этом пути всякое правительство, под какой-бы кличкой оно не стремилось водвориться, будет препятствием, то мы будем зорко следить за всевозможными честолюбцами, чтоб не допустить их захватить в свои руки власть для управления нами.

Довольно было правительств! Да здравствует народ! Да здравствует анархия!

---

[1]) И не считают возможным предоставить это местным силам.

XVI.

КТО ТЕПЕРЬ НЕ СОЦИАЛИСТ?!

С тех пор, как идея социализма начала проникать в рабочую среду, мы присутствуем при одном, в высшей степени интересном явлении. Злейшие враги социализма, поняв, что лучшее средство для укрощения его состоит в том, чтобы сделаться, для виду, его сторонником, об'являют себя—тоже социалистами. Поговорите с каким-нибудь хорошо упитанным буржуа, безжалостно эксплоатирующим рабочих, работниц и детей; заведите с ним речь о чудовищном неравенстве состояний, о промышленных кризисах и о нищете, в которую они ввергают рабочий класс; выразите ему свое мнение о необходимости изменить существующий порядок собственности; и вы увидите, что буржуа, о котором идет речь, если он обладает смекалкой, если он старается пробиться в люди на политическом поприще и в особенности если вы—его избиратель, не замедлит сказать вам:

„Чорт возьми, ведь я тоже социалист, такой же социалист, как вы! Социальный вопрос, сберегательная касса, рабочее законодательство,—во всем этом я совершенно согласен с вами! Только, знаете ли что? Всего в один день не переделаешь; надо действовать потихоньку, да полегоньку!“ И, расставшись с вами, он отправится собрать „потихоньку да полегоньку“ несколько лишних грошей со „своих рабочих“—на покрытие потерь, которые он сможет впоследствии претерпеть по вине социалистической пропаганды.

В былые времена он повернулся бы к вам спиной. Теперь он старается убедить вас в том, что разделяет ваши идеи, в надежде, с тем большею легкостью перерезать вам горло при первом удобном случае.

Подобные явления особенно часто наблюдались во время последних выборов [1]). Достаточно было, чтобы на каком-нибудь собрании избирателей зашла речь о социализме, чтобы оратор, стремящийся привлечь в свою пользу наибольшее количество голосов, немедленно заявил себя сторонником социализма,—*настоящего социализма*, само собою разумеется, того социализма, который сделался достоянием фокусников.

Две трети кандидатов обещались своим избирателям посвятить себя в Палате социальным вопросам. Клемансо об'явил себя социалистом, Гамбетта был на волоске от этого; если бы он не питал надежды пожать в один прекрасный день руку какой-нибудь коронованной особе, он конечно не преминул бы назваться социалистом. Бисмарк, так тот не колеблется: он себя об'являет самым социалистическим из социалистов, социалистом *в совершенстве*. В Англии тоже не редко слышишь, что „если бы лорд Биконсфильд дожил до нашего времени, то он конечно, разрешил бы социальный вопрос“. Даже люди в рясах и камилавках и те следуют за общим течением. Духовник германского императора проповедует социализм; во Франции монахи издают журнал, в котором они утверждают, что им одним известен рецепт „настоящего социализма“. Даже русский Царь и тот (по словам английских газет), с тех пор, как у него на столе (на письменном, разумеется!) лежит кусок черного хлеба, испеченного из лебеды с небольшой лишь примесью муки, для того, чтобы постоянно помнить, чем питаются его подданные,—даже

---

[1]) Статья эта была написана в сентябре 1881 года (*Прим. 1919 года*).

он воображает себя подлинным социалистом[1]). Говорят, что он ждет только благословения от Бисмарка и от Антиохийского и Константинопольского патриархов, чтобы вводить в жизнь свои социалистические мысли.

Одним словом,—все социалисты! Спекулянты, которые играют на бирже, чтобы на выигранные деньги покупать бриллианты своим женам и любовницам; фабриканты, работницы которых умирают от чахотки, а подростки—от недоедания; самодержцы, которые в Берлине сажают людей в тюрьмы, а в Петербурге вешают их; жандармы, производящие обыски,—все, все, обыскивая и роясь в наших бумагах, сажая в тюрьмы и вешая социалистов, умерщвляя работниц и их детей, совершая целый ряд гадостей на политическом и финансовом поприщах,—все стараются об одном: о том, чтобы ускорить наступление истинного социализма!

И вот, есть же на свете наивные социалисты, которые ликуют при виде такого явления. „Такой-то об'явил себя социалистом; Гамбетта признал существование социального вопроса! Новое доказательство того, что идея социализма приобретает все большее и большее число сторонников", —говорят они в своих журналах и газетах.—Точно нам нужно чье-нибудь благословение, чтобы знать, что идея социализма распространяется все больше и больше в народе!

Что касается до нас, то мы наблюдаем это явление не только без всякой радости, но даже с горечью. Для нас оно служит доказательством того, во-первых, что буржуазия старается втайне извлечь для себя выгоду из социализма,—совершенно подобно тому, как она когда-то извлекла бо́льшие выгоды из идеи республики, и во-вторых, что те, кто прежде считались социалистами, покидают теперь социализм, отказываясь от основной его

[1]) Так делал Александр III во время голода.

мысли, и переходят в лагерь буржуазии, сохраняя, в виде маски, название социалистов.

Что лежало в основе социализма? Что составляло отличительную его черту?

Мысль о необходимости уничтожения наемного труда, о низвержении права частной собственности на земли, на жилища, на сырые продукты, на орудия труда, или, выражаясь короче, на все то, что составляет общественное достояние, общественный капитал. Тот, кто не признавал этой основной мысли, тот, кто не применял этого основного начала к жизни, кто не отказывался от эксплоатации других, тот не признавался социалистом.

— „Признаете ли вы необходимость уничтожить право частной собственности?—Признаете ли необходимость экспроприации, на общую пользу, всего того, чем владеют в настоящее время отдельные лица?—Чувствуете ли вы в себе потребность жить согласно с этими началами?“—Вот, что спрашивали в былые времена у вновь пришедших, прежде чем протянуть им руку, как социалистам.

Само собою разумется, что, задавая вам эти вопросы, никто не имел в виду уничтожение частной собственности через двести лет или через две тысячи лет! Никому не могло прийти в голову мысль задавать праздные вопросы на счет того, что надо будет делать через двести лет! Когда говорилось об уничтожении частной собственности, то речь всегда шла об ее немедленном уничтожении, и всегда подразумевалось, что при *первой* революционной вспышке будет сделана попытка в этом направлении.— „Ближайшая революция“, говорили социалисты лет десять тому назад (и те, которые остались социалистами, продолжают говорить то же самое и теперь), „не должна быть простой заменой одного правительственного состава другим, с некоторыми улучшениями в правящей

машине; революция должна быть *Социальной Революцией*".

Убеждение в том, что в виду *приближающейся* революции, необходимо *приготовиться* к экспроприации, составляло прежде основное положение для социалиста; и только существование такого убеждения составляло отличительную разницу между социалистом и теми, которые тоже допускают необходимость некоторых улучшений в судьбе рабочего, которые готовы даже соглашаться, что коммунизм составляет идеал будущего общества, но не допускают ни в каком случае, чтобы коммунизм этот был введен теперь же и вдруг.

С подобными убеждениями социалисту не угрожала опасность быть смешанным со своими врагами; исповедуя такие убеждения, социалист мог быть уверен в том, что кличкой социалиста не воспользуются те, кто желает во что бы то ни стало сохранять теперешнюю эксплоатацию человека человеком.

Теперь, все это изменилось.

С одной стороны, в буржуазной среде образовалась кучка авантюристов, которые прекрасно поняли, что без социалистической клички им никогда не добраться до кормила правления. Им следовательно нужно было найти такое средство, чтобы попасть в социалистическую партию, не принимая ее убеждений. С другой, все те, которые поняли, что лучшим средством обуздать социализм будет вступление в его ряды для искажения его основных начал и для отклонения его деятельности в другую сторону тоже стали называть себя социалистами.

К сожалению, нашлось немало социалистов,—убежденных социалистов старой школы, которым показалось желательным сгруппировать вокруг себя как можно большее число людей, лишь бы вновь пришедшие признавали себя, хотя бы по имени, социалистами; эти убежденные социалисты открыли настежь двери всем так

называемым ново-обращенным. И, в результате, мало-помалу они сами отказались от основной идеи социализма, и под их покровом образовалась в настоящее время разновидность „так называемых социалистов“, сохранившая от прежней партии лишь одно название.

Мы невольно вспоминаем при этом одного жандармского полковника, который говорил одному нашему товарищу, что и он тоже находит коммунистический идеал превосходным; но что идеал этот не может быть применен к жизни ранее 200 или 500 лет и что поэтому нашего товарища нужно было держать в тюрьме, в наказание за проповедь коммунизма. Подобно этому жандармскому полковнику, социалисты новой школы заявляют, что уничтожение частной собственности и экспроприация должны быть отложены на будущие, отдаленные времена, что все это принадлежит к области романа и утопии, что теперь нужно заниматься такими реформами, которые можно ввести немедленно в жизнь, и что те, которые еще дорожат мыслью об экспроприации суть злейшие враги этих полезных реформ.—„Подготовим, говорят они, почву, не для захвата земли, *а для захвата власти*. Завладев властью, мы мало-по-малу улучшим судьбу рабочих. Подготовим, в виду наступающей революции, не захват фабрик, а захват муниципалитетов“ [1]).

Как будто бы буржуазия, оставаясь властительницей капиталов, могла когда-нибудь согласиться дать им возможность делать эксперимент социалистического режима даже, если бы этим людям удалось захватить в свои руки власть! Как будто бы завладение муниципалитетами было возможно без завладения фабриками и заводами!

---

[1]) Так рассуждали во Франции, в начале восьмидесятых годов, не только социалисты „возможники“ (поссибилисты), но и правоверные социал-демократы истинно-марксистского толка.

Последствия такого превращения не замедлили проявиться самым чувствительным образом.

В настоящее время, когда вам приходится иметь дело с одним из социалистов новой школы, вы совершенно не знаете,—говорите ли вы с господином в роде того жандармского полковника, о котором мы упоминали выше, или с настоящим убежденным социалистом. Так как теперь, чтобы иметь право носить кличку социалиста, достаточно допустить, что когда-нибудь,—может быть, через тысячу лет,—собственность сделается коллективной, то разница между нашим жандармским полковником и „нео-социалистом" становится незаметной для простого глаза. Теперь, все—социалисты! Все верят в социализацию собственности в будущем, а пока подают голос за того или другого кандидата, который обещается потребовать в палате уменьшения рабочих часов. Рабочие, не имеющие возможности читать несколько десятков различных газет, не в состоянии разобраться между своими союзниками и врагами, они не будут знать, где истинные социалисты, и где ловкие люди, пользующиеся для собственной выгоды идеей социализма. И когда настанет день Революции, прольется не мало крови, пока рабочие не отличат своих друзей от своих врагов

XVII.

БУНТОВСКОЙ ДУХ.

I

В жизни обществ наступают времена, когда революция становится необходимостью. Повсюду зарождаются новые идеи; они стремятся пробить себе дорогу, осуществиться на практике; но постоянно они сталкиваются с сопротивлением тех, кому выгодно сохранение существующего порядка; им не дают развиться в удушливой среде старых предрассудков и преданий. В такие времена общепринятые понятия о государственном строе, о законах общественного равновесия, о политических и экономических отношениях граждан между собою отбрасываются; суровая критика подрывает их ежедневно, по всякому поводу, повсеместно — в гостинной и в кабаке, в философском сочинении и в товарищеской беседе. Существующие политические, экономические и общественные учреждения приходят в разрушение; жить под их гнетом становится невозможным, так как они только мешают развитию пробивающихся отовсюду молодых побегов.

Чувствуется потребность новой жизни. Ходячая нравственность, которою руководится в ежедневной жизни большинство людей, уже перестает удовлетворять их. Люди начинают замечать, что то, что раньше казалось им справедливым, на самом деле — вопиющая несправедливость; то, что вчера признавалось нравственным, сегодня оказывается возмутительной безнравственностью.

Столкновение между новыми веяниями и старыми преданиями обнаруживается во всех классах общества, во всякой среде, даже в семейном кругу. Сын вступает в борьбу с отцом; ему кажется возмутительным то, что его отец всю свою жизнь находил естественным: дочь восстает против правил, которые мать внушает ей, как плод долголетнего опыта. Народной совести приходится каждый день возмущаться, то скандальными происшествиями из жизни богатых и праздных классов, то преступлениями, совершенными во имя права сильного, или ради поддержания существующей несправедливости. Тем, кто стремится к торжеству справедливости, кто хочет провести в жизнь новые мысли, скоро приходится убедиться, что осуществление благородных, человечных, обновляющих понятий невозможно в том обществе, которое их окружает. Они убеждаются, что необходима революционная буря, которая смела бы всю эту плесень, оживила бы своим дуновением застывшие сердца и вдохнула бы в человечество дух самопожертвования и героизма, без которого всякое общество пошлеет, падает и разлагается.

В эпохи безумной погони за обогащением, лихорадочных спекуляций, кризисов и внезапных биржевых крахов, в эпохи, когда огромные состояния составляются в несколько лет и с такою-же быстротой проживаются,— в такие эпохи люди начинают замечать, что экономические учреждения, от которых зависит производство и обмен, не отвечают своей цели. Они не только не обеспечивают обществу того благосостояния, которое должны были-бы обеспечивать, но достигают результатов совершенно противоположных. Вместо порядка, они производят хаос; вместо благосостояния — бедность и неуверенность в завтрашнем дне; вместо согласия — постоянную борьбу экплоатататара с производителем, эксплоататоров друг с другом и производителей между собой. Общество все резче и резче делится на два враждебных лагеря, подразделяясь вместе с тем еще на тысячи мел-

ких групп, ведущих между собой ожесточенную борьбу. Тогда, утомленное этой борьбой и вытекающими из нее бедствиями общество начинает искать новой формы устройства и громко требует полного изменения форм собственности, производства, обмена и всех вытекающих отсюда хозяйственных отношений.

Правительственный механизм, имеющий задачей поддержание существующего порядка, еще действует; но его испорченные колеса то и дело цепляются и останавливаются. Его воздействие на общество становится все более и более затруднительным, а недовольство, вызываемое его недостатками, все ростет. Каждый день приносит с собою новые требования. — „Здесь нужны реформы! Там нужна полная перестройка!“ — кричат со всех сторон. — „Военное дело, финансы, налоги, суды, полицию — все это нужно переделать, всех устроить на новых началах,“ говорят со всех сторон. А между тем все понимают, что ни переделать, ни преобразовать понемножку нельзя, потому что все связано одно с другим, и переделывать придется все разом. — А как это сделать, когда общество разделено на два открыто враждебных лагеря? Удовлетворить одних недовольных—значить вызвать недовольство в других.

Неспособное на реформы, потому что это значилобы выступить на путь революции, и вместе с тем, слишком слабое, чтобы откровенно броситься в реакцию, правительство обыкновенно прибегает тогда к полумерам, которые никого не удовлетворяют, а только вызывают новое недовольство. Впрочем, посредственности обыкновенно стоящие в такие эпохи у кормила правления, думают теперь только об одном: как-бы обогатиться самим, прежде чем наступит разгром. На них нападают со всех сторон, они защищаются неумело, виляют, делают глупость за глупостью, и в конце концов отрезывают себе последний путь к спасению: губят веру в правительство, вызывая повсюду над насмешку его неспособностью.

В такие эпохи революция неизбежна; она делается общественной необходимостью; положение становится революционным.

— — —

Когда мы изучаем, в произведениях наших лучших историков, зарождение и развитие крупных революционных потрясений, мы находим у них обыкновенно под заглавием: „Причины революции“ поразительную картину общества накануне событий. Народ — в нищете, никто не обеспечен в жизни; повсюду стеснительные правительственные меры, скандалы, в которых обнаруживается вся порочность общества; а тут — новые идеи, пробивающие себе дорогу и сталкивающиеся с неспособностью защитников старого порядка. Такова картина, которую рисуют историки в таких случаях. И, вглядываясь в нее, мы приходим к убеждению, что революция была, действительно, неизбежна, что иного выхода, кроме восстания, не существовало.

Возьмем, например, положение вещей во Франции перед 1789-м годом, как нам его изображают историки. Вы точно слышите жалобы крестьянина на соляной налог на десятый сноп, отбираемый духовенством, на крепостные платежи. Вы живо чувствуете неумолимую ненависть крестьянина к помещику, к монаху, к губернатору, выколачивающему налоги. Вы точно видите перед собою городскую буржуазию, жалующуюся на потерю своих городских вольностей и осыпающую проклятиями короля. Вы слышите, как народ бранит королеву, возмущается рассказами о том, что творят министры; как везде жалуются, что налоги и различные поборы ложатся невыносимой тяжестью на бедных, что урожаи плохи, а зимы слишком суровы, что жизненные припасы слишком дороги, а кулаки слишком ненасытны, что деревенские адвокаты раззоряют крестьянина, что полевой сторож разыгрывает из себя царька, что даже почта плохо организована и чиновники чересчур ленивы... Одним

словом все идет плохо, все жалуются. — Дальше так не может продолжаться; это плохо кончится! слышится со всех сторон.

Но от этих рассуждений до бунта, до восстания— целая пропасть, та пропасть, которая отделяет у большинства людей *рассуждение* от *действия*, *мысль* от *воли*, от потребности действовать. Каким же образом люди переступят через эту пропасть? Каким образом те самые, которые еще вчера сетовали на свою судьбу, спокойно покуривая трубочки, и через минуту почтительно кланялись тому самому сторожу или жандарму, о котором только-что дурно отзывались — каким образом эти самые люди оказываются всего через несколько дней способными взяться за косы и колья, и напасть в его собственном замке на того самого помещика, который еще вчера казался им таким грозным? Какая волшебная сила превратила этих людей, которых жены справедливо называли трусами, в героев, идущих, не смотря на пули и картечь, на завоевание своих прав? Каким образом *слова*, столько раз произносившиеся прежде и терявшиеся понапрасну, как звон колокола в воздухе, превратились, наконец, в *дело*?

Ответ дать нетрудно. — Это превращение совершается благодаря действию — непрерывному и постоянно возобновляющемуся действию меньшинства. Смелость, преданность, дух самопожертвования так же заразительны как и трусость, подчиненность и паника.

Какие формы может принять эта агитация меньшинства? — Да все, решительно все: самые разнообразные формы, смотря по обстоятельствам, по средствам, имеющимся под руками, по характерам. То мрачный, то насмешливый, но всегда смелый; то нападение скопом, — то чисто личное. Человек действия не пренебрегает ни одним событием общественной жизни, постоянно стремясь поддерживать возбужденное состояние умов, распространять недовольство и давать ему выражение, возбуждать ненависть к эксплоататорам, выставлять в смешном виде

правителей, показывать их слабости, а в особенности — постоянно пробуждать смелость и бунтовской дух, действуя своим собственным примером.

II

Когда в какой-нибудь стране общее положение становится революционным, но дух протеста еще недостаточно развит в массах, чтобы проявиться в шумных уличных демонстрациях, бунтах или восстаниях — тогда, именно *делом* удается меньшинству пробудить чувство личного почина и смелость, без которых невозможна никакая революция.

Люди чувствующие, люди, которые не удовлетворяются словами, а стремятся осуществить свои мысли в жизни, неподкупные характеры, для которых *дело* неразделыно связано с *мыслью*, для которых тюрьма, изгнание, смерть — лучше, чем жизнь несогласная с убеждениями, люди отважные, которые знают, что для успеха необходимо уменье *решиться* — являются застрельщиками. Они начинают сражение задолго до того времени, когда возбуждение в массах станет настолько сильным, чтобы они открыто подняли знамя восстания и пошли с оружием в руках на завоевание своих прав.

Среди общих жалоб, разговоров, теоретических споров, вдруг совершается какой-нибудь акт протеста — единоличный или коллективный, — выражающий господствующее настроение. Возможно, что в первую минуту масса отнесется к нему безразлично. Быть может, она втайне будет даже восхищаться смелостью отдельного лица или группы, взявшей на себя почин дела, но сама она скорее последует за теми благоразумными и осторожными людьми, которые поспешат назвать это дело „безумием“ и заговорят о том, что „сумасшедшие, отчаянные головы портят все.“ В самом деле, эти благо-

разумные, осторожные люди так хорошо рассчитали, что их партия, медленно ведя свою работу, дойдет в конце концов до того, что через сто, двести лет завоюет, пожалуй, весь мир. И вдруг — такой непредвиденный случай: непредвиденный, конечно, для них, для этих благоразумных и осторожных людей. Всякий-же, кто хоть сколько-нибудь правильно мыслит, должен знать заранее, что теоретическая пропаганда революции непременно поведет к отдельным выступлениям, задолго до того, как теоретики решат, что настало время действовать. Это не мешает, однако, мудрым теоретикам негодовать на „безумцев“, отлучать их от своей партии предавать их анафеме.

Но „безумцы“ встречают и сочувствие; народная масса втайне восхищается их смелостью; они находят подражателей. Первые борцы уходят в тюрьмы и в каторгу, но за ними являются другие, которые продолжают их дело; противозаконные выступления мелких групп, бунты, проявления мести становятся все многочисленнее.

Тогда равнодушное отношение уже невозможно. Те, кто вначале даже не задавались вопросом о том, чего хотят „безумцы“, вынуждены теперь обсуждать их взгляды, высказываться за или против них. Выступления привлекающие всеобщее внимание, открывают идее доступ в умы и вербуют ей новых приверженцев. Один такой акт делает иногда в один день больше пропаганды, чем тысячи брошюр.

Важнее всего то, что он будит бунтовской дух, пробуждает в людях смелость. Старый порядок, с его полицейскими, судьями, жандармами и солдатами, казался таким же непоколебимым, как казалась в Париже старая крепость, Бастилия. Она, понятно, представлялась совершенно неприступной для безоружного народа, подошедшего под ее высокие стены, защищенные пушками. Но, как случилась с Бастилией, так и тут. Скоро начинает обнаруживаться, что существующий государственный „порядок“ не так силен, как думали раньше. Какого-нибудь

смелого акта оказывается достаточно, чтобы весь правительственный механизм расстроился: чтобы великан пошатнулся. Какой-нибудь один бунт перевертывает вверх дном целую область, а войско — обыкновенно такое внушительное — отступает перед горстью крестьян, вооруженных камнями и палками, не потому чтобы оно не могло с ними справиться, а потому что охота зверствовать над безоружными стала пропадать. И вот народ начинает замечать, что чудовище не так страшно как казалось: что достаточно будет нескольких энергичных усилий, чтобы это попридержать. Надежда зарождается в сердцах; а мы должны помнить, что если отчаяние часто толкает на бунт, то только надежда — надежда на победу — совершает революции.

Правительство сопротивляется и начинает свирепствовать. Но если прежде усмирение убивало всякую энергию, то теперь, в периоды брожения, оно вызывает новые проявления личного и общего сопротивления, толкает недовольных на геройские акты; мало по малу, эти акты захватывают все новые и новые слои, распространяются, развиваются. Революционная партия усиливается такими элементами, которые раньше относились к ней враждебно, или прозябали в равнодушном состоянии. Правительство, правящие и привилегированные классы теряют все больше и больше свою сплоченность, одни предлагают сопротивляться до конца, другие наоборот высказываются за уступки, третьи даже доходят до того, что из'являют готовность отказаться временно от своих классовых преимуществ, чтобы успокоить бунтовской дух — в надежде справиться с ним впоследствии. Последовательность действий правительства и привилегированных слоев общества нарушена.

Правящие классы попытаются, может быть, еще раз прибегнуть к свирепой реакции. Но время ее уже упущено; теперь реакция только обострит борьбу, сделает ее более ожесточенной; грядущая революция только станет от этого еще более кровавой. Но и малейшая уступ-

ка со стороны правящих классов — так как она является слишком поздно и завоевана народом — только возбуждает революционный дух. Прежде, народ мог удовольствоваться этой уступкой; теперь-же он замечает, что враг его подается; он предвидит победу, чувствует, как растет его смелость; и те самые люди, которые раньше, под гнетом нужды, только вздыхали втихомолку, теперь поднимают голову и гордо идут на завоевание лучшего будущего.

Наконец, вспыхивает революция — с тем большей силой, чем ожесточеннее была предшествовавшая борьба.

Каково направление, которое примет революция? — Это конечно зависит от суммы всех обстоятельств, вызвавших переворот. Но его можно предвидеть заранее, судя по степени революционной энергии, проявленной в подготовительный период различными передовыми партиями.

Вот, например, партия, которая хорошо разработала свое теоретическое миросозерцание и практическую программу, и деятельно распространяла и то и другое, словом и пером. Но она недостаточно проявила свои стремления видимым для всех образом, — на улице, такими актами, в которых выражались бы основные ее мысли. Она была не достаточно деятельна, или же направляла свою деятельность на борьбу, не с теми, кто являлся ее главным врагом, не с теми учреждениями, которые она стремится уничтожить. У нее была теоретическая сила, но не было энергии действия; она мало содействовала пробуждению революционного духа, или же не старалась направить его на борьбу с тем, к разрушению чего она будет в особенности стремиться в момент революции. В таком случае, партия мало известна; ее стремления не проявлялись постоянно и ежедневно в таких действиях, слух о которых достиг бы до самой отдаленной хижины; они, поэтому, не проникли достаточно в народную массу, не прошли через горнило толпы, и не нашли себе проявления в каком нибудь про-

стом, кратком выражении, которое стало бы народным достоянием.

Наиболее преданные писатели этой партии, может быть, известны читателям, как серьезные мыслители, но они не пользуются репутацией людей действия, да и не обладают этого рода способностью. И когда настанет минута, и толпа выйдет на улицу, она пойдет за теми, кого она лучше знает, кого она видела на деле, хотя бы их теоретические взгляды были, может быть, менее определенны, а стремления — менее широки.

Партия которая энергичнее других занималась *революционной агитацией*, которая проявила больше жизненности и боевой смелости, будет иметь и наибольшее влияние в момент действия, — в ту минуту, когда нужно будет двинуться вперед и сделать какой-нибудь смелый шаг для осуществление целей революции. Партия-же, которая в подготовительный период не решалась проявиться актами революционного протеста, не находила в себе достаточно сил, чтобы дать толчек другим, чтобы внушить отдельным личностям и группам готовность к самопожертвованию и неудержимое стремление к тому, чтобы на деле осуществить свои взгляды (если бы такое стремление существовало, оно проявилось бы в *действии* гораздо раньше, чем вся толпа вышла на улицу), — партия, которая не с'умела сделать своего знамени популярным, своих стремлений — доступными и понятными народу, эта партия будет иметь мало шансов на осуществление какой бы то ни было части своей программы. Она останется позади других партий — партий действия.

Вот чему учит нас история времен, предшествовавших великим революциям. Революционная буржуазия это отлично понимала. Когда она стремилась ограничить и обессилить монархию, например во Франции, в конце 18-го века, она не пренебрегала никакими агитационными средствами, чтобы вызвать пробуждение революционного духа. Инстинктивно понимали это и французские кресть-

яне восемнадцатого века, когда они восставали ради уничтожения феодальных прав, т. е. пережитков крепостного права. Теми же началами руководился и Интернационал, 1864—1878 годов. когда он стремился возбудить бунтовской дух среди городских рабочих и направить его против естественных врагов рабочего — против хищников, захвативших в свои руки орудия труда и все то, что нужно для фабричного производства.

III.

По настоящему нам следовало бы заняться изучением различных агитационных приемов, к которым прибегали революционеры различных эпох, чтобы ускорить революционный взрыв, внести в массы сознание готовящихся событий, яснее указать народу, кто его главные враги, разбудить в людях отвагу и бунтовской дух. Такая работа была бы в высшей степени привлекательна и поучительна. Мы все отлично знаем, отчего та или другая революция стала неизбежной, но мы только инстинктивно, как бы ощупью догадываемся о том, *как* развивались революции.

Прусский генеральный штаб издал в восьмидесятых годах для войска руководство, в котором преподается искусство побеждать народные восстания; там указывается, между прочим, как дезорганизовать бунт, как внести упадок духа в ряды революционеров, как разбить их силы. Современные буржуа хотят бить наверняка и резать народ по всем правилам искусства. Так вот, в ответ на сочинение прусского штаба и на многие другие, ему подобные, которые трактуют о том же предмете, хотя иногда и не так бесцеремонно, должна бы явиться работа, о которой мы сейчас говорили. Она показала бы, как дезорганизовать правительство, как раздробить его

силы, как поднять дух народа, подавленный всею пережитой нуждой и гнетом.

Такого труда до сих пор не существует. Историки, правда, показывают нам важнейшие шаги человечества на пути к освобождению, но они мало обращали внимания на периоды, предшествовавшие революциям. Всецело поглощенные изображением драматических событий во время революции, они быстро поканчивают со вступлением, а именно вступление-то нам и интересно[1]).

Между тем, что может быть выше, поразительнее, прекраснее картины деятельности провозвестников революций! Посмотрите на неутомимую деятельность крестьян и нескольких энергичных людей из буржуазии перед 1789 годом во Франции, на упорную борьбу республиканцев со времени реставрации Бурбонов в 1815 году, до их падения в 1830-м; на энергичную деятельность тайных обществ во время царствования толстого буржуа, Луи Филиппа! — Какую поразительную картину представляют собою заговоры итальянцев с целью свержения австрийского ига, их героические освободительные попытки, невообразимые страдания их мучеников! А какой мрачной и грандиозной трагедией явился бы рассказ о событиях той тайной борьбы, которую ведет с 1860 года и до

[1]) В конце семидесятых годов я много работал над этим предметом и собрал не мало материалов, частию из истории Франции, и частию из истории России за последние двести пятьдесят лет. Более живая деятельность, потребовавшаяся злобою дня заставила меня прервать начатую историю пред-революционных бунтов. Не найдется ли кто-нибудь из молодых русских революционеров, кто понимал бы революцию в том же смысле и взялся бы за подобную работу, в том же духе? — События в России идут так быстро, что эта заметка уже запоздала. Теперь некогда заниматься историей. Нужно н а д е л е, поступками, возбуждать бунтовской дух (Прибавка в изданию этой статьи в мае 1905-го года).

нашего времени русская молодежь против правительства, против наших земельных порядков и капиталистического строя! Сколько благородных личностей встало бы перед современным социалистом при чтении истории этих годов, сколько он увидел бы преданности, сколько величайшего самоотверженія! И вместе с тем, какую это дало бы революционную подготовку — не теоретическую, а практическую — людям нашего поколения! Они-же сильно в ней нуждаются!

Мы рассмотрим один из таких периодов — период, предшествовавший революции 1789 года — и, оставив в стороне изучение тех обстоятельств, благодаря которым в конце восемнадцатого века создалось во Франции революционное положение дел, отметим только некоторые из агитационных приемов употреблявшихся нашими предшественниками.

Революция 1789—1793 года привела к двум главным результатам: во первых, к уничтожению королевского самодержавия и к переходу власти в руки буржуазии; и во вторых, к окончательной отмене крепостного права и крепостных (феодальных) повинностей, лежавших еще на крестьянстве. Оба эти явления тесно связаны друг с другом и не могли бы произойти одно без другого. Поэтому, мы находим оба эти течения и в агитации, которая велась перед революцией: среди буржуазии— против королевской власти, и среди крестьянства —против помещичьих прав.

Посмотрим на ту и на другую.

Газеты не имели в то время значения, какое они имеют теперь; их заменяла брошюра, бойко написанный памфлет [1]), а не то и листок в три или четыре страницы. А потому мы видим, что брошюры и памфлеты

---

[1]) Брошюра, резко нападающая на что нибудь или на кого нибудь.

существуют во множестве. Брошюра популяризирует, для массы, идеи философов и экономистов, провозвестников революции; памфлет-же и листок ведут агитацию против главных врагов: короля с его двором, аристократии и духовенства. Теориями они не занимаются; их оружие—насмешка, бичевание.

Тысячи этих летучих листков рассказывают о придворной жизни, особенно о королеве; они выставляют в смешном виде двор, срывают с него его обманчивую показную оболочку, показывают все его пороки, расточительность, испорченность, глупость, любовные интриги королевы, придворные скандалы, безумные расходы, „голодный договор", — т. е. союз власть-имущих со скупщиками хлеба, с целью обогатиться ценою народногоо голода—вот о чем говорят памфлеты. Листки не дремлют, они не пропускают ни одного события общественной жизни, пользуются всем, чтобы нанести удар врагу. Как только в публике заговорят о каком нибудь происшествии — памфлет и летучий листок тут как тут, и со свойственной им бесцеремонностью толкуют его по своему. Для этого рода агитации они удобнее газеты. Газета, ведь это — целое предприятие; прежде чем рискнуть ее существованием, приходится серьезно задуматься: исчезновение газеты часто создало бы целый ряд затруднений для партии. Памфлет же или летучий листок не компрометируют никого, кроме автора и типографщика, да и тех пойдите ищите...

Авторы этих сочинений, конечно, обходятся без цензуры: правда, в то время судебное преследование печати — прелестное изобретение современного иезуитизма — еще не существовало, но автора или типографщика всегда можно было посадить в тюрьму при помощи особой безымянной бумаги, заранее подписанной королем — средство, правда, грубое, но, по крайней мере, откровенное, и ничуть не грубее Третьего Отделения.

Вот почему эти памфлеты печатались, или в Амстер-

даме, или еще где нибудь, „за тысячу верст от Бастилии, под деревом свободы“. Они поэтому наносят свои удары, не стесняясь, и свободно клеймят и короля и королеву с ее любовниками, и придворных, и аристократов. Благодаря этому подпольному печатанию, все усилия полиции оказываются тщетными.

Напрасно она делает обыски у книготорговцев, напрасно арестовывает разносчиков: неизвестные авторы скрываются от всех преследований и продолжают свое дело.

Песня — слишком смелая по содержанию, чтобы быть напечатанной, несмотря на это, облетала всю Францию, передаваясь из уст в уста, и всегда составляла одно из самых действительных орудий пропаганды. Ее направляли против существующих властей, в ней осмеивали коронованных особ, она проникала даже в семейные дела, распространяя презрительное отношение к королевской власти, ненависть к духовенству и аристократии, и надежду на скорое наступление революции.

Но особенно удобным средством были для агитаторов прокламации. Прокламация возбуждает толки повсюду и производит гораздо больше впечатления, чем памфлет или брошюра. А потому прокламации — печатные или писанные — являются перед революцией всякий раз, как только произойдет какое нибудь событие, интересующее массу публики. Их срывают, а на другой день они появляются вновь, к великой досаде правительства и его агентов. Каждый город выпускает свои прокламации. — „Мы упустили вашего деда, но вас не упустим!“ читает сегодня король на листке, приклеенном к стенам дворца. А завтра королева плачет от злости, видя на стенах описание своей развратной жизни. Уже и тогда обнаруживалась ненависть, которую впоследствии питал народ к этой женщине, готовой преспокойно уничтожить весь Париж, лишь бы остаться самодержавной королевой.

Двор собирается, например, праздновать рождение наследника — прокламации грозят поджечь город. Это вселяет панику и готовит умы к необыкновенным событиям. А то возвещается, что *„король и королева будут под сильным караулом, отведены на площадь Гревы, затем отправятся в думу, чтобы покаяться в своих преступлениях и взойдут на эшафот, где будут сожжены“*. Король созывает собрание Сведущих Людей (нотаблей) в 1788 году, — а в прокламациях тотчас же возвещается, что „новая актерская труппа собранная Калонном (первым министром), начинает свои представления 29 числа этого месяца и даст аллегорический балет под названием „Бочка Данаид“ [1]). Еще более озлобленные по тону прокламации проникают иногда даже в ложу королевы, возвещая близкую казнь тиранов.

Но особенно сильно ведется борьба посредством прокламаций со скупщиками хлеба, откупщиками и губернаторами (интендантами). Всякий раз, когда в народе начинается брожение, в прокламациях возвещается наступление Варфоломеевской ночи (т. е. попросту избиения) для всех интендантов и откупщиков. Если какой-нибудь хлебный торговец, фабрикант, или губернатор особенно сильно возбуждает против себя народную ненависть, прокламации, „именем Народного Совета“, „именем Народного Парламента“ и т. д., осуждают его на смерть. А когда, впоследствии, явится случай к бунту, народный гнев направится именно на этих эксплоататоров, имена которых он привык читать в прокламациях.

Если бы возможно было собрать бесчисленные прокламации, которые были расклеены в продолжении десяти-пятнадцати лет перед революцией, мы бы увидели ка-

[1]) Бочка, в которую сколько ни лей, никак ее не наполнить. Под этим имелся в виду государственный бюджет, с его вечно растущими налогами и долгами.

кую громадную роль сыграл в подготовлении восстания этот род агитации. Сначала веселые и насмешливые, затем все более и более грозные — по мере того, как приближается развязка, — прокламации всегда на готове, всегда откликаются *на всякое событие в ежедневной политике, на всякое настроение масс.* Они вызывают чувство гнева и презрения, указывают на настоящих врагов народа, возбуждают среди крестьян, рабочих и буржуазии ненависть к врагам, возвещают день возмездия и освобождения.

Повесить или четвертовать чье нибудь чучело или изображение — было в восемнадцатом веке очень обычным приемом и одним из самых общенародных способов агитации. Всякий раз, когда только начиналось брожение в умах, появлялись на улицах группы людей с куклой, изображавшей того, кто в настоящую минуту был главным врагом. Эту куклу затем вешали, жгли или четвертовали. — „Ребячество!“ скажут нам молодые старики, считающие себя очень мудрыми. А между тем нападение на дом Ревельона во время выборов 1789 года и убийство Фулона и Бертье (скупщики хлеба и грабители), — два выступления народа, совершенно изменившие характер надвигавшейся революции и давшие выборам в Париже совершенно новый характер, были ничем иным, как осуществлением на деле того, что уже издавна подготовлялось казнью соломенных чучел.

Парижский народ ненавидел Мопу, одного из любимых министров короля. И вот в один прекрасный день собирается толпа; в ней раздаются голоса, выкрикивающие, что „Приговором Парламента канцлер Мопу приговаривается к сожжению, а прах его должен быть рассеян по ветру!“ Затем толпа направляется с чучелом канцлера, увенчанным всеми орденами, к статуе Генриха IV, и там чучело передается сожжению при рукоплесканиях толпы. В другой раз, чучело аббата Терро,

в священническом облачении, в белых перчатках, повесили на фонаре. В Руане четвертуют чучело Мопу, а когда жандармы мешают толпе собраться, она, чтобы дать себе некоторое удовлетворение, вешает в другом месте за ноги чучело, изображающее одного скупщика хлеба, у которого из носа, рта и ушей сыплется рожь.

В таком чучеле — целая проповедь, гораздо более действительная, чем отвлеченная проповедь, доступная лишь меньшинству осведомленных людей!

Для подготовления тех бунтов, которые предшествовали великой революции, важнее всего было, чтобы народ привык выходить на улицу, выражать свое мнение на площади; чтобы он привык не бояться ни полиции, ни войска, ни кавалерии. Вот почему революционеры того времени не пренебрегали никакими средствами, чтобы привлечь толпу на улицу, чтобы вызвать стечение народа.

Ради этого, и в Париже и в провинции, пользовались всяким случаем. Положим, общественное мнение добилось от короля удаления какого-нибудь ненавистного министра: — по этому поводу устраивались бесконечные празденства, бесконечные иллюминации. Чтобы привлечь толпу, жгли хлопушки, пускали ракеты „в таком количестве, что в некоторых местах ходили по картону“. А если на покупку их не хватало денег, то на улице останавливали хорошо одетых прохожих и просили у них „вежливо, но твердо“, — „несколько медных для увеселения народа“. Затем, когда собиралась большая толпа, ораторы об‘ясняли и толковали события; образовывались клубы на открытом воздухе. Войска и кавалерия, если и являлись разгонять толпу, то не решались сейчас-же пустить в ход силу против мирных людей, среди которых были и женщины; а из толпы пускали фейерверки, шутихи, совсем под морды лошадей и под ноги солдатам, при одобрительных криках и смехе

собравшейся публики; и так охлаждали пыл тех, кто захотел бы слишком смело врезаться в толпу.

В провинциальных городах случалось, что трубочисты ходили по улицам и изображали заседание королевского совета; люди с замазанными лицами, представлявшие короля и королеву, возбуждали всеобщий хохот своими колкими остротами. А не то акробаты, фокусники собирали вокруг себя толпу и, в перемежку с комическими рассказами, пускали свои стрелы по адресу богатых и сильных. Понемногу, в собравшейся толпе слышались все более и более грозные речи, и тогда плохо приходилось богачу, или чиновнику, который вздумал бы проехать в ту минуту в своем экипаже.

Если только ум поработает в этом направлении, то мало-ли случаев найдут сообразительные люди, чтобы собрать вокруг себя толпу? Сначала это будет толпа веселая, а затем, пожалуй, и готовая к кое-какому действию — в особенности если брожение было подготовлено заранее общим положением дел и деятельностью энергичных личностей.

И то и другое было тогда на лицо: с одной стороны, революционное положение дел и всеобщее недовольство, а с другой — прокламации, памфлеты, листки, песни, казни чучел; все это увеличивало решительность населения, и сборища становились все более и более угрожающими. Сегодня на одном из перекрестков напали в Париже на архиепископа; завтра — чуть не утопили какого-то проехавшего в карете герцога; а там, толпа освистала на улице членов правительства. Акты протеста разнообразились до бесконечности — вплоть до того дня, когда малейшей искры будет достаточно, что-бы превратить сборище в бунт, а бунт — в революцию.

„Все эти бунты — дело подонков населения, лентяев и всяких негодяев“, говорят нам теперь благонрав-

ные историки. И то правду сказать, — не среди обеспеченных классов искала себе союзников революционная буржуазия. Богатые господа умели только жаловаться у себя в гостинных, а через минуту сами же кланялись начальству, да еще пониже! Поэтому, когда нужно было освистать на улице его Высокопреосвященство, архиепископа парижского, то товарищей, вооруженных дубинами, приходилось искать в самых темных кабачках предместий, — что бы там ни говорили теперь, сто лет спустя, конфузливые и благонравные историки! Их искали в самых худых кабачках и притонах, среди всякого народа, от которого теперь сторонятся перчаточные республиканцы.

IV

Если бы деятельность революционеров ограничилась нападением на правительственных лиц и на правительственные учеждения, не дотрогиваясь до экономических форм, т. е. до земли, до вопроса о хлебе, — разве могла бы Великая Революция стать тем, чем она была в действительности? Разве она выросла-бы во всеобщее восстание народных масс—крестьян и рабочих — против привилегированных классов? Разве она продолжалась-бы четыре года? разве она взволновала-бы до дна всю Францию? Разве она нашла-бы в себе то непобедимое вдохновение, которое дало ей силу сопротивляться всем „соединенным королям?“

Конечно нет! Пусть господа историки прославляют, сколько угодно, Третье Сословие, т. е. членов Учредительного Собрания или Конвента, — мы знаем, как было дело в действительности. Мы знаем, что Революция привела-бы всего на всего к микроскопическому конституционному ограничению королевской власти, совершенно не затронувши феодального, крепостного строя, если-бы

по всей стране не восстала крестьянская Франция, и если бы в течение четырех лет крестьянское восстание не поддерживало анархию, т. е. самостоятельную революционную деятельность отдельных групп и отдельных личностей, помимо всякой правительственной опеки. Мы знаем, что если после Революции крестьянин не остался попрежнему вьючным животным, то только потому, что крестьянское восстание свирепствовало во Франции с 1789-го вплоть до 1793-го года. Только тогда Конвент (Народное Представительное Собрание) вынужден был утвердить законом полное уничтожение крепостных обязательств, без выкупа, когда крестьяне уже осуществили на практике, в большей половине Франции, а именно — в восточной, полную отмену всех феодальных повинностей, — оброков, выкупа и пр.; — когда они сами возвратили крестьянским общинам те земли, которые были у них отняты под всякими предлогами помещиками и всякими богатеями, при королевском самодержавии.

Совершенно напрасно крестьяне и беднота ждали бы от различных Парламентов и Соборов осуществления этих самых первых требований справедливости, если бы „санкюлоты“, т. е. по русски „голоштанные“, не бросили на чашку парламентских весов свои дубины и пики!

Но восстание деревень не могло быть вызвано одною агитацией против короля и министров, ни расклеиванием в Париже прокламаций, направленных против королевы. Крестьянское восстание было подготовлено, с одной стороны, общим положением дел, общим угнетением и обеднением крестьян, а с другой стороны — агитацией, которую вели среди народа люди, вышедшие из самого народа и нападавшие на его непосредственных врагов: на помещика, на богатого попа, на хлеботорговца, скупавшего хлеб по деревням у голодных мужиков, на сытого купца, хуторянина.

Этот род агитации гораздо менее известен, чем то,

что говорилось в палатах и делалось в столице. История Парижа написана; история же деревни еще до сих пор серьезно даже и не начата. Историки, вообще, очень мало знают о крестьянине; но то немногое, что нам уже известно, всетаки может дать нам некоторое понятие о том, как шли дела в деревнях.

В то время брошюры и летучие листки мало проникали в деревню. Крестьяне были большою частию безграмотны. А потому, конечно, прежде всего устраивались тайные сходки, где грамотные прочитывали надежным людям из крестьян то, что до них доходило из Парижа, а иногда из заграницы. Затем пропаганда велась очень часто посредством рисунков, напечатанных, а иногда и прямо сделанных от руки, — простых и легко понятных. Нескольких слов в пояснение к лубочной картинке, распространенной по деревням, достаточно было для того, чтобы в народном уме сложились целые истории насчет короля, королевы, графа Артуа, молодого де-Ламбаль, „голодного договора", помещиков—„вампиров, сосущих народную кровь", и т. д. (Крупные господа при королевском дворе сложились тогда, чтобы торговать хлебом: его скупали и увозили заграницу, а дома народ голодал— точь в точь как теперь в России). Эти рисунки распространялись по деревням в больших количествах и подготовляли умы.

А то вдруг где нибудь на дереве оказывалась прибита рукописная прокламация. В ней призывали к восстанию, обещали крестьянам лучшие времена, или рассказывали о бунтах, вспыхнувших где-нибудь на другом конце Франции.

В деревнях повсеместно и постоянно стали организовываться, под названием „Яковов" (Жаки), тайные общества с бунтовскими целями. То оказывалось, Жаки подожгли помещичий амбар, или сожгли барские стоги, а иногда и самого барина убили, если оказывалось, что от него, богатого и сильного, или от его управляющего, не было житья народу. И не раз и не два случалось,

что около помещичьего замка находили чей-нибудь труп, пронзенный кинжалом, у которого к рукоятке была привязана надпись: „От Жаков“!

Вот с горы, по краю оврага спускается тяжелый рыдван; это помещик возвращается в свое имение. Но вдруг два прохожих взялись нивесть откуда; связали барина, при содействии его кучера, и спустили в овраг, и в его кармане находят записку со словами „От Жаков!“ Не мало было таких дел.

А то, вдруг, на перекрестке двух дорог оказывается виселица, а на ней надпись: „Если помещик осмелится взыскивать оброк, он будет повешен на сей виселице. А если кто-нибудь осмелится платить оброк, то и он будет подвергнут той же участи!“ И вот крестьяне, весьма довольные случаю уклониться от платежа, переставали платить оброк, иначе как разве по особому принуждению начальства. И шла молва по деревням, что нынче „оброк больше не платить!“ Запрет вышел.[1] Крестьяне чувствовали, что где-то зашевелилась какая-то тайная сила, поддерживающая их. Они приучались к мысли о возможности ничего не платить, привыкали сопротивляться помещику. А вскоре крестьяне и в самом деле перестали вовсе платить и стали угрозами вынуждать помещиков, чтобы они добровольно отказались от всяких оброков и выкупов. И помещики спешили сами отказаться, лишь бы душу спасти.

В деревнях, то и дело появлялись прокламации, возвещавшие, что всякие платежи повинностей прекращаются, и приглашавшие во имя решения Народного

---

[1]) Не так давно в 1881 году также поступили ирландцы. Их Земельная Лига пустила слово: „никаких оброков“ (no rent), и больше третьей части всех оброков, следовавших с крестьян по всей Ирландии, остались на пользу крестьянам. В иных округах никто ничего не платил, кроме разве какого нибудь изменника.

Совета, жечь помещичьи замки, поземельные расписи, и уставные грамоты.

„Хлеба! И никаких платежей! никаких повинностей!“— такое было пущено слово по деревням; и такое слово понимал всякий: оно легко находило доступ и к сердцу матери, у которой дети уже три дня ничего не ели, и его отлично понимал крестьянин, с которого чиновники тянули недоимки.— „Запрет такой вышел. Как платить, коли меня-же за то на виселицу!“ — И никто не платил.

А то появлялись везде прокламации: „Долой скупщиков хлеба!“ — И вот амбары скупщиков взламывались; на их обозы нападали крестьяне, и вскоре целая область оказывалась охваченной восстанием.—„Долой таможни!“— и крестьяне жгли заставы, избивали таможенных чиновников. Тем временем и в городах народ тоже задумывался, и там тоже начинали восставать. — „В огонь все податные счетные книги, все городские архивы!“ неслось по городам. И вот в июле 1789 года бумаги жгли во многих городах; крестьяне же нападали на помещичьи усадьбы, жгли уставные грамоты и требовали от помещиков отказа ото всяких повинностей и оброков. Государственная власть оказывалась расстроенной, помещики бежали за-границу, а революция, тем временем, все больше и больше расширяла свой круг.

Все то, что происходило в Париже в следующие четыре года, с 1789-го года, по 1793-й, было не более как отголоском того, что делалось в провинции, по деревням и городам — отголоском той революции, которая втечение четырех лет взволновала каждый город, каждую деревушку в восточной Франции, где народ восставал не столько против центральной государственной власти, сколько против своих непосредственных врагов— местных эксплоататоров и пиявок. Без этих восстаний, Париж был бы бессилен против короля.

Они дали смелость буржуазии ограничить короля, они дали парижскому народу смелость, силою пойти против короля и возможность победить его, взять его в плен

и казнить его. Без этих тысячей мелких бунтов не было бы революции.

Французская революция 1788—93-го года, представляющая собою в крупных размерах полное разложение государственной власти народною революциею (экономическою по своему существу, как всякая истинно-народная революция) является для нас драгоценным и поучительным примером.

Еще задолго до 1789 года положение дел во Франции было революционным. Но бунтовской дух тогда еще не достаточно созрел, чтобы революция могла вспыхнуть; и вот усилия революционеров направлялись на развитие этого революционного духа, на развитие смелости в народе и ненависти во всех к существующему общественному порядку,

Пока революционеры из буржуазии направляли свои удары против правительства, революционеры из народа— имена которых даже не сохранились в истории — люди, вышедшие из среды самого народа, подготовляли всевозможными видами протеста против помещиков, чиновников и всякого рода мироедов, свое восстание, свою революцию.

Когда, в 1788 году, серьезные бунты народных масс уже возвещали приближение революции, королевская власть и буржуазия стали стараться успокоить их некоторыми уступками. Но — могла-ли народная волна утихнуть от созыва Земского Собора (Генеральных Штатов), от иезуитских уступок, сделанных в ночь на 4-го августа, или от ничтожных реформ, сделанных Законодательным Собранием? — Таким средствами можно было бы успокоить политический бунт, но не им было совладать с народным восстанием. И волна росла все выше и выше. Но, нападая на собственность, она в тоже время расстроила государственную власть короля. Она делала совершенно невозможным какое бы то ни

было управление страною, — и в результате народное восстание, направленное против помещиков и вообще богачей, через четыре года совершенно снесло как известно, самодержавие и королевскую власть.

Таков ход всех великих революций. Таково же будет развитие и таков же будет ход будущей революции, если только она будет — а мы в этом убеждены — не только простой сменой правительств, но настоящей народной революцией, т. е. таким переворотом, который коренным образом изменит *формы собственности.*

ПРИМЕЧАНИЕ.

Взгляд на Великую Французскую революцию, который проводится здесь, отличается от казенного, общепринятого; я должен, поэтому, в нескольких словах выяснить его для читателя. С точки зрения историков — поклонников буржуазии, схватка произошла, главным образом, в больших городах, а в особенности в Учредительном Собрании. Деревенское население, говорят они, тоже волновалось, после того как Париж дал ему сигнал к движению взятием Бастилии. Было сожжено несколько феодальных замков, а затем все успокоилось. А если и были впоследствии какие нибудь бунты (их серьезность, при этом, стараются уменьшить), то это было дело „разбойников", несомненно подкупленных контр-революцией и желавших только вызвать беспорядок, потому что не могли же, в самом деле, честные республиканцы и патриоты стремиться к беспорядку, после провозглашения „великих принципов" 1789 года и после того, как революция уже стала на такую хорошую дорогу, благодаря Учредительному Собранию и Конвенту! Так учат нас буржуазные историки.

Наш взгляд—совершенно противоположный. Крестьянские восстания в деревнях и движения босяков в городах начинают становиться более или менее заметными уже с 1788 года, а с первых месяцев 1789-го делаются более многочисленными; они также получают более определенный характер — требуют отмены феодальных прав. Раз начавшись эти народные восстания уже не прекращаются вплоть до 1793 года. И в них, а не в парламентской болтовне — все сила революции.

Если в промежуток времени от мая до июля 1789 года буржуазия обнаруживает такую смелость, если 4-го августа аристократия разыгрывает комедию „принесения своих прав в жертву на алтарь своего отечества", то это зависит от того, что уже с февраля крестьянство Фран-

ции восстало: оно перестало платить повинности и возмущается против помещиков. Вместе с тем волнуются и те, которых называют „поддонками городского населения". Парижское восстание 11—14 июля, 1789 года, кончившееся взятием Бастилии, точно также, как и движение в Страсбурге и других больших городах, совершившиеся вслед за тем, вовсе не представляют собою таких чинных, выглаженных движений, какими их изображают. В Париже это—вовсе не протест против падения Неккера, а настоящее восстание бедноты против богачей вообще,—восстание, которым буржуазия пользуется, чтобы, введя его в известное русло, овладеть им в целях свержения королевской власти. Тоже самое— в Страсбурге и других городах.

То, что мы видим в селах и городах в 1789 году, повторяется в продолжение всех четырех лет революции. В деревнях происходит ряд крестьянских бунтов, а в городах — беспрерывные восстания рабочих и вообще бедноты.

Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть, хотя бы на доклад Грегуара, представленный им от феодального Комитета в январе 1790 года. По этому докладу можно уже судить о распространении крестьянских волнений в это время; а чтобы понять, почему для уничтожения выкупа феодальных повинностей и возвращения общинам земель, отнятых у них помещиками, необходимо было такое продолжительное восстание, достаточно вспомнить мартовские законы 1790 года, которые еще предписывали сохранение некоторых „десятин, как духовных, так и феодальных", [1]) а также полную уплату, вплоть до выкупа, всевозможных повинностей и платежей, как деньгами, так и натурой, которые сохранились еще со времен крепостного права; причем эти законы запрещали „кому бы то ни было, письменно, или речами, или угрозами, препятствовать взиманию десятины или оброков, под страхом наказания за нарушение общественного спокойствия." Этот декрет, изданный через десять месяцев после знаменитой ночи 4-го августа и почти через год после взятия Бастилии, показывает, много ли выиграл-бы крестьянин, если-бы крестьянские движения не продолжались. (См. об этом подробнее в моей книге: *Великая Французская Революция*).

---

[1]) „Десятиной" тогда назывался оброк — десятый сноп, который платили духовенству.

Вот почему Тэн, несмотря на оскорбления, которыми он осыпает народ — вероятно, в угоду академическому стилю — очень близок к истине, когда говорит, что во время Революции произошло пять или шесть жакерий (крестьянских восстаний) одно за другим. Крестьянское восстание, в сущности, тянулось четыре года — от 1788 до 1793, — пока Конвент, под давлением восставшего парижского народа, не признал, наконец, совершившегося факта и не отменил предшествовавших декретов о феодальных правах и общинных землях, не издал распоряжения о возвращении общинам земель, отнятых у них помещиками в пользу всех крестьян как собственников, так и пролетариев, и не уничтожил окончательно, как самые феодальные права, так и выкуп их, установленный Учредительным Собранием. Впрочем, как и все подобные движения, крестьянские восстания не происходили повсеместно и беспрерывно. Они то угасали, то вновь вспыхивали, замирали в одном месте и возрождались в другом, постоянно переходя с места на место.

Без таких восстаний, поддерживавшихся волнениями в городах, Революция осталась бы для нас совершенно непонятной; она была бы невозможна. Известный историк восемнадцатого века, Шлоссер, очень хорошо заметил это затруднение.—„Как мог Робеспьер держать таким образом в руках всю Францию?"—спросил он однажды у аббата Грегуара; на что Грегуар ответил следующими словами, отлично изображающими положение дел:—„Робеспьер!„ воскликнул он, — „да в каждой деревне был свой Робеспьер!" Он бы выразился еще вернее, если бы прибавил: свой Марат, свой клуб „неистовых!"

Только благодаря этому восстанию, уничтожение самодержавия стало возможным. Пока крестьяне восставали ради своих собственных целей, пока городская беднота ощупью отыскивая путь к иному будущему, свергала существовавшие правительства и таким образом мешала установлению твердой власти,— буржуазия смогла прицепить к народной революции свою собственную, которая дала ей возможность свергнуть королевскую власть и овладеть правительственною властью в свою пользу. Те, кто теперь не хотят признать, что их предшественники из буржуазии произвели свою революцию при поддержке тех самых бедняков, которых они так презирают теперь, должны были бы обратиться к историческим источникам вместо того, чтобы ограничиваться перепечатками, более или менее разукрашенными разными рассказами из казенной газеты, „Монитера". Они бы увидали,

что их предки, которые являются такими скромными в оффициальной истории, не гнушались рассылать по деревням зажигательные памфлеты „за печатью Национального Собрания“ и вербовали союзников, для своих демонстраций в Париже, в самых подозрительных кабаках. Точно также и Тэну не следовало бы обрушиваться на „якобинцев“ (у него все революционеры — якобинцы!), устраивавших выборы при помощи дубин; именно дубинными выборами голоштанные революционеры мешали королевским приспешникам попасть во власть, и так удалось сломить власть короля и помешать, на местах, ее восстановлению.

Что касается волнений, предшествовавших Революции и происходивших в первые годы ее, то все то немногое, что мне удалось сказать на таком ограниченном пространстве, представляет собою результат работы, начатой мною в 1877 и 1878 году в Британском Музее и в Парижской Национальной Библиотеке, — работы еще не законченной и в которой я хотел изложить происхождение французской Революции и других европейских движений. Те, кто пожелал бы заняться изучением этого в высшей степени важного, предмета, могут с пользой обратиться (помимо известных трудов Бодо, Дониеля, Леймари, Боннемера, Гиппо, Бабо и др., которые описывают общее положение дел перед революцией), к некоторым мемуарам и историям отдельных местностей: Комба — о городе Кастр; Сомьè — о Юре; Вика и Весселя о Лангедоке (продолжение этого труда принадлежит дю-Мэжу); дю-Шапелье о Бретани; Клера о Франш-Контэ; Штробеля (а впоследствии Энгельгардта) об Эльзасе; а в особенности Гейца (Heitz: *Contrerévolution* и *Societes politiques*) ; Леймари о Лимузене; Мондезира о Лимузене и Керси; Лафона о Юге Франции и т. д.

Тем не менее, пусть они не рассчитывают, что при помощи одних этих материалов им удастся восстановить полную историю бунтов, предшествовавших Революции. Для этого есть один только путь: это—исследование архивов, в которых, несмотря на уничтожение феодальных документов по распоряжению Конвента, несомненно найдутся очень интересные данныя. Я укажу, между прочим, на ряд документов, специально относящихся к этим восстаниям, которые находятся во Французских Национальных Архивах и с которыми мы познакомились благодаря профессору Карееву и его труду о французском крестьянстве перед Революцией. Вероятно, эти же, а также и другие документы, находящиеся в

Архивах, послужили данными и для Тэна, который говорит, что до взятия Бастилии во Франции произошло не менее трехсот крестьянских восстаний, а также упоминает — к сожалению только в одной строчке — о тайных обществах, существовавших среди крестьян до Революции и вначале ее.

Что касается приемов агитации, употреблявшихся парижской буржуазией вначале Революции — приемов, от которых она с таким негодованием отказывается теперь — то я руководился, главным образом прекрасной книгой Феликса Рокэна: „Революционный дух до Революции“, которую я настоятельно советую прочесть всем тем, кто ищет ф а к т о в, а не предвзятых мнений.

XVIII.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.

Когда приходится рассуждать о порядке вещей, который, по нашему мнению, должен создаться ближайшею революциею, нам часто говорят:—„Все это теория; нам нечего этим заниматься! Займемся лучше практической стороной дела, напр. вопросом о выборах. Постараемся подготовить почву для передачи власти в руки рабочего сословия; а потом мы увидим, что может произойти из Революции“.

В этом умозаключении есть нечто, заставляющее нас сомневаться, не только в его справедливости, но даже в его искренности. В сущности, у каждого, говорящего эти слова, есть своя готовая теория относительно того, как будет организовано будущее общество на другой день, после переворота, вернее даже — в день переворота. Люди, повидимому неинтересующиеся вопросом о будущем общественном строе, не только не относятся безразлично к своим теориям; они глубоко в них верят, проповедуют и распространяют их; и вся их деятельность есть ничто иное, как логический вывод из их воззрений. На самом деле слова: „не будем спорить о теоретических вопросах“ означают только „не расшатывайте спорами *нашей* теории, а лучше помогите нам привести ее в исполнение“.

Действительно, нет ни одной журнальной статьи, которую автор не вставил бы своих взглядов относительно организации будущего общества. Слова: „Рабоче

Государство“, „Организация производства и обмена посредством Государства“, Коллективизм“, (понимаемый в смысле общности лишь орудий производства и исключающий общее пользование продуктами), „дисциплина партии“, и т. д.),—все это на каждом шагу встречается в журнальных статьях и в брошюрах, и выходит, что те, которые на словах не придают никакого значения „теориям“, на самом деле делают все что только могут для наиболее широкого распространения своих теорий. Пока мы воздерживаемся от подобного рода споров, другие проповедуют свои воззрения, сеют свои заблуждения,—т. е. те заблуждения, против которых нам придется впоследствии бороться. Возьмем, для примера, хоть известную книгу бывшего австрийского министра Шефлэ: *Квинтэссенция социализма.* В этой книге, автор, под видом защиты социализма, на самом деле преследует одну цель: спасти погибающий буржуазный строй. Правда, что среди французских и немецких рабочих книга Шефлэ не имела успеха; но горе в том, что его мысли, приправленныя несколькими революционными фразами, то и дело распространяются во всевозможных видах [1]).

Да это и совершенно естественно. Человеческому уму противно заниматься разрушением существующего не имея заранее готовой идеи, хотя бы в самых общих чертах, о том, *чем разрушенное будет заменено.* „Будет учреждена революционная диктатура“, говорят

---

[1]) Теперь, книга Шефлэ уже не имеет никакого значения. Но—сколько распространилось за последнее время всевозможных учений, преследующих ту же цель! Вместо того, чтобы разобрать деловито, серьезно, трудности, которыя встретит на своем пути *действительная передача* всего производства и потребления из рук частных предпринимателей в руки всего общества, и указывать на меры, которые облегчат этот переход, и способы передачи, к которым придется прибегнуть,—учения, о которых идет речь, учат только, *как избегнуть неизбежной перестройки! (Прим. 1919 года).*

одни.—„Будет назначено правительство из среды рабочих, и ему будет поручена организация производства", говорят другие.—„Все будет общим в восставших общинах", проповедуют третьи и т. д. И при этом, все имеют свое излюбленное, хотя и туманное представление о будущем строе, и это представление, как бы оно ни было туманно, влияет, сознательно или безсознательно, на их деятельность втечение подготовительного периода.

И так, мы ничего не выигрываем, избегая „теоретических вопросов"; напротив того, если мы хотим быть „практичными", мы обязаны непременно теперь же, заняться изложением и всесторонним обсуждением нашего идеала анархического коммунизма.

Наконец, если не заняться теперь, в период сравнительного затишья, которое мы переживаем [1]), изложением и обсуждением этого идеала, то когда же мы будем в состоянии сделать это?!

Не в тот ли день, когда среди баррикад, на развалинах разрушенного строя, нужно будет, немедленно, открыть настежь двери новому будущему? Тогда будет необходимо иметь на-готове совершенно определенное, отчасти уже испытанное решение. и твердое намерение ввести в жизнь это решение. Рассуждать и спорить—тогда уже будет поздно. Тогда надо будет действовать, немедля, в том или другом направлении.

Возьмем, например, Францию. Что, спрашивается, было причиной того, что совершившиеся во Франции революции не дали французскому народу всего того, на что он имел полное право рассчитывать? Не то ли, что народ слишком много рассуждал заранее о целях революции, приближение которой он ясно чувствовал?—Конечно нет! Напротив того, заботы о том, чтобы наметить немедленные цели будущей революции, народ всегда

---

[1]) Статья эта была написана в 1879 году.

предоставлял своим вожакам, которые, что совершенно понятно, всегда, вовсе не оправдывали надежд народа.

Если народ оставался ни с чем, то не потому, что он имел ту или другую определенную идею о будущем строе,—идею мешавшую ему действовать,—а потому, что он *никакой* идеал о будущем не имел. Буржуазия в 1789, 1848 и в 1870 году прекрасно знала, что она будет делать в ту минуту, когда народ низвергнет правительство. Она знала, что ей нужно будет захватить власть, узаконить свое господство выборами, вооружить и в прямом и в переносном смысле мелких буржуа против народа и, держа в своих руках войско, пушки, пути сообщения и деньги, послать наемников на рабочих. *Она* знала, что ей надо будет делать, и что она сделает в день Революции.

Народ же в это время не знал ровно ничего об этом. Относительно политического вопроса он повторял в 1848 году, вслед за буржуазией:—„Республика и всеобщая подача голосов!“ Вместе с мелкой буржуазией он кричал в марте 1871 года:—„Коммуна!“ Но ни в 1848, ни в 1871 году он не имел ни малейшего понятия о том, как решить вопрос о хлебе и труде ни в Республике, ни в Коммуне.—„Организация труда“, этот лозунг 1848 года (воскрешенный недавно, в несколько иной форме, немецкими коллективистами). был так смутен, что под ним можно было разуметь *все что угодно*; тоже самое можно сказать о столь же смутно понимавшихся тогда идеях коллективизма, высказанных в Международном союзе рабочих (в Интернационале). Если бы в марте 1871 года организаторов коммуны спросили, что нужно сделать для разрешения вопроса о хлебе и труде, то произошло бы истинное вавилонское столпотворение самых противоречивых ответов. Нужно ли было завладеть фабриками и заводами во имя Парижскай Коммуны? Можно ли было захватить частные здания и провозгласить их общественной собственностью восставшего города? Нужно ли было об‘явить все богатства, нагро-

можденные в Париже, общественным достоянием французского народа и употребить эти могущественные средства в целях освобождения всей партии? Ни на один из этих вопросов в народе не было сложившегося мнения. Занятый нуждами каждодневной борьбы, Интернационал упустил из виду основательное обсуждение этих вопросов.—„Все это—пустые теоретические разглагольствования“, говорили тем, которые возбуждали их, и когда речь шла о социальной революции, то обыкновенно ее определяли совершенно смутными словами: „Свобода, Равенство и Братство!“, иногда прибавляя слова „Солидарность“.

Конечно, мы вовсе не думаем, чтобы следовало выработать совершенно определенную программу на случай революции. Подобного рода программа могла бы только стеснять действие. Многие даже воспользовались бы ею, чтобы убаюкать себя таким софизмом:—„Так как мы не в состоянии реализовать нашу программу, то лучше ничего не делать, а сохранить нашу драгоценную кровь для более подходящего случая!“

Вместе с тем, мы прекрасно знаем, что *всякое* народное движение приближает нас к социальной революции; что оно пробуждает дух возмущения, приучает рассматривать существующий порядок, или вернее беспорядок, как нечто шаткое по своей сущности; и нужно обладать наглой глупостью одного немецкого парламентского деятеля, чтобы задаться вопросом: „к чему послужили Великая Французская Революция или Парижская Коммуна?“ Если Франция стоит впереди других народов в деле Революции, если французский народ революционен по духу и по темпераменту, то именно потому, что он совершил целый ряд революций, которых значения не признают „доктринеры“ и люди недалекие.

Прежде всего, мы должны определить *цель*, которой мы хотим достигнуть; и не только определить, а напоминать про нее словом и делом, так, чтобы сделать

ее совершенно популярной: на столько популярной, чтобы в минуту народного восстания она была у всех на устах. Задача эта гораздо труднее и, вместе с тем необходимее, чем это думают, потому что, если небольшое меньшинство ясно себе ее представляет, то этого отнюдь нельзя сказать про массы, находящиеся под влиянием прессы, буржуазной, либеральной, коммунистической, коллективистской и т. п.

От намеченной нами цели должен будет зависеть наш образ действий, в настоящем и будущем. Различие между анархистом-коммунистом, коллективистом-государственником, якобинцем и автономистом-общинником заключается не в одних представлениях об идеале, более или менее отдаленном. Оно проявится не только в день революции, а проявляется уже теперь, и во всем,—в крупном и мелком. В день революции, коллективист-государственник конечно поспешит,—в Париже, например,—занять Ратушу и, обосновавшись там, он будет выпускать оттуда декреты об обобществлении собственности. Он постарается сформировать, поражающее своею многочисленностью правительство, сующее свой нос всюду, вплоть до определения, сколько кур следует разводить в деревне Глуповке.

Общинник-автономист тоже побежит в ратушу и, тоже сформировав новое правительство, постарается возобновить историю Коммуны 1871 года, запрещая, однако, посягать на священное право собственности, пока Совет Коммуны не сочтет уместным посягнуть на него. Коммунист же анархист немедленно постарается захватить мастерския, дома, житницы и вообще все общественные богатства и постарается организовать в каждой (коммуне), в каждой группе общественное производство и потребление, чтобы удовлетворить все потребности коммун и образующихся федераций.

Тоже самое различие проявится в мельчайших проявлениях нашей жизни и нашей ежедневной деятельности. А так как каждый старается установить известную

гармонию между своею целью и средствами, к которым он прибегает, то мы можем с увереноттью сказать, что коммунист-анархист, коллективист-государственник и коммунист-автономист будут всегда находится в полном разногласии относительно всякого шага их деятельности.

Различие о котором мы говорили, существует; значит, нечего делать вид, будто мы его не замечаем. Вместо этого, постараемся лучше изложить откровенно преследуемые нами цели; и тогда из обсуждений, которые постоянно ведутся в социалистических группах—не в газетах, где деловые споры легко принимают через-чур личный характер,—будет вырабатываться в народных массах общие идеи, на которых, впоследствии, сможет об'единиться большинство.

Что касается до немедленного дела, то у всех групп существует уже теперь общее поле деятельности. Так, например, все мы находим нужным вести борьбу с капиталом и с его защитником,—правительством. Каковы бы ни были наши взгляды на организацию будущего общества, существует один пункт, относительно которого не может быть разногласия между искренними социалистами: результатом будущей революции должна быть экспроприация капитала. Из чего следует, что всякая борьба, подготовляющая такую экспроприацию должна единодушно поддерживаться всеми социалистическими группами, какого бы оттенка они ни были. И чем больше различные группы будут встречаться на этой общей им почве, и в других областях, на которые укажут обстоятельства, тем больше установится согласия относительно того, что нужно будет предпринять во время революции [1]).

---

[1]) Нас иногда упрекали за употребление выражения „в день революции“ и выводили из этого, будто мы воображаем, что революция совершится в один день. „День революции“ просто представляет разговорную форму и может обнимать семьдесят дней, как было в Коммуне 1871 года, и пять лет, как было в 1789—1794 годах. (*Прим 1919 года*).

Во всяком случае, будем помнить, что для того, чтобы в день восстания могла выявиться идея, более или менее всеобщая, необходимо неустанно выставлять наш идеал общества, долженствующего развиваться из революции. Если мы хотим быть *практичными*, будем постоянно излагать то, что реакционеры всех оттенков всегда называли „утопиями“, „теориями“. Для успеха дела, теория и практика должны составлять одно целое.

XIX.

ЭКСПРОПРИАЦИЯ [1]).

Теперь мы уже не одни думаем и говорим, что Европа находится накануне великого переворота. Буржуазия тоже начинает замечать это и говорить об этом на столбцах преданных ей газет. Английская газета „Таймс" признает справедливость этого пророчества, и такое признание тем более замечательно, что оно является в органе, который считает за правило, никогда ничем не волноваться. Подсмеиваясь над теми, кто проповедует спартанские добродетели „бережливости и воздержания", газета лондонской торговой и банкирской *City* советует буржуазии подумать о том положении, в котором, по вине общества, находятся рабочие, и посмотреть, какие уступки можно было бы им сделать, так как рабочие совершенно правы быть недовольными. *Женевская газета* (Journal de Genève),—эта старая греховодница, тоже спешит признать, что Швейцарская республика положительно не достаточно занималась социальным вопросом. Есть и другие газеты, которых нам даже не хочется называть, хотя надо сказать, они очень верно выражают настроение крупной буржуазии и финансового мира,—которые тоже начинают, уже со слезами в горле, говорить о злосчастной судьбе, предстоящей в близком будущем хозяину, принужденному рево-

---

[1]) Эта глава была написана в ноябре 1882 года, перед самым арестом в Тононе.

люцией работать наравне со своими рабочими. Третьи, наконец, с ужасом пишут, что волна народного гнева поднимается вокруг них все выше и выше.

Недавние события в столице Австрии, глухое брожение, которое чувствуется в северной Франции, то, что совершается теперь в Ирландии и России, движения, быстро следующие одно за другим в Испании и тысячи других признаков, известных всем нам; наконец, солидарность, которая связывает французских рабочих между собой и с рабочими других стран,—солидарность, заставляющая по временам сердца рабочих всего мира биться за одно, об'единяя их в одно могущественное целое,—неизмеримо более могучее, чем в те времена, когда об'единение рабочих выражалось одним каким-нибудь советом,—все это только подтверждает наши предвидения.

Наконец, положение вещей во Франции, которая снова входит в ту полосу, когда все партии, стремящиеся к власти, готовы подать другу-другу руку для достижения общей цели; горячечная деятельность дипломатов, предвещающая приближение обще-европейской войны, столько раз отложенной и тем более несомненной; неизбежныя последствия этой войны, а именно народное восстание в стране, подвергшейся чужеземному нашествию и побежденной;—все эти факты, представляясь одновременно, в переживаемую нами эпоху, столь чреватую событиями, заставляют нас думать, что революция уже близко пододвинулась.

Буржуазия понимает это и готовится к сопротивлению,—разумеется силой, так как она не знает и не хочет знать других способов разрешения столкновений. Она готова сопротивляться до крайности и заставить перебить сто тысяч рабочих, двести тысяч, если понадобится, и в добавок несколько десятков тысяч женщин и детей, лишь бы сохранить свое господство над трудящимися. Остановит ее конечно не ужас массовых из-

биений: то, что произошло в Париже на Марсовом поле в 1790 году, в Лионе в 1841 году, наконец опять таки в Париже в 1848 и 1871 годах, достаточно доказало на что способна буржуазия. Для этих господ, для спасения их капитала и права на праздность и порочную жизнь, всякие средства хороши!

Программа *их* деятельности уже определена. — Можем ли мы сказать тоже самое про себя?

Для буржуазии массовое избиение представляет уже целую программу,—лишь-бы были на то солдаты, которым можно бы было поручить дело избиения, — французские, немецкие, или турецкие это все равно. Буржуазия стремится лишь к одному,—к сохранению существующего порядка вещей, хоть-бы еще на пятнадцать двадцать лет; для нее, следовательно, все дело сводится к простой вооруженной борьбе. Для рабочих же вопрос представляется совершенно иначе, так как они хотят диаметрально противуположного, — а именно, полного преобразования теперешнего общественного строя. Для них, задача не так проста. Напротив того, она громадна, почти необ'ятна. Кровавая борьба, к которой мы должны быть готовы не менее буржуазии, представляет для нас лишь один из эпизодов, одно из проявлений борьбы, которая должна произойти между капиталом и нами. Еслибы мы смогли нагнавши страх на буржуазию, обуздать ее, а затем оставили-бы все по-прежнему, то это не привело-бы ровно ни к чему.

Наша цель гораздо шире, наши стремления неизмеримо выше.

Мы стремимся к уничтожению эксплоатации человека человеком. Мы хотим положить предел всякого рода безобразиям, порокам, преступлениям, являющимся неизбежным последствием праздной жизни одних и порабощения, экономическаго умственнаго и нравственнаго, других. Задача эта беспредельна. Но так как многовековое прошлое завещало эту задачу нашему поколению, то для нас становится исторической необходимостью работать

для полного ее разрешеиия. Мы нравственно обязаны принять возлагаемую на нас историей работу. Нам, впрочем не придется искать решения задачи ощупью. Ее решение уже указано нам властною рукою Истории; оно уже было провозглашено, оно громко провозглашается во всех странах Европы; и оно дает сводку всего хозяйственного и умственного развития нашего века. Решение это—Экспроприация и Анархия.

Если общественные богатства останутся в руках тех немногих, кто владеет ими в настоящее время; если фабрики и заводы, мастерския и мануфактуры останутся собственностью теперешних владельцев; если железные дороги и средства сообщения будут оставаться в распоряжении компаний, или отдельных личностей, завладевших ими; если дома в городах и барские виллы и дворцы останутся во владении их теперешних собственников, вместо того, что-бы тотчас по совершении революции быть предоставленными в бесплатное пользование всего рабочего сословия; если все денежные богатства, нагроможденные в банках и в домах богачей не вернутся немедленно к создавшим их рабочим в их совокупности; если восставший народ не захватит всех продуктов, скопленных в крупных городах и не сорганизуется для предоставления этих продуктов в распоряжение всех и каждого, нуждающегося в них; если, земля останется собственностью банкиров и ростовшиков, которым она ныне принадлежит, не по праву так на деле; и если, наконец, крупная собственность не будет отнята у ее владетелей и не будет отдана в распоряжение тех кто сами обрабатывают землю; и если вдобавок образуется правящий класс, повелевающий управляемым,—то восстание останется бунтом, а не революцией; и все придется начинать сначала. Рабочие, сбросив на минуту свое ярмо, должны будут снова подставить свою выю под это ярмо, и снова работать из-под кнута и выносить нахальство своих начальников снова видеть пороки и преступления праздных людей. Мы уже не говорим о белом терроре,

о—ссылках и казнях, о бесшабашных оргиях убийц над трупами убитых тружеников, какие мы видели в Париже после поражения Коммуны.

Экспроприация—вот, стало быть, лозунг, который должен быть признан обязательным для будущей революции. Без этого, она не исполнит своей исторической миссии. Полная экспроприация всех тех, кто имеет возможность эксплоатировать человеческие существа; возврат в общее пользование нации всего того, что, оставаясь в руках отдельных лиц, может служить к порабощению одних другими.

Нужно сделать так, чтобы каждый мог жить свободным трудом, не продавая своей свободы и своей рабочей силы тем, кто накопляет богатства потом и кровью своих рабов. Вот что должна будет сделать будущая революция.

Лет десять тому назад, в начале семидесятых годов, такая программа, или по крайней мере экономическая часть этой программы, была признаваема всеми теми, кто считал себя социалистом. Но с тех пор появилось столько ловких людей, нашедших выгодным для себя об'явить себя социалистами, и люди эти так ловко повели дело с целью окургузить указанную сейчас программу, что в настоящее время [1]) одни лишь анархисты сохраняют ее во всей ее неприкосновенности. Ее обкарнали, набили пустыми, звонкими фразами, могущими быть истолковаными согласно желанию каждаго. И если ее сократили таким образом, то вовсе не для того чтобы приноровиться к рабочим, (если рабочий признает социализм, то признает его обыкновенно целиком), а просто на просто для того, чтобы не шокировать буржуазии и постараться пробиться в ее ряды. И так на анархистах, и только

[1]) Начало восьмидесятых годов, когда социал-демократия отказываясь от немедленной революционной программы, примыкала ко всяким компромиссам с буржуазией *(Прим. 1919 года).*

на анархистах лежит теперь громадная задача пропаганды идеи экспроприации в самых отдаленных и кажущихся недоступными уголках человечества. Для этой работы у них нет помощников, и на помощников нечего рассчитывать.

Было-бы пагубной ошибкой считать, что идея экспроприации уже проникла в умы всех рабочих, и что она сделалось для всех одним из тех глубоких убеждений, за которые человек правды готов жертвовать жизнью. Напротив того, существуют миллионы людей, которые никогда не слыхали ни слова об этой идее, а если и слышали, то из уст ее противников. Даже между теми кто признает ее,—как мало таких, которые исследовали бы ее со всех точек зрения, во всех подробностях! Мы знаем, конечно, что идея экспроприации получит наибольшее число сторонников именно втечение революционного периода, в то время когда все будут интересоваться общественными делами, будут читать, спорить, действовать, и когда массы будут увлекаться преимущественно идеями, выражаемыми в форме наиболее сжатой и наиболее ясной.

Если бы во время революции было лишь две партии: буржуазия и народ, идея экспроприации сделалась-бы сразу общим достоянием рабочих масс, в ту самую минуту, когда она была-бы выставлена на знамени даже небольшой группы людей. К сожалению, мы знаем что нам придется считаться не только с буржуазией, но и с другими врагами социальной революции. Все промежуточные партии, стоящие между буржуазией и социалистами-революционерами, все те, кто проникнут до мозга костей смирением, выработанным веками порабощения разума и уважением к авторитету; наконец все сыны буржуазии, которые постараются спасти от гибели часть своих привилегий, выбросив за борт остальные, в надежде заевовать их снова впоследствии; все эти посредники употребят свои старания на то чтобы заставить народ упустить добычу, погнавшись за ее тенью. Най-

дутся тысячи людей, которые будут говорить, что лучше довольствоваться малым, чтобы не потерять всего; людей которые будут пытаться оттянуть время и ослабить революционный под'ем, употребив его на пустяки или направив его против людей совершенно ничтожных, вместо того, чтобы-воспользоваться им для разрушения вредных учреждений. Не мало найдется также охотников играть Сэн-Жюстов и Робеспьеров, вместо того, чтобы поступать так как поступал французский крестьянин восемнадцатого столетия то есть: захватывать общественные богатства, употреблять их тотчас же с пользой для всех и устанавливать свои права на эти богатства, делая их достоянием всего народа.

Чтобы избежать этой опасности у нас есть только одно средство. Это теперь же начать работу, словом и делом, для широкого распространения мысли об экспроприации. Необходимо чтобы всякое выступление в общественной жизни было связано с этой основной мыслью, чтобы слово „экспроприация" проникло в самые отдаленные деревушки, чтобы о нем спорили и говорили всюду, чтобы для всякого рабочего для всякого крестьянина она сделалась необходимой частью учения об анархии. Тогда и только тогда, мы можем быть уверены, что в день Революции оно будет на языке у всех и властно прозвучит в устах всего народа. Тогда и только тогда можно будет с уверенностью сказать, что народная кровь не прольется даром.

Такова идея, которая все более и более проникает в умы анархистов всех стран относительно задачи, выполнение которой падает на них. Время не терпит и именно в этом мы должны почерпнуть новые силы, новую энергию для достижения намеченного результата. Без этого, все усилия, все жертвы народа будут снова потеряны.

II.

Прежде чем изложить, как мы понимаем экспроприацию, мы должны ответить на одно возражение, ничтожное с теоретической точки зрения, но очень распространенное. Политическая экономия, эта наука наук буржуазии, непрестанно и на все лады расхваливает благодетельные последствия частной собственности.—„Посмотрите“, говорит она, на чудеса, которые творит крестьянин, как только он становится собственником клочка земли, который он обрабатывает; посмотрите, как он вспахивает и размельчает землю на своем клочке, какой он получает урожай с полосы земли, иногда совсем неплодородной! Посмотрите, чего достигла промышленность с тех пор, как она отделалась от всевозможных стеснений; цехов, цеховых мастеров, присяжных. Чудеса, совершаемые и т. п.! ею теперь—последствия частной собственности!“

Правда, что нарисовав эту картину, экономисты однако не выводят из нее законного заключения, что „земля должна принадлежать тому, кто ее обрабатывает!“ Напротив того, они говорят: „Земля принадлежит барину, который обрабатывает ее руками рабочих!“ Тем не менее на свете существует не мало простодушных людей; на них действуют приведенные выше доводы, и они повторяют их без дальнейших рассуждений. Что касается до нас, грешников—„утопистов“, как нас называют — мы всегда стараемся, именно потому, что мы „утописты“, добраться до глубины вещей, продумать, и вот к чему мы приходим.

По отношению к земле, мы тоже, конечно, находим что обработка ее совершается гораздо лучше когда крестьянин становится хозяином обрабатываемого им поля. Но с кем спрашивается, сравнивают господа экономисты мелкого земельного собственника? С земледельцем коммунистом? С духоборами поселившимися на Амуре, которые весь свой скот считают общей собственностью и

землю обрабатывают сообща. трудом всех молодых рук коммуны, пашут четырьмя или пятью парами волов, и выкорчевывая с корням дубнячок, строят сообща свои избы и с первого-же года становятся зажиточными, тогда как поселенец—одиночка, попробовавший осушить и вспахать болотистую долину, выпрашивает Христа ради муки у Правительства? [1]) Или же сравнивают с одной из американских общин, описанных Нордхофом,—общин которые прежде доставляли всем своим членам лишь пищу, одежду и жилище, а теперь выдают по 250 рублей на человека, что бы позволить каждому и каждой из членов или членок купить себе музыкальный инструмент, или художественное произведение или наконец какую-нибудь туалетную безделушку, не существующие в магазинах общин?

Конечно нет! Изыскивать и самому накоплять противуречащие своим воззрениям факты, чтобы дать им надлежащее об'яснение, чтобы-бы подтвердить ими свое предположение, или же, если нужно, — основываясь на этих фактах отказаться от своих предположений, — все это хорошо для какого-нибудь Дарвина! Оффициальная же наука предпочитает не знать противоречий. Она довольствуется сравнением крестьянина-*собственника*— с крепостным, с половником, или с фермером нанимающим землю:

Но разве крепостной, в те времена когда он обрабатывал землю своего барина не знал, что барин отнимет у него все, что он пожнет; за исключением ничтож-

---

[1]) После того, как написаны были эти строки 6.000 духоборов, преследуемых русским правительством за свои противу-государственные убеждения переселились в Канаду. Не смотря на громадные затруднения встреченные ими вначале и на последующие каверзы со стороны канадского правительства, двадцать селений этих общинников-коммунистов поражают всех своим поразительным благосостоянием, и их следовало-бы брать для сравнения коммунистического хозяйства с хозяйством одиночек.

ного количества гречихи и ржи, безусловно необходимых для поддержания жизни в работнике? Разве он не знал, что сколько-бы он не работал, как только настанет весна ему придется примешивать лебеды в муку, как это до сих пор еще делают русские крестьяне [1]) и как это делали французские крестьяне до Великой Революции 1789—1793 года! Наконец, разве крепостной не знает что если-бы ему довелось как-нибудь разбогатеть, он сейчас-же подвергся бы всякого рода корыстным притеснениям своего барина? — Понятно, что крестьянин, в таких условиях, предпочитал работать, как можно меньше и кое-как возделывать чужую землю. Можно-ли после этого удивляться тому что во Франции внуки и правнуки крестьян ее до-революционного времени стали обрабатывать землю несравненно лучше с тех пор как они могли свозить свой собственный хлеб в свой собственный амбар?

Половинщик, снимающий землю у барина из-пола, уже представляет из себя лучшего земледельца по сравнению с крепостным. Он знает, что половина его жатвы будет взята хозяином земли; но он за то уверен, что другая половина не будет отобрана. И, не смотря на условия найма земли,—отдавать половину урожая барину—условие, возмутительное с нашей точки зрения, но вполне законное и справедливое с точки зрения экономистов,—ему удастся все-таки хоть немного улучшить обработку земли, насколько это возможно для отдельного земледельца.

Фермер, если он нанял землю на большой промежуток времени и на действительно выгодных условиях, позволяющих ему откладывать несколько денег на улучшение обработки земли, или если у него имеется свой собственный небольшой капитал, делает еще шаг вперед на пути улучшений.

---

[1]) Напоминаем, что писалось это для французской читающей публики, не знающей этих фактов. (*Прим. переводчика*).

И наконец, крестьянин-собственник, если он не завяз в долгах при покупке своего клочка земли, если он обладает хоть небольшим запасным капиталом, обрабатывает землю еще лучше чем крепостной, половинщик или арендатор, и делает это потому, что, за исключением налогов и доли, идущей ростовщику, все, что он добудет со своей земли, своим потом и кровью, будет его собственностью.

Но что, спрашивается, можно вывести из этих данных? Только то, что никто не охоч работать на других, и что никогда земля не будет хорошо обработана, если землепашец будет знать, что не мытьем, так катаньем большая часть его жатвы будет поедена каким-нибудь бездельником, будь этот бездельник барин, буржуа или ростовщик; или же государство отнимет у него эту часть в виде выше возрастающих налогов. Что же касается того, чтобы на основании наблюдений над частной собственностью сделать заключение о собственности общинной, то для этого нужно иметь или слишком пылкое воображение, или особое предрасположение к выводам, не имеющим ничего общего с данными, на которых они строятся.

Из приведенных фактов можно, однако, сделать выводы, но совершенно иные.

Работа половинщика, арендатора и в особенности мелкого собственника—конечно лучше, производительнее, чем работа крепостного, или раба; а между тем ни при испольной системе, ни при системе сдачи земли в аренду, ни даже при системе мелкой собственности земледелие не преуспевает. Пол-века тому назад еще можно было думать, что мелкой земельной собственностью разрешался земельный вопрос, потому что как раз в то время крестьянин-собственник начинал пользоваться некоторым благосостоянием, тем более бросавшемся в глаза, что благосостояние следовало непосредственно за поголовной нищетой восемнадцатого века. Но этот золотой

век мелкой поземельной собственности пролетел очень быстро. В настоящеее время крестьянин, собственник маленького клочка земли, с трудом сводит концы с концами. Он весь в долгах и находится в безграничном распоряжении торговца рогатым скотом, торговца землей, ростовщика; вексель и закладная запись разоряют целые деревни, даже более, чем громадные поземельные налоги, взимаемые Государством и земством. Мелкая собственность выбивается из сил, и если крестьянин еще остается по имени собственником земли, то на деле он ни что иное, как арендатор земли которая в сущности уже принадлежит банкиру или кулаку. Он все еще надеется избавиться в один прекрасный день от долгов; в действительнойсти же долги его все растут и растут. На несколько сотен таких крестьян, которые преуспевают, насчитывается уже несколько миллионов других, которые выйдут из когтей кулачества лишь путем революции.

Откуда-же берется это положение, вполне установленное, доказанное целым рядом статистических данных и совершенно ниспровергающее теории насчет благодеяний собственности?

Об'яснение очень просто. Дело не в конкуренции американских продуктов, так как наблюдаемый факт уже предшествовал этой конкуренции; также не в тяжести налогов: уменьшите налоги и вы увидите что если процесс обеднения замедлится, то он не остановится. Дело в том, что земледелие в Европе, после пятнадцати векового топтания на месте начало, лет пятьдесят тому назад, улучшаться, и у земледельца стали появляться новые потребности, и тут явились к нему услужливые приказчики банков, машинных заводов, и всяких дутых обществ, предлагающие крестьянину делать займы или покупать орудия и скот в кредит, и так улавливают его в свои сети. А рядом с этим земля все более и более скупается богатыми, либо для собственного удовольствия, либо с промышленными целями, или в целях перепродажи, становится с каждым днем все дороже и дороже.

Разберите первую из указанных сейчас причин, наиболее общую на наш взгляд. Чтобы не отставать от совершающегося прогресса, чтобы продавать свой хлеб за ту-же цену, за какую его продают фермера обрабатывающие землю паровой машиной и удобряющие ее химическими туками, крестьянину нужно в настоящее время иметь известный капитал, позволяющий ему вводить улучшения в обработку земли. Без запасного капитала земледелие не может более существовать. Дом приходит в ветхость, лошадь старится, корова перестает давать много молока, плуг становится негодным, телега ломается, и на все это нужны деньги: на починку, на замещение того, что сделалось негодным. Кроме того, нужно постоянно увеличивать свой инвентарь, добывать усовершенствованные орудия и сильнее удобрять свое поле. На это нужно немедленно истратить несколько тысяч франков, а найти их крестьянину негде.—Что же ему остается делать?

Напрасно он прибегает к „системе единственного наследника“, от которой Франция пустеет, такое средство не выручает его из беды. Кончается тем, что крестьянин отсылает своего сына в город и тем увеличивает городской пролетариат, а сам закладывает свою землю, лезет в долги и становится снова крепостным: он попадает в крепость к банкиру, подобно тому как прежде был в крепости у своего барина.

Таково современное положение мелкой собственности. Те, которые еще поют ей хвалебные гимны, опаздывают на пол-века; они рассуждают на основании фактов, которые наблюдались пятьдесят лет тому назад; теперешняя действительность им неизвестна.

Такой простой факт, выражающийся в словах: „Без запасного капитала нет земледелия“, заключает в себе целое учение, над которым „национализаторам земли“ не мешало-бы задуматься.

Допустим что сторонникам Генри Джорджа удалось-бы отнять у всех английских собственников их громадные имения; что поместия этих лордов были бы распределены по мелочам между всеми желающими обрабатывать землю; что арендная плата была-бы уменьшена до крайности, или даже совершенно уничтожена. Тогда конечно произошло бы всеобщее благоденствие втечение двадцати, тридцати лет; но затем все пришлось-бы начинать сначала.

Земля требует больших забот. Чтобы получать до ста десяти четвериков пшеницы с десятины, как это сплошь и рядом случается в Норфольском графстве в Англии, или в исключительных правда случаях до ста тридцати-семи и даже ста шестидесяти четвериков,— подобные жатвы не выдумка—надо тщательно очистить землю от камней, осушить ее, вспахивать ее до большой глубины, надо заменить мотыгу усовершенствованным плугом; нужно покупать удобрение, поддерживать в хорошем состоянии пути сообщения и т. д. Нужно наконец запахивать все новые и новые земли, чтобы удовлетворять все более и более увеличивающимся потребностям постоянно растущего народонаселения.

На все это нужны средства и громадное количество труда, для которого силы одной семьи не достаточны. Оттого земледелие и находится в застое. Чтобы получать жатвы, не составляющие редкости при усиленной обработке, надо иногда употреблять на осушение полей до четырех и даже пяти тысяч рабочих дней на десятину в течение одного или двух месяцев. Сделать это может только капиталист или общество; но это немыслимо для мелкого землевладельца с его ничтожными средствами, которые он смог отложить в сторону, лишая себя всего того что составляет неот‘емлемую потребность человеческого существа, достойного этого имени. Земля требует от человека оживляющего ее труда, и за это она готова обогатить его своими золотистыми колосьями; а человека—нет. Запертый на всю свою жизнь в фаб-

ричные казармы, он производит чудные ткани для индийских раджей, для африканских рабовладельцев и для жен банкиров; он работает для богатых, если не ходит, понурив голову, вокруг безмолствующих фабрик; а между тем земля остается без рук, которые, если бы они были приложены к ней, дали бы необходимое и даже некоторый комфорт миллионам людей, тогда как теперь мясо, например, остается предметом роскоши для двадцати миллионов французов.

Замечу еще одно. Помимо тех, кто изо дня в день работает на земле, нужно еще, чтобы время от времени *миллионы добавочных рук* приходили на помощь для осушки мокрых лугов, для очистки нови, годной под пашню, от камней, для создания, при помощи естественных сил природы, более тучной почвы, для своевременной свозки в житницы богатых урожаев, и т. д. земля требует от города рук, машин, двигателей; а эти руки, машины, двигатели остаются в городе, или в бездействии или для удовлетворения тщеславия богатых мира сего.

В силу всего этого, частная собственность, вместо того, чтобы быть источником богатства для страны, делается—при теперешних условиях, причиной застоя в развитии земледелия. В то время, как ученые ищут и находят новые пути для обработки земли, крестьянская обработка очень медленно, даже при системе полной частной собственности, подвигается вперед или же топчется на месте на всем почти обширном протяжении Европы.

Следует ли из этого, что Социальная Революция должна, как об этом мечтают реформаторы-государственники, опрокинуть все ограды мелкой собственности, уничтожить сады и огороды, обработанные с любовью крестьянином, и пройти по всему этому паровым плугом для внедрения благодеяний, еще весьма гадательных, обработки земли на большую ногу?

Что касается до нас, то мы, конечно, ни в каком случае этого не сделаем. Ни в каком случае мы не прикоснемся к тому клочку земли, который крестьянин обрабатывает своими собственными руками при помощи своих домашних, не прибегая к наемному труду. За то мы захватим (экспроприируем) всю ту землю, которая не возделывается теми, кто владеет ею. И когда Социальная Революция будет совершившимся фактом, когда городской рабочий будет работать не на хозяина, а на общую пользу,—многочисленные группы фабричных рабочих и работниц будут, в известные времена года, отправляться в деревни, как на праздник, чтобы помочь возделать землю, захваченную у праздных людей; чтобы превращать заброшенные и поросшие кустарником пустыри в плодоносные равнины, приносящие богатства в страну и снабжающие всех богатыми и разнообразными продуктами, производимыми соединенными силами земли, света и теплоты. Что касается до мелкого собственника, то неужели вы думаете, что *тогда* он сам не поймет всех тех выгод, которые представляет совместная обработка земли, производящаяся на его глазах, что он не будет сам просить о принятии его в общую семью?

Та „помощь“, которую во время уборки хмеля оказывают теперь толпища лондонских оборванцев крестьянам Кента, или то содействие, которое теперь город оказывает деревне во время уборки винограда, будут оказываться также при вспахивании земли и в подготовительных работах. Земледельческая промышленность, периодически требующая громадное количество рук для уборки хлебов и, что еще важнее, для возделывания почвы, сделается—как только настанет то время, когда земля будет обрабатываться сообща—связующим звеном между городом и деревней. Благодаря ей, город и деревня превратятся в обширные сады, обрабатываемые одной многочисленной семьей. Существующие в настоящее время в Америке обширные фермы, на которых обработка земли производится на громадную ногу тысячами

босяков, нанимаемыми лишь на несколько месяцев и отпускаемыми как только кончаются полевые работы, превратятся впоследствии в парки для отдыха фабричных рабочих.

Будущее принадлежит не частной собственности, не крестьянину, применившемуся к клочку земли, едва питающему его, а коммунистической обработке земли. Коммунистическая обработка, и только она одна, может получить от земли все то, что мы в праве от нее требовать [1]).

Но, может быть, в обрабатывающей промышленности мы встретимся с благами частной собственности?

Не будем останавливаться над тем злом, которое проистекает в промышленности из частной собственности, именуемой Капиталом. Социалисты хорошо знают это зло. Нищета рабочего, отсутствие уверенности в завтрашнем дне,—даже там, где голод еще не стучится в дверь; кризисы, забастовки, эксплоатация женщин и детей, вырождение человеческой расы. А рядом с этим, растлевающая роскошь праздных людей и превращение тружеников в рабочий скот, лишенный возможности пользоваться плодами наук и искусств,—обо всем этом было столько говорено, что нового сказать ничего нельзя. А вследствие этого—войны за право вывоза и за господ-

[1]) Оставлю эти строки, как они были написаны в 1882 году. С тех пор, в Соединенных Штатах крупные, „мамонтовые“ хозяйства почти совершенно исчезли. Степи Огайо, где они процветали, покрыты теперь ветрянками мелких ферм (в 50, 60 десятин и меньше), полями, дающими громадные урожаи, и орошаемыми огородами. Мелкое хозяйство взяло вёрх и, благодаря могучим Союзам фермеров, кооперативным элеваторам, образованию и наконец широкому кредиту, открытому мелким кооперативам фермеров, оно процветает. См. мою книгу *Поля, фабрики и мастерские.* Долги, в которые влезли фермеры, выплачены, или выплачиваются, и ежегодно изобретаются новые для них машины и удобства жизни. *(Прим. 1919 г.)*.

ство на всемирном рынке; войны междуусобные; колоссальные армии, чудовищные бюджеты, истребление целых поколений. Как результат—искажение нравственных чувств у праздно живущих и ложное направление, даваемое науке, искусствам и нравственным понятиям. Необходимость правительств для усмирения бунтов обездоленных; закон и преступления, совершаемые во имя закона; состоящие у него в услужении судьи и палачи; угнетение одних другими, подчинение, крепостничество и рабство,—вот итоги частной собственности и личной власти, которую она порождает.

Но, может быть, не смотря на все недостатки частной собственности, несмотря на все то зло, которое из нее проистекает, она все-таки оказывает нам какие-нибудь услуги, которые искупают ее дурные стороны? Может быть, она, принимая во внимание ту всеобщую глупость людскую, о которой нам так упорно говорят наши управители, представляет из себя единственное средство для того, чтобы двигать общество вперед? Может быть, мы ей обязаны промышленным и научным прогрессом нашего века? Есть ученые, утверждающие это. Но посмотрим,—на чем основываются их утверждения, их доказательства.

Их доказательства? Но единственное доказательство, которое они приводят,—вот оно:—„Посмотрите, говорят они, на прогресс в промышленности за последние сто лет, с тех пор, как она освободилась от всякого рода пут, корпоративных и правительственных! Посмотрите на железные дороги, телеграфы, машины, заменяющие работу миллионов людей,—на машины изготовляющие все, от махового колеса весом в тысячу пудов до кружев не весящих и золотника! Всем этим мы обязаны частной предприимчивости,—желанию человека нажиться!“

Бесспорно, прогресс, совершившийся в производстве богатств за последние сто лет, можно по справедливости назвать колоссальным; но именно поэтому (заметим это мимоходом), именно поэтому стала необходимой перемена

в распределении этих богатств. Но—подлинно ли личному интересу, разумной жадности хозяев фабрик и заводов обязаны мы совершившимся прогрессом? Не было ли других деятельных сил, гораздо более важных, которые привели к указанным результатам и, до некоторой степени, являлись как бы противовесом алчности промышленников?

Эти силы всем нам известны. Стоит лишь перечислить их, чтобы выставить на вид всю их важность. На первом месте надо поставить паровой двигатель,—удобный, всегда готовый работать и в силу этого произведший целую революцию в производстве. Другим, не менее важным двигателем прогресса было появление всякого рода химических производств, которые приобрели такое значение, что, по словам технологов, развитием этих производств можно измерять развитие всей промышленности данной страны. Но химические производства—детища не алчности фабрикантов, а *науки* девятнадцатого века, и чтобы убедиться в этом, стоит только вспомнить, в каком положении находилась химия в конце восемнадцатого века! Тогда ее еще не было. Не нужно также упускать из виду развитие *идей*,—смелых философских идей, которое проявилось с конца восемнадцатого века и которое, освободив человека от метафизических тенет, позволило ему сделать открытия по физике и механике, которые произвели революцию во всей промышленности.

Но если подумать об этих трех могучих деятелях, то кто же решится утверждать, что уничтожение средневековых гильдейских стеснений было более важным для развития производства, чем великие открытия и изобретения нашего века? Разве можно, принимая во внимание великие научные открытия и изобретения 19 века, утверждать, что при том или ином общинном, коллективистском способе производства, человечество не смогло бы точно так же воспользоваться ими, или даже еще лучше, чем при частной собственности?

Что касается до самих изобретений, то надо быть совершенно незнакомым с биографиями изобретателей, чтобы вообразить себе, что они руководились жаждой наживы! Большинство из них голодало при жизни и хорошо известны старания, употреблявшиеся капиталистами, чтобы замедлить введение в практику великих новых изобретений.

С другой стороны, чтобы утверждать на этой почве выгоды частной собственности по сравнению с собственностью коллективной, надо-бы еще доказать что последняя несовместима с развитием промышленности. Без такого доказательства названное сейчас утверждение не имеет никакой цены. Но доказать его невозможно, уже по той простой причине, что мы никогда еще не видали группы людей, живущих на коммунистических началах и обладающих достаточным капиталом чтобы пустить в ход какое-нибудь крупное промышленное предприятие, и относящихся враждебно ко введению в их предприятие новых изобретений. Напротив того, как бы ни были несовершенны ассоциации, кооперативные общества, и т. д., появлявшиеся на наших глазах, как ни были велики их недостатки, они никогда не грешили невнимательным отношением к прогрессу в промышленности.

Во многом мы могли бы упрекнуть различные учреждения коллективного характера, создававшиеся в наш век, но—и это очень важно,—самый большой упрек, который мы могли бы им сделать, заключается именно в том, что они *не были достаточно коллективны, т. е. были основаны на недостаточно-коллективном начале.* Крупные акционерные общества, прорывавшие перешейки и горные хребты, мы можем упрекнуть в том, что они образовали собою новую разновидность безличных хозяев, и что они устилали людскими костями каждую сажень их каналов и туннелей. Рабочие корпорации мы тоже упрекнем в том, что они образовывали собою новый привилегированный класс лю-

дей, стремящихся эксплоатировать своих братьев. Но ни те ни другие не могут быть обвинены в косности ума, во враждебном отношении к улучшениям в промышленности. Единственное заключение, которое возможно вывести из коллективных предприятий последнего времени, заключается в том, что чем менее личный интерес и эгоизм отдельных лиц могут заменять собою в предприятии коллективный интерес,—тем больше у него шансов на успех.

Одним словом, из нашего краткого разбора следует одно: что аргументы в пользу частной собственности в высшей степени легковесны. А потому, не стоит ими заниматься более, чем они заслуживают, и гораздо полезнее будет определить,—в какой форме должно совершиться присвоение всеми всех общественных богатств. Попробуем же определить поточнее стремления современного общества, и основываясь на них, попытаемся определить, какую форму может принять экспроприация в ближайшей революции.

III.

На наш взгляд, нет задачи более важной в данное время, чем исследование формы, которую должна будет принять экспроприация в ближайшей революции; а потому мы призываем всех наших товарищей к тщательному изучению, со всех точек зрения, в виду применения ее в жизни, которое рано или поздно окажется необходимым. От того, как будет совершена экспроприация будет зависеть окончательный успех революции, или же временный ее неуспех.

В самом деле, никто из нас не может не знать, что всякая попытка совершить Революцию должна считаться заранее неудавшейся, если она не будет отвечать интетересам большинства и не найдет средства их удовлетворить. Недостаточно иметь благородные стремления. Человек не может существовать одними возвышенными

мыслями и прекрасными речами; ему нужен также хлеб насущный: чрево обладает еще большими правами чем мозг, так как оно питает весь организм. И так, если на другой день после переворота народным массам будут преподносить только громкие фразы; если они не убедятся из фактов, ясных как день, что положение дел изменилось в их пользу; если свержение существовавшего ограничится заменой одних правящих лиц и одних форм другими—тогда можно будет смело предсказать, что все совершившееся пропадет даром, и у народа будет одним разочарованием больше. И снова нам придется приняться за бесплодную работу Сизифа: катить в гору громадный камень!

Чтобы Революция была не пустым словом, чтобы реакция не вернула нас вскоре к нашей точке отправления,—нужно чтобы завоевания первых же дней (или недель) стоило защищать.

Необходимо, чтобы тот, кто вчера был нищим, перестал быть нищим. Припомните парижских республиканцев рабочих, дававших после революции 24 февраля „три месяца нищеты в распоряжение временного правительства“. Эти „три месяца нищеты“ были приняты правительством с увлечением, и уплата была сделана, уплата... расстрелами и массовыми ссылками! Рабочие надеялись, что три тяжелых месяца ожидания будут достаточны для выработки тех законов, которые превратят их в свободных людей, дадут им работу и обеспечат хлеб насущный. Но, вместо того, чтобы просить, не вернее ли было бы взять самим? Вместо того, чтобы жаловаться на свою бедность, не лучше-ли было положить ей конец? Мы далеки от того, чтобы отрицать величие и красоту самоотвержения, выказанного рабочими в этом случае; но покинуть на волю судьбы тех, которые пошли с нами, не значит совершить акт самоотвержения, это скорее измена. Когда умирают борцы,—честь и слава им! но пусть их смерть идет на пользу других! Когда самоотверженные и преданные люди жерт-

вуют собой, — так и быть посему: но нужно, чтобы народной массе была польза от принесенных жертв!

— —

Только всеобщая экспроприация может удовлетворить униженных и оскорбленных, а потому ее следует вывести из области теоретических мечтаний на путь практического осуществления. Но для того, чтобы совершившаяся экспроприация соответствовала ее основной цели, которая состоит в уничтожении частной собственности и в возвращении всего — всем, необходимо, чтобы она была предпринята в широких размерах. Произведенная в малых размерах, она будет представляться простым грабежом; в крупных же размерах она будет началом общественного переустройства. Конечно, нужно быть совсем незнакомым с законами истории, чтобы вообразить, что когда нибудь целая европейская страна сделается вдруг примером необходимого для всего цивилизованного света. Ни Франция, ни тем менее Европа, не сделаются вдруг строго анархическими. Но мы знаем также, что с одной стороны глупость правителей, их властолюбие, их войны и их банкротства, а с другой стороны — непрестанная пропаганда идей, вызовут крупные нарушения равновесия, т. е. революции — сплошь и рядом. Тогда мы сможем и мы *должны* будем действовать. Сколько раз революционеры уже бывали захвачены в расплох и пропускали благоприятный случай, не воспользовавшись им для торжества своего дела!

И так, когда такие дни наступят, — а ускорить их приближение зависит от нас, — когда целый округ, или когда целый город с его пригородами сбросит с себя иго своих правителей, наша задача будет совершенно намечена. Нам будет необходимо сделать возможным, чтобы весь запас орудий и приспособлений, бывший частной собственностью, чтобы общественные богатства, находящиеся в руках частных лиц, вернулись к своему действительному хозяину, т. е. обществу; чтобы каждый мог иметь свою долю в потреблении; чтобы производство всего необхо-

димого и полезного могло продолжаться; и чтобы общественная жизнь не только не остановилась, а напротив того—развилась с наибольшей энергией. Без пашень и огородов, дающих нам необходимое для питания, без житниц, без складов и магазинов со всевозможными произведениями человеческаго труда, без заводов и мастерских снабжающих нас материями, обработанными металлами и тысячами других плодов промышленности и искуства, а также орудиями защиты; без железных дорог и других путей сообщения, позволяющих обмениваться продуктами с другими свободными общинами и об‘единять наши старания для защиты и для нападения, мы приговорили бы самих себя к непременной погибели, мы задохнемся, как рыба вытащенная из воды и неимеющая возможности дышать, не смотря на целый океан воздуха, в котором она барахтается.

Вспомним великую стачку железнодорожников в Соединенных Штатах, происшедшую несколько лет тому назад. Народные массы признавали, что право было на стороне стачечников, все враждебно относились к нагло обращавшимся с публикой железнодорожным кампаниям, и каждому было приятно видеть, что компании находились в полном распоряжении железнодорожных рабочих. Но когда рабочие, ставши на деле властителями путей и подвижного состава, пренебрегли случаем воспользоваться ими, когда приостановился всякий обмен товаров, когда жизненные продукты и всякого рода товары удвоились в цене,—тогда общественное мнение быстро изменило свое настроение.—„Пусть лучше восторжествуют железнодорожные общества, которые обкрадывают и калечат нас, чем эти нелепые забастовщики, которые морят нас с голоду!“ заговорила народная масса. Будем же помнить этот случай! В революции необходимо, *чтобы все насущные интересы всего народа были соблюдены*, и *чтобы ее потребности и ее стремления к справедливости были удовлетворены.*

Провозгласить хороший принцип еще недостаточно: надо с‘уметь применить его к жизни.

Нам часто повторяют: „Попробуйте только прикоснуться к клочку земли крестьянина или к хижине, принадлежащей рабочему, и вы увидите, как они отнесутся к вам, как они примут вас с вилами в руках, или по крайней мере со сжатыми кулаками!“—Возможно! Но мы уже неоднократно говорили, что ни к клочку земли крестьянина, ни к мазанке рабочего мы не прикоснемся. Мы далеки от мысли вступить в борьбу с нашими лучшими друзьями—т. е. с теми, кто, сами того не зная сегодня, сделаются завтра нашими союзниками, так как в их пользу совершится экспроприация. Мы знаем, что существует известный доход, ниже которого грозит голод, а выше которого уже идет избыток. В каждом городе, и в каждой стране, эта величина меняется; но народный инстинкт не ошибется в ней; без долгих статистических исследований, напечатанных на роскошной бумаге, и целых томов испещренных цифрами, он с‘умеет определить то, что должно принадлежать каждому по праву. В нашем прелестном обществе небольшая кучка людей присвоила себе наибольшую часть общественных доходов, построила себе дворцов в городах и деревнях, нагромоздила в банках, на свое имя, кучи денежных знаков, всякого рода ценные бумаги, представляющие из себя сбережение человеческого труда.

Эти богатства и надо будет захватить; и одновременно с этим мы освободим, как злополучного крестьянина, у которого каждый клочек земли заложен и перезаложен, так и мелкого лавочника, живущего в постоянной тревоге, под угрозой протеста его векселей и об‘явление его банкротом, а также и всю ту несчастную толпу, которая не имеет куска хлеба на завтрашний день. Даже если бы все эти люди, имя которым легион, относились безразлично к идее экспроприации, когда экспроприация будет совершаться они прекрасно

поймут, что от них самих зависит быть свободными, или же впасть в прежнюю бедность, в прежнюю заботу о завтрашнем дне.—Или же люди окажутся такими простаками что вместо того чтобы освободиться собственными силами, они назначают временное правительство из людей с расторопными руками и хорошо болтающим языком? Неужели они до тех пор не успокоятся, пока не заменят прежних властителей новыми?! В таком случае пусть они знают что нужно им самим сделать свое дело, если они хотят, чтобы оно было сделано успешно; и что оно не будет сделано, если его поручать уполномоченным!

Рассуждения еще не все: мы это знаем. Недостаточно, чтобы люди понимали, что им выгодно жить без постоянных забот о будущем и без унизительного подчинения тем или другим власть имущим. Одного этого мало: нужно еще, чтобы изменились понятия о собственности и соответстиующие им нравственные воззрения. Надо вполне усвоить мысль, что все продукты человеческого труда все сбережения и все орудия производства—плод совместной работы всех, и принадлежат одному только собственнику,—человечеству. Надо ясно представить себе что частная собственность есть продукт сознательного или бессознательного воровства, в ущерб человечеству, чтобы с радостным сердцем захватить ее всюду на общую пользу, когда настанет для этого возможность.

Когда в прежних революциях речь шла о замене одного короля другим, или же президентом республики, выходило, что одни собственники наследовали другим; общественный же строй оставался без перемены. Поэтому, афиши возвещавшие в 1848 году „Смерть ворам", расклеенные у входа дворцов, вполне соответствовали нравственным воззрениям толпы и несколько бедняков, покусившихся на ничтожную часть состояния короля, или на хлеб буржуазии, были расстреляно.

Тогда буржуа, ставший солдатом национальной гвардии и олицетворявший собою всю гнусную важность

законов, составленых имущими для защиты награбленного ими имущества, с гордостью мог показать труп, валяющийся на ступенях дворца, и товарищи его приветствовали его, как мстителя за попранное право. Но афиши 1830 и 1848 года более не появятся на стенах восставших городов. Воровства не может быть там, где все принадлежит всем.—„Берите и берегите, потому что все принадлежит вам, и во всем вы будете нуждаться!“ Но уничтожайте без замедления все то, что должно быть уничтожено; крепости и тюрьмы, укрепления с пушками, повернутыми в сторону городов и нездоровые кварталы, где вы столько десятков и сотен лет дышали отравленным воздухом. Селитесь во дворцах и роскошных частных домах и сожгите эти кучи кирпича и гнилого дерева, которые были вашими логовищами. Инстинкт уничтожения, столь естественный и справедливый, потому что он представляет из себя в то же самое время инстинкт обновления, найдет себе достаточную пищу. Сколько непригодных, устарелых вещей вам придется заменить! Дома, целые города, земледельческие и фабричные машины, и весь вообще инвентарь всего человечества вам придется переделать.

Каждому великому событию в истории соответствует известное изменение и развитие в нравственности человека. Само собою разумеется, что нравственные понятия поборников равенства сильно разнятся от понятия о милосердном богаче и благодарном ему бедняке. Новому миру нужна новая вера, а мы живем несомненно накануне появления нового мира. Наши противники сами повторяют неустанно: „Боги исчезают! Короли пропадают! Сила власти бледнеет!“ Они правы. Но кому же заменить богов, королей, священнослужителей, как не человеку свободному, верующему в свою силу? Наивная вера покидает нас; давайте место науке! Самовластие и милосердие умирают: место справедливости!

ПОСЛЕСЛОВИЕ.

В последней главе этой книги вопрос о перестройке жизни путем социальной революции был намечен лишь в самых общих чертах. Эта глава должна была служить вступлением, так сказать, во вторую часть предполагавшейся работы,—часть построительную,—которой я мог однако заняться не ранее как три года спустя, по выходе из тюрьмы. Но так как эта глава представляла след долгого совместного обсуждения вопроса о размерах экспроприации, в юрской, итальянской и испанской федерациях Интернационала, то следует сказать об ней несколько слов.

Мы вполне признавали, что личная собственность на землю отжила свой век, и что будущее принадлежит коммунистическому землевладению. Но мы считали несправедливым и ненужным выгонять из их участков крестьян, обрабатывавших землю своим трудом, без наемных рабочих, ломать их дома и загородки, рубить их сады и перепахивать их участки паровым плугом, как о том мечтали революционеры-централисты и государственники.

Такую мысль проповедывал во Франции, в 1795 году, после падения Робеспьера и якобинцев, коммунист Бабёф и он положил её в основу „Заговора Равных". Ту же мысль развивал впоследствии Кабэ (Cabet) в своей книге „Путешествие в Икарии" и ее держались, в 1830-х и 1840-х года, члены французских тайных обществ, основанных Барбэсом и Бланки, а также и члены немецкого „Союза Справедливых", основанного Вейтлингом, откуда она перешла и в „Коммунистический Манифест" Маркса и Энгельса.

Целью социальной революции ставилось в этом манифесте, как и в предшествующих программах бланкистов и у Бабёфа, уничтожение всей частной собственности и переход её в руки государства. Для производства же предполагалось как у Бабефа, ввести всеобщую, равную для всех, трудовую повинность и, с этой целью— „учреждение армий труда, особенно для земледелия" (§ 53). Такие же армии труда продолжали проповедывать во Франции, в восьмидесятых годах, социалисты-государственники [1]).

С такою программою экспроприации мы, конечно, не могли согласиться. Будучи знакомы с различными формами крупного и мелкого земледелия, которые оно по необходимости принимает в местностях различного характера (во Франции это особенно заметно), мы не могли видеть прогресса в уничтожении мелких хозяйств. Формула Бабёфа не только несправедлива по отношению к мелким крестьянским хозяйствам, но она неизбежно привела бы к восстанию деревень против городов и довела бы всякую страну до полной голодовки. Кроме того, уничтожать теперь личный почин в земледелии было бы безумием уже потому, что именно личной предприимчивости и личной привязанности к земле мы обязаны до

---

[1]) Успех громадных „Мамонтовых" ферм в степях Канады и Соединенных Штатов, где, как раз в это время, велось хищническое земледелие при помощи именно таких армий труда, набираемых два раза в год—для пахоты и посева пшеницы и для ее уборки, — приводило тогда в восторг поклонников государственного социализма. Но это длилось недолго. К концу 19-го века, когда я ездил по Канадской провинции Манитобе, от них уже не оставалось следа; степи-же Огайо я видел, в 1901 году, покрытые мелкими фермами, и в степи виднелся целый лес ветрянок, накачивавших воду для огородов. После двух-трех крупных неурожаев пшеницы, крупные фермы были брошены, и земля продана мелким фермерам, которые теперь добывают, в своих мелких фермах, значительно больше разнообразных пищевых продуктов, чем громадные „Мамонтовые" фермы.

сих пор главными успехами земледелия и развитием усиленной обработки земли в некоторых областях Европы и Америки.

Поэтому, не предрешая вопроса о том, какие формы примет земледелие в будущем, мы решили, что теперь усилия революции должны быть направлены не к уничтожению мелкого сельского хозяйства, а *к об'единению мелких хозяйств во всем том, что требует об'единения их усилий.*

Такое отношение к мелкому землепользованию конечно навлекло на нас нападения социалистов-государственников. Но и сами они, по мере того, как знакомились с истинною жизнью деревни, вскоре увидали,— особенно во Франции—что именно мелкое землепользование и мелкое земледелие дают Франции ее сравнительное благосостояние—без грабежа своих соседей; и к тому же убеждению приходили немецкие социал-демократы, когда знакомились с тем, что дает мелкое земледелие в Эльзасе и в разных областях западной Германии.

После освобождения из тюрьмы в начале 1886 года, я принялся, в нашей газете, за более подробную разработку вопроса о перестройке жизни путем социальной революции. Зная при этом, как сильно в латинских странах стремление к созданию *независимых коммун,* я имел в виду, главным образом, большую городскую Коммуну, сбрасывающую иго капитализма—особенно Париж, с его умным, независимым рабочим населением, обладающим, благодаря урокам своего прошлого, большими организаторскими способностями.

Эти статьи вышли потом (в 1892 году) отдельною книгой, для которой Элизе Реклю предложил название „La Conquête du Pain“ („Завоевание Хлеба“); название очень удачное, так как в нем выражалась основная мысль всей работы; а именно то, что главное, во время социальной революции, будет — не переделка *политического*

строя, а вопрос *о хлебе для всех*; вопрос об удовлетворении основных потребностей населения: *в пище, жилищах, одежде* и т. д. При этом я пытался показать, как рабочие большого города могли бы организоваться *сами* для свободной жизни в вольной Коммуне, не дожидаясь, чтобы их жизнь упорядочили чиновники, одаренные всеми добродетелями. По-русски мы озаглавили книгу *Хлеб и Воля* [1]).

К сожалению, я должен сказать, что социалисты и рабочие вообще, утративши веру в близкую возможность революции, недостаточно интересовались вопросом — какой характер желательно придать революции. Только много лет спустя, когда во Франции начало расти движение синдикатов (т.-е. профессиональных союзов), вышла еще одна работа по тому-же вопросу. Наш товарищ Пуже (Pouget) рассказал в книге, *„Как мы сделаем Революцию“*, как могла бы совершиться во Франции социальная революция, *руководимая профессиональными союзами*:—как ничего не ожидая от тех, кто не преминет облечь себя властью, профессиональные союзы и их с‘езды смогут экспроприировать капиталистов и организовать производство на новых началах, не допуская при этом остановки в производстве. Ясно, что *этого* достигнуть могут только сами рабочие, своими организациями; и хотя я расхожусь с Пуже в некоторых частностях, я смело рекомендую его книгу всем тем, кто понимает неизбежность и близость предстоящей человечеству социальной перестройки.

Очень скоро по выходе из тюрьмы я вынужден был покинуть Францию и поселился в Англии, где имел возможность изучать хозяйственную жизнь большой промышленной страны — на деле, а не только из книг, в которых экономисты повторяют вот уже более ста лет

[1]) В 1905-м году было также одно издание под заглавием „Завоевание Хлеба“.

все те-же ошибки своих предшественников. Читая лекции в разных городах Англии и Шотландии, я пользовался этими раз'ездами, как для долгих бесед с рабочими, так и для осмотра всяких фабрик и заводов — крупных и мелких, угольных шахт и больших корабельных верфей, не забывая при этом мелких мастерских в таких больших центрах кустарного производства, как Шеффильд и Бирмингам. Посещал я также и громадные кооперативные центры для распределения, как Оптовый Кооператив в Манчестере, а также начинавшие размножаться попытки кооперативного производства. Знакомясь таким образом с *реальною жизнью,* я постоянно имел в виду вопрос:—„Какие формы сможет принять социальный переворот, чтобы наиболее безболезненно перейти от личного и компанейского производства с целью наживы к производству и товаро-обмену, организованным самими производителями и потребителями для наилучшего удовлетворения всех нужд населения“?

Из этого исследования получились два вывода:—

Первый из них был тот, что производство пищи и всякого товара, а затем товарообмен представляют такое сложное дело, что планы социалистов-государственников,— неизбежно ведущие к диктатуре партии—окажутся безусловно неудовлетворительными, как только их начнут прилагать к жизни.

Никакое правительство не будет в силах, — утверждали мы,—наладить производство, если за это дело не возьмутся сами рабочие, чрез посредство своих профессиональных союзов, в каждой отрасли производства, в каждом ремесле; — потому что в каждом производстве есть и каждодневно будут возникать, тысячи трудностей, которых никакое правительство не может, ни разрешить, ни предвидеть.

Заранее предначертать все невозможно; нужно, чтобы сама жизнь и усилия тысяч умов, на местах, содействовали развитию нового строя и находили наилучшие

условия для удовлетворения тысячи проявлений местных потребностей.

Теоретические планы перестройки, конечно, не бесполезны в подготовительном периоде. Они будят мысль и заставляют вдумываться в сложные организмы, представляемые цивилизованными обществами. Но вместе с тем, они слишком упрощают предстоящую человечеству задачу; и если начать осуществлять *эти* программы, то— *жизни* им не наладить. Произойдет от них такая разруха, которая может привести к самой злой реакции.

Многие английские рабочие — вероятно потому, что они уже давно, т.-е. со времен Чартистского движения (1836—1848), думают об общественной перестройке— смотрели на дело так: сперва, говорили они, следует организовать крепкие, могучие профессиональные союзы (тред-юньоны) *во всех отраслях труда*, включая грузчиков в доках и крестьян [1]).

Затем, нужно сплотить их в национальные и в международные союзы по ремеслам; и тогда, ставши действительной силой,—взять все производство под полный свой контроль, устранить владычество капиталистов и поддерживать во всем производстве и потреблении согласованный порядок в интересах всего населения страны.

Другими словами, английские рабочие признавали мысли, назревавшие уже в 1830-м году у Роберта Оуэна, когда он попытался основать Об'единенный Рабочий Союз, и впоследствии английские тред-юньоны и представители французских рабочих попытались осуществить эти мысли, когда, встретившись в Лондоне в 1862-м году, они основали *Первый* Интернационал.

---

[1]) Прежде, вплоть до начала восьмидесятых годов, союзы составлялись только в некоторых отраслях: женщины, например, не составляли союзов, а их свыше семи сот тысяч в одном прядильно-ткацком деле; столяры принимали в свои союзы только тех, кто получал не менее десяти пенсов (40 копеек) в час. И т. д.

Эта организация представляла, как известно, *Международный Союз Профессиональных Рабочих Союзов*, совершенно не-партийный, и преследовала двойную цель: повседневную международную борьбу с капиталом, и *выработку основ нового социалистического строя*. Но так как в нее допускались и „смешанные секции“, то таким образом входили люди, хотя и не принадлежавшие к ремесленным Союзам, но стремившиеся к освобождению Труда от Капитала. Прожил этот Интернационал до конца семидесятых годов, когда он был разрушен упорными преследованиями правительств и интригами политических партий. *Второй* Интернационал уже не был союзом професиональных союзов: он стал союзом *политических социал-демократических партий* различных народов.

С исчезновением первого Интернационала исчезла в Англии та сила, которая, по мысли его основателей, должна была поддерживать среди профессиональных союзов идею о близости социального переворота и о необходимости подготовки его самими рабочими. Повседневная, будничная борьба местных союзов против эксплоататоров заступила место более отдаленных целей; и надо сказать, что большинство деятельных членов рабочих союзов, трудясь изо-дня-в-день над организацией союзов и их стачек, теряли из вида конечную цель рабочей организации—т. е. социальный переворот. Только в последние пять-шесть лет перед войною снова почувствовалось пробуждение интереса к этой основной задаче,—под влиянием такого же пробуждения во всем мире.

Особенно повлияло в этом направлении синдикальное движение во Франции и Италии и пробуждение в Соединенных Штатах, где под именем „Промышленных Рабочих Мира“ началось движение, прямо поставившее своей целью борьбу с капиталом, *для перехода всей промышленности из рук капиталистов в*

руки самих производителей, об'единенных в громадные Союзы. В этом направлении помогли также: первая революция в России, в 1905-м году, и общее тревожное настроение общественной жизни в Европе за последние годы перед войной. Ужасы только-что пережитой нами войны и ее бедственные последствия во всем мире, а также русская революция несомненно вновь поставят во всем мире ребром вопрос о необходимости социального переворота.

Но—об этом движении следует сказать гораздо больше, чем я мог бы сказать здесь. А потому я возвращаюсь к выводам, к которым меня привело ознакомление с хозяйственною жизнью Англии.

Второй вывод, к которому я скоро пришел, был следующий: современная экономическая жизнь образованных народов *строится на ложном основании*. Теория, которую проповедуют ученые экономисты, состоит в том, что народы земного шара делятся на два разряда. Одни народы, благодаря своей большей образованности призваны заниматься главным образом выделкой мануфактурных товаров,—тканей, машин всякого рода, двигателей и т. д. Другие-же, в силу своей отсталости, обречены на добывание пищи для народов первого разряда, а также и сырья для их фабрик. В любом курсе политической экономии излагается эта теория: так богатела английская буржуазия: так будут богатеть и другие страны, развивая свою промышленность на счет отсталых народов.

Но более подробное изучение хозяйственной жизни и промышленных кризисов Англии и других стран Европы приводит к другому заключению. Разбогатеть таким-же путем, как Англия, *уже невозможно*, потому что ни одна образованная страна уже не желает оставаться,—и не остается,—в положении поставщицы сырья. *Все* народы стремятся к тому, чтобы развить у себя свою обрабатывающую промышленность—и все по-

степенно достигают этого. Техническое образование невозможно сделать привилегией одной страны, *не покорив оружием соседних народов*, стремящихся к развитию у себя образования и промышленности. Стремление же покорять их с этой целью, которое создалось за последние сорок лет, особенно в Германии, привело весь мир к ужасной войне, стоившей Европе и Соединенным Штатам *более шести миллионов убитых и свыше десяти миллионов умерших от болезней и искалеченных*,—не говоря уже ни о полном раззорении Бельгии и Северной Франции, ни о невероятном истреблении с'естных припасов, угля, металлов, от которого теперь страдают безусловно все народы цивилизованного мира.

Тем временем, за последние пятьдесят лет в семье образованных народов, создался, однако, один народ—Соединенные Штаты Северной Америки,—который показал, что восемьдесят миллионов населения могут достигнуть громадного богатства и силы, не эксплоатируя других, а только *ведя у себя, рука об руку, развитие новейшей промышленности и такое же развитие земледелия*, при помощи машин, железных дорог, свободы союзов и распространения знания.

В том же направлении развивалась отчасти и Франция, и этот поразительный урок, данный миру, совершенно изменяет ходячие учения политической экономии. *Путь к развитию благосостояния народов лежит в соединении земледелия и промышленности, а не в разделении на народы промышленные и народы земледельческие.* Такое разделение роковым образом вело бы человечество к непрерывным войнам из-за рынков и рабов для своей промышленности.

Этот крупный, жизненный вопрос разработал я в ряде статей, печатавшихся в 1890—95 годах, а затем составивших книгу *Поля, фабрики и мастер-*

ския [1]). Много побочных вопросов пришлось изучать в этой работе, и многому научиться. Но важнее всего было то, что выяснилось следующее:—*Мы вовсе не так богаты, как это кажется,* когда, проходя по улицам наших больших городов, мы видим роскошные дома богатых людей и их щегольские экипажи, безумную роскошь в окнах больших магазинов и разодетые толпы гуляющих. Самая богатая страна в мире — Англия. Но если сложить все, что она получает со своих полей, с каменноугольных рудников, со своих многочисленных фабрик и заводов, с иностранных займов и с мировой торговли, и поделить это поровну между ее жителями, то получается только полтора рубля в день на человека—и ни в каком случае не больше двух. В России же не набирается на человека и пятидесяти копеек в день.

Уже из этого видно, что социальная революция, где-бы она ни произошла, должна будет поставить, с самых первых дней, первою своею задачею,—*сильно увеличить все свое производство.* В первые месяцы освобождения неизбежно увеличится потребление пищи и всякого товара, и одновременно уменьшится производство; причем всякую страну, начавшую социальную революцию, будет окружать кольцо недружелюбных соседей, или врагов.—„Чем-же мы будем жить, когда две-трети нужного Англии хлеба привозятся из-за границы?“ не раз спрашивали меня английские товарищи.—„Чем будут работать наши фабрики, чтобы покупать хлеб, когда у нас нет своего сырья?“—*И они были правы.* Когда я сделал подсчет имеющихся в Англии запасов—так сказать, основного фонда страны в случае революции,—то вывод действительно получился весьма неутешительный. Тотчас после уборки урожая имеется запас хлеба на три месяца; но с января его имеется

---

[1]) Вкратце эта книга изложена мною в брошюре: *К чему и как прилагать труд ручной и умственный.*

уже только на шесть недель. Хлопка всегда имеется менее, чем на три месяца, часто—всего на шесть недель. Тоже самое тем более—со всякими прибавочными продуктами, необходимыми для разных производств (как, например, марганец для стали). Словом, промышленная Англия все время живет ничтожными запасами, почти изо-дня-в-день.

Но не одна Англия живет так; все народы, при теперешнем капиталистическом хозяйстве, живут точно также. Давно-ли Россия переживала ряд жестоких голодовок, от которых страдали каждый раз десятки миллионов населения? Но и теперь больше трети населения России и Сибири *постоянно* нуждаются, даже в хлебе, три и четыре месяца в году,—не говоря уже о недохватке во всем остальном: об их нищенском сельском инвентаре, полу-голодном скоте, отсутствии удобрений и—отсутствии знаний.

Одним словом, так как до сих пор, во всех странах Европы добрая треть населения всегда живет впроголодь и терпит недостаток в одежде и во всем прочем, то революция неизбежно поведет за собой *усиленное потребление*. Спрос на все увеличится, а производство уменьшится, и в конце-концов получится голод—голод на все, как теперь в России. Избежать такого голода есть одно только средство. Мы все должны понять, что едва в стране начинается революционное движение,—единственный разумный исход состоит в том, чтобы фабричные рабочие, крестьяне и все граждане, *сами*, с самого начала движения взяли в свои руки все народное хозяйство, организовали его сами и направили свои усилия к *быстрому* увеличению всего производства. Но *убедится в этой необходимости* они смогут только тогда, когда все общие заботы о народном хозяйстве, предоставленные теперь по старой привычке целой ораве всяких министров и комитетов, *будут представлены, в простой форме, перед всяким селом, деревней и городом, перед вся-*

кой фабрикой и заводом, как их собственное дело, и будут представлены им, в их собственное заведывание.

И так, изучение действительной жизни народов неизбежно приводит нас к заключению, что *все* народы должны напрячь свои силы, чтобы мощно развить у себя и усовершенствовать, с одной стороны, земледелие — в виде усиленной обработки земли, и одновременно с этим — усиленно развивать у себя обрабатывающую промышленность. В этом направлении—залог прогресса и успеха в освобождении Труда от ига Капитала. Нет народов, предназначенных на службу другим! В этом, да еще в понимании того, что социальный переворот невозможно совершить диктатурою, — краеугольный камень всего здания. Строить без него — значило-бы строить на песке.

Двадцать, тридцать лет тому назад, на эту сторону жизни реформаторы слишком мало обращали внимания. Теперь-же, после жестоких уроков последней войны, всякому вдумчивому человеку, а особенно рабочим, должно быть ясно, что такие-же войны, даже еще более жестокие, будут *неизбежны, пока одни страны будут считать себя предназначенными обогащаться производством мануфактурных товаров, и будут размежевывать между собою отсталые страны,* чтобы они снабжали их сырьем, тогда как они будут *наживаться на чужом труде.*

Мало того. Мы имеем право утверждать, что перестройка общества на социалистических началах будет невозможна, пока фабричная, обрабатывающая промышленность, а следовательно и благосостояние фабричных рабочих будут строиться, как они строятся теперь, на эксплоатации крестьян своего-же народа, или других народов.

Нужно помнить, что теперь уже не одни капиталисты являются эксплоататорами чужого труда и „империалистами“. Не они одни стремятся завоевать себе в Европе, Азии, Африке и т. д. дешевых производителей сырья. По мере того, как рабочие принимают участие в политическом управлении, они тоже заражаются завоевательным империализмом. В последней войне германские рабочие, одинаково со своими хозяевами, стремились завоевать себе дешевых производителей сырья, даже в Европе, — т.-е. в России и на Балканском полуострове, а также в Азиатской Турции и в Египте; и они также считали нужным раздавить Англию и Францию, мешавшие таким завоеваниям; причем французские английские рабочие, в свою очередь, потворствовали таким-же завоеваниям своих правительств в Африке и в Азии.

При таких условиях ясно, что образованным народам предстоит целый ряд войн, еще более кровопролитных и еще более дикарских, если они не совершат у себя социальнаго переворота и не перестроят своей жизни на новых, более общественных началах. Вся Европа и Соединенные Штаты, за исключением эксплоатирующего меньшинства, чувствуют эту необходимость.

Но совершить такой переворот невозможно путем диктатуры и власти. Без широкого строительства снизу — самими крестьянами и рабочими — социальный переворот будет обречен на неудачу. Русская революция еще раз подтвердила это, и нужно надеяться, что этот урок будет понят: что везде в Европе и Америке будут приложены серьезные усилия, чтобы создавать среди всего трудового класса — крестьян, рабочих и так называемой интеллигенции — кадры предстоящей революции, действующей не по указам сверху, а способной самой выработать вольные формы всей новой хозяйственной жизни.

П. Кропоткин.

5 декабря 1919 г.

Оглавление.

